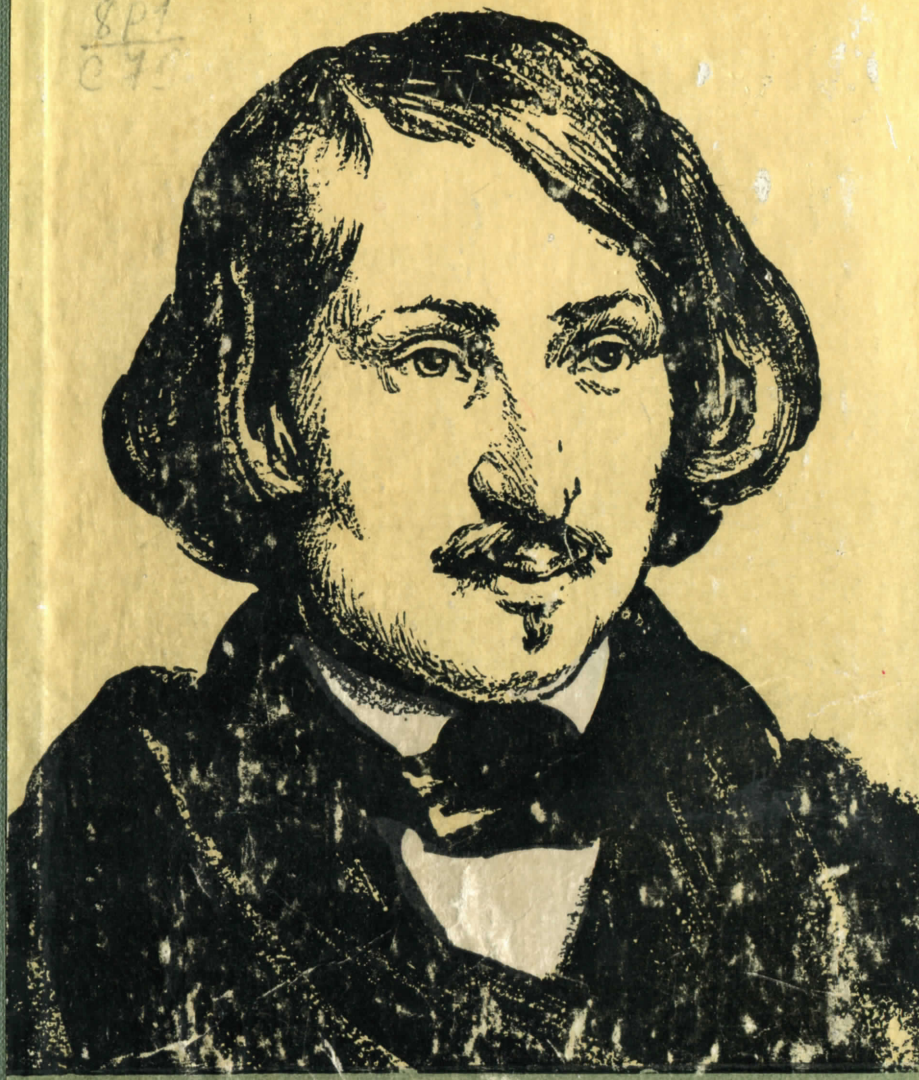
83.3р1
8Р1
С 71

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Н. Степанов

ГОГОЛЬ

ГОГОЛЬ
Н. Степанов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ
Основана в 1933 году М. Горьким

ВЫПУСК
10
[324]

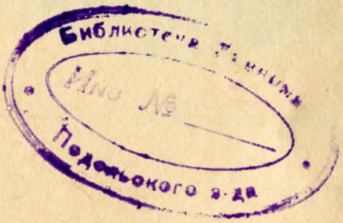
МОСКВА, 1961

С 79

Н. СТЕПАНОВ

ГОГОЛЬ

52300
86
99



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

8PI
С-79

Эта книга рассказывает о жизни и творческом пути великого русского писателя.

Жизнь его не изобиловала внешними событиями. Вся она была в напряженной работе, в углубленном внутреннем анализе своих поступков и мыслей. Дело писателя было для Гоголя неразрывно слито с общественной, воспитательной ролью искусства, стало для него творческим подвигом. Об этой трудной подвижнической жизни, завершившейся трагической катастрофой, и повествуется в книге. Биография писателя воссоздана здесь на основе его писем, автобиографических признаний, документов, воспоминаний и свидетельств современников.

Автор этой книги — Николай Леонидович Степанов — родился в 1902 году в семье учителя. Окончил Ленинградский университет по отделению языка и литературы и Институт истории искусств. С 1925 года преподавал в школе и на рабфаке. В эти же годы начал печататься, помещая статьи и рецензии в ленинградских и московских журналах.

Н. Л. Степанову принадлежат книги и статьи по истории русской литературы, прежде всего о творчестве писателей-классиков XIX века: «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», «Мастерство Крылова-баснописца», «Лирика Пушкина», «Н. В. Гоголь. Творческий путь», «Н. А. Некрасов». Большая работа велась им по редактированию и комментированию сочинений Гоголя. Ряд книг и статей Н. Л. Степанова переведен на иностранные языки.



Н. Гоголевъ

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Детские годы

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд.

Н. Гоголь, «Мертвые души»

ВАСИЛЬЕВКА

Ярко-синее небо безоблачно, а в самой глубине его дрожит жаворонок. Безбрежная степь, перерезанная балками, усеяна огненными цветами. То там, то сям выступают белые хаты с тенистыми вишневыми садиками. Стаи кузнечиков нарушают оцепенелую тишину сухим треском крыльев. Мерцающее солнечное марево тлеет на горизонте.

Среди раздольных полей за косогором спряталось село Яновщина, оно же Васильевка. За левадой, за

старыми липами и ветлами виднеется господский дом, одноэтажный, деревянный, крытый соломой. В отличие от крестьянских хат этот дом по фасаду украшен низенькими колоннами. За домом начинается большой тенистый сад, который спускается к прудам. А за прудами опять неоглядные дали украинской степи.

В доме — приземистые, небольшие комнатки, обставленные скромной старинной мебелью. Глиняные полы, поющие двери, изразцовые печи — все это создавало тихий, патриархальный уют старосветской усадьбы. На веранде, образованной выступающими колоннами, по вечерам собиралось все семейство Гоголей — с тетушками, детьми, приживалками — и мирно беседовало за чайным столом.

Владелец Васильевки, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, принадлежал к новоявленному дворянству. Дед его был сельским священником. А отец, Афанасий Демьянович, окончив Киевскую духовную академию, поступил в Полковую миргородскую канцелярию и завершил свою служебную карьеру в чине секунд-майора. Он женился на дочери бунчукового товарища Лизогуба из старинного казацкого рода и в приданое за нею получил хутор, названный впоследствии в честь сына Васильевкой.

Сам же Василий Афанасьевич был человеком иного времени. Воспитанный на чтении Карамзина и чувствительной литературы начала века, он не стремился к служебной карьере. Его привлекала тихая сельская жизнь на лоне природы. Он лишь несколько лет заочно числился «при малороссийском почтамте по делам сверх комплекта», как удостоверял служебный документ, но «за слабостью здоровья» постоянно проживал в милой его сердцу Васильевке.

Василий Афанасьевич был человек начитанный, любящий литературу. Свой сад он украсил беседочками, гротиками, а аллеи окрестил самыми поэтическими названиями: была даже «Долина спокойствия». На пруду чувствительный помещик запретил стирать белье, чтобы стук вальков не вспугивал прилетавших сюда соловьев.

Однако времена для безмятежного идиллического существования стояли трудные: в хозяйстве нужны были деньги и деньги, а достать их было очень не просто. И Василий Афанасьевич неожиданно обнаружил деловые способности. Он завел винокурню, даже устроил в Васильевке ярмарку, где продавал волов и горилку.

И тем не менее именно денег в Васильевке не было. В саду ломились ветви деревьев под тяжестью груш, слив, вишен. В полях вызревала тяжелая золотая пшеница, на лугу паслись тучные коровы и серебристо-серые волы, но каждый раз, когда надо было вносить налоги, приходилось занимать деньги у дальнего родственника — магната и вельможи екатерининских времен Трощинского.

Василий Афанасьевич не чужд был и сочинительству. Он писал стихи, работал над комедией о промотавшемся дворянском вертопрахе. Но подлинным его призванием были простонародные комедии, которые он сочинял на украинском языке. В этих комедиях чувствовалось озорное непринужденное веселье, лукавая усмешка, знание крестьянской жизни.

Главным лицом в Васильевке являлась Мария Ивановна Гоголь. Василий Афанасьевич неизменно во всем слушался свою жену, в которую влюбился, когда она была еще маленькой девочкой.

Мария Ивановна часто рассказывала романтическую историю своего замужества. «Ему указала меня царица небесная, — говорила она слушателям, уже давно знавшим все подробности. — Он меня увидал во сне не имеющую году и узнал, когда нечаянно увидал меня в том же самом возрасте, и следил за мной во все возрасты моего детства».

Дочь соседнего помещика Косяровского, Мария Ивановна воспитывалась у своей тетки. Василий Афанасьевич часто навещал ее родных и влюбился в девочку, которая еще играла в куклы и была моложе его на четырнадцать лет: «Я чувствовала к нему что-то особенное, — вспоминала Мария Ивановна, — но оставалась спокойной. Когда я, бывало, гуляла с девушками около реки, то слышала приятную му-

зыку из-за кустов другого берега. Не трудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до дому, скрываясь в садах. Один раз, не найдя меня дома, он пошел в сад. Увидя его, я задрожала, как в лихорадке, и вернулась домой. Когда мы остались одни, он спросил меня, люблю ли я его. Я отвечала, что люблю, как всех людей».

Робкое, но настойчивое ухаживание Василия Афанасьевича произвело благоприятное впечатление. Когда Маше было только 12 лет, чувствительный жених явился к ней с книжкой трагедий Озерова. Мария Ивановна на всю жизнь запомнила этот день: «Прочтя с завываньем стихи «Иди, душа, во ад!», он упал передо мною, словно закалываясь, а вокруг дворовые девки стали вопить!.— рассказывала она впоследствии. — Я так испугалась, что не знала, как очутилась на диване: мне показалось, что он в самом деле заколол себя. А он боялся, чтобы я не заболела от испуга, и не уезжал домой, пока мое волнение не прошло совершенно».

Наконец было сделано официальное предложение, и счастливый Василий Афанасьевич увез после свадьбы молоденькую жену к себе в Васильевку. Там они зажили жизнью, которую Гоголь так влюбленно, хотя и насмешливо описал в своей повести «Старосветские помещики». Отношения Василия Афанасьевича с Марией Ивановной мало чем отличались от нежной дружбы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Правда, жизнь старосветских помещиков была проще и легче, чем жизнь родителей Гоголя, которые должны были вести непрерывную борьбу за свое благосостояние: угроза разорения, постоянное безденежье вынуждали их перестраивать свое хозяйство на более современный лад, устраивать ярмарки, заводить мануфактуры.

Через четыре года тихой и счастливой жизни появился первенец — Никоша. Боялись за молодую мать и отвезли ее на время родов к славившемуся на Полтавщине доктору Трофимовскому в Большие Сорочинцы. Там и родился будущий писатель. В метри-

ческой книге Спасо-Преображенской церкви местечка Сорочинец за 1809 год записано:

«Марта 20-го у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский. Восприемником был господин полковник Михаил Трахимовский».

Жизнь в Васильевке вошла в свою колею. Заботы о хозяйстве и все растущей семье, в которой появилось уже четверо детей, поглощали внимание матери, очень скоро превратившейся из жены-ребенка в рачительную и хлопотливую хозяйку. На ее плечах лежал весь дом.

Гоголь хорошо запомнил отца, который всегда был ласков со своим первенцем. Небольшого роста, полный, кругленький, Василий Афанасьевич любил пошутить, чаще всего в этих случаях переходя на украинский язык — им он владел в совершенстве. Добродушие и сердечность чувствовались в каждом его жесте.

Марию Ивановну в молодости называли «белянкою» за нежно-белый цвет кожи. Тонкие черты лица, точно очерченные линии носа и губ, глубокие черные глаза придавали некоторую строгость ее изящной фигуре. Она с детства отличалась религиозностью, принимавшей нередко даже несколько экзальтированный характер, и не чаяла души в сыне.

Никоша рос хилым и слабым мальчиком: с ним случались какие-то непонятные припадки, которые объясняли золотухой. Поэтому мать особенно заботилась о нем и беспокоилась, если он становился грустен и задумчив.

Религия занимала важное место в доме Гоголей. Василий Афанасьевич и Мария Ивановна очень жалели, что в Васильевке не было церкви. И, несмотря на всегдашние денежные затруднения, начали ее постройку, которая закончилась уже после смерти Василия Афанасьевича. Мария Ивановна подолгу молилась перед иконами, висевшими в ее спальне. Она молилась, чтобы бог послал здоровье мужу, с каждым годом все хуже себя чувствовавшему. Молилась и

о здоровье своего слабенького первенца Никоши, который рос не как все дети: редко играл в детские игры, туго сходился со своими сверстниками. Это тоже заботило Марию Ивановну, и она не раз отсылала сына поиграть с другими детьми. А он отойдет от нее, тихонько проскользнет в свою комнату — и там опять схватится за книжку и дотемна читает ее.

Большой радостью для мальчика были поездки с отцом в степь. Василий Афанасьевич отправлялся в путь на узеньких дрожках, посадив позади Никошу. В степи он следил за полевыми работами. На солнце ослепительно сияли косы загорелых косцов. Слышались задорные песни жниц. Отец с сыном останавливались и отдыхали в самых красивых местах: в рощице, в овражке, на дне которого журчал ручеек, на холме, с которого виднелись бесконечные степные дали. Когда возвращались домой, отец заставлял Никошу рассказывать о том, что тот видел: о степи, о роще, о ручейке.

Бабка Татьяна Семеновна Лизогуб жила в особом флигельке в две комнатки. Никоша любил приходить к ней. Бабка всегда угощала его вкусными сушеными абрикосами, орехами, сладкой настойкой из вишен.

Татьяна Семеновна помнила еще старое время, когда казачество имело волю, когда еще существовала Запорожская Сечь. В ее горнице хранились в скрыне наряды времен гетманских: вышитая шелками сорочка, яркие цветные плахты, синие и красные ленты.

Бабушка знала много старинных песен и рассказов: про трех братьев, бежавших от турок из Азова, про Марусю Богуславку, про гетмана Сагайдачного, про Нечая и других славных героев. Мальчик часами слушал эти рассказы.

У бабушки в горнице, украшенной пестро вышитыми рушниками, в углу под образами стоял большой, обитый железом сундук с проделанным в крышке отверстием: через него опускали деньги, предназначенные на устройство храма. На аналое всегда лежало евангелие, а на полочке — громоздкие Четьи-

Минеи в старинных кожаных переплетах. И бабушка и мать читали их вслух перед праздничными днями. Никоша с детства привык к этим чтениям и хорошо помнил жития святых. Особенно трогало его описание мучений святого Акакия Синайского, отличавшегося голубиной кротостью и незлобивостью.

Этот Акакий долгие годы был учеником и слугою некоего «злонравного старца», который жестоко помыкал им и за малейшую вину, а чаще всего и без всякой вины до полусмерти избивал. Когда мать читала эту историю про Акакия Синайского, Никоша напряженно и взволнованно слушал и представлял себе этого кроткого старого человека, никогда не противившегося издевательствам и побоям. Когда же Мария Ивановна доходила до смерти Акакия, на глазах мальчика появлялись слезы. Этот мученик и после смерти обнаружил необычайное терпение: над его могилой раздался голос: «Умер ли он?» — на что Акакий благочестиво ответил: «Не умер, потому что деятелю послушания невозможно умереть». Мать читала эти слова торжественно и назидательно...

— Маменька, — спросил как-то Никоша, — а что такое страшный суд?

Мария Ивановна стала рассказывать ему про праведников, про те блага, которые ожидают людей за добродетельную их жизнь, за выполнение ими своих христианских обязанностей:

— Тех, которые помогают своим ближним, молятся богу и верят в его помощь, ожидает царствие божие. Тех же, которые ведут развращенную жизнь, не помогают своим ближним, не верят в бога, — ожидает ад огненный. На страшном суде разделят всех на праведников и грешников и грешников на вечные муки отошлют в геенну огненную, где они будут гореть в огне и мучиться самыми страшными мучениями.

Потрясенный мальчик со слезами на глазах обещал матери, что он будет всегда молиться богу, что он не хочет попасть в огненную геенну, которая представилась ему каким-то страшным чудовищем. Долго после этого рассказа он не мог уснуть.

Когда панычи подросли, к ним был приставлен Яким, молодой парень из соседнего хутора, добродушный, медлительный, большой любитель поесть. Он знал множество страшных рассказов про таинственные клады, ведьм, чертей и прочую нечисть. Рассказывая их, он обычно ссылался на свою старую бабку, которая, по его словам, находилась в каком-то отдаленном родстве с нечистой силой. «От-то диковина, что свинья некована», — приговаривал Яким, поведав какую-нибудь страшную историю.

— А ты сам ведьму видел? — допытывался Никоша. — Какая она с виду?

— Ну, известно какая, як каждая баба. Только сзади у нее хвист. Вот мени бабуленька рассказывала, що в Яреськах у одного чоловика була жинка видьма. Как он ночью проснется, а жинки близ него нема. Вот он и решил ее подстеречь. Прикинулся сонным и прождал до полуночи. Жинка тут встала, засветила каганец, достала с полки баночку, сняла с себя сорочку и помазалась под мышками з той баночки кукурвасом, тай и вылетела через камин в дымарь. Чоловик, схватывсь, намазал и себе под мышками, да и сам вдогонку за нею. — Яким помолчал, скрутил из махорки цигарку, затянулся. — Летит она, а за нею чоловик. Вот достигли до Кыева, як раз до Лысой горы. А там близ церкви на кладбище ведьм и ведьмачей, що щоту не складешь, и каждый со свечкой, а свечки так и пылают. Оглянулась видьма, а за нею чоловик летыть. «Чого ты летишь? Бач скилько тут видьмив, як побачат, так и розирвут на шматочки*!» Дала она ему белого, как сниг, коня и говорит: «На тоби цього коня, тай тикай до дому!» Сел он на того коня и сразу очутился дома. Поставил коня подле сена, а сам пошел в хату и лег спать. Вранци встает, а жинка возле него лежит. Он тогда пошел проведать коня. Пришел, а на том месте, где оставил коня, привязана веревкою здорова верба! Ось як мне бабусенька моя рассказывала!

---

* Кусочки.

— А как же все-таки узнать настоящую ведьму? — допытывался Никоша.

— А нет ничего проще. Взять в прощеное воскресенье кусок сыра *, завернуть в холстынку и держать три ночи сряду за губою во время сна, потом завязать в рубаху и носить весь великий пост. В великую субботу все ведьмы явятся просить сыру, но ты не должен им его отдавать, иначе они сгубят тебя.

— А ты сам пробовал?

— Да нет, мне не к чему было. А бабуся пробовала и сама видела, кто из сосидок видьмачка!

Никоша внимательно слушал эти рассказы. Спорить с Якимом было трудно — он всегда в таких случаях ссылался на непререкаемый авторитет своей старой бабусеньки.

Так проходили дни в Васильевке, тихие и радостные, грустные и хлопотливые, навсегда оставшиеся в памяти Гоголя.

КИБИНЕЦКИЕ АФИНЫ

Обычное течение жизни в Васильевке нарушалось поездками в Кибинцы к сановному родственнику и «благодетелю» Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому. До чего высоко взлетел этот простой хлопец, бегавший в детстве в Яреськах босиком, в грязной рубашонке! Дмитрий Прокофьевич достиг славы, почестей и богатства. Он служил статс-секретарем при Екатерине, при Павле стал сенатором, но затем подвергся опале, не угодив полоумному и подагрическому императору. После дворцового переворота 1801 года Трощинский вновь был призван Александром к государственной деятельности и назначен министром уделов. Но вскоре престарелый вельможа вышел в отставку и поселился у себя на родине в Кибинцах. Здесь он был избран «губернским маршалом», предводителем полтавского дворянства.

Трощинский считался меценатом и благодетелем

* Творога.

всей округи. В Кибинцах он устроил театр, обширную библиотеку, коллекционировал картины и предметы искусства. Однако просвещенный вельможа сочетался в нем с самодуром и деспотом.

К 26 октября, ко дню именин Дмитрия Прокофьевича, в кибинецком дворце собирались окрестные помещики, родственники и знакомые, устраивались пышные пиры и театральные представления. Гоголи приезжали всей семьей. Им отводился особый флигель, и они гостили у своего «благодетеля» по нескольку недель. Василий Афанасьевич для этих случаев писал малороссийские комедии, которые и шли в исполнении местных любителей. Автор «Ябеды» Василий Васильевич Капнист сочинял либретто для крепостного балета. Как-то приезжал в Кибинцы на эти празднества и одряхлевший Державин.

Никоша заранее с волнением ждал этих поездок в полный чудес дом ушедшего на покой вельможи. Гоголи обычно собирались в путь долго и тщательно: надо было приготовить праздничные наряды, театральные костюмы, сделать все распоряжения по хозяйству. Ранним утром в огромную желтую коляску с решетками, напоминавшую целую крепость, впрягалась шестерка обленившихся на конюшне лошадей. В коляску впихивались всевозможные свертки, коробки, пакеты. Затем в ней рассаживалось все семейство Гоголей — с няньками и детьми.

Ехать надо было по пыльной, жаркой дороге за сорок верст. По пути останавливались в усадьбе у знакомых, славившихся своей добротой и хлебосольством. На деревянном крылечке с резными столбиками приезжих встречал высокий старичок с трубочкой и вел их в маленькую и низенькую гостиную с каким-то особым запахом мяты и ромашки и широкой деревянной дверью, издававшей жалобный скрип. Тут их радостно приветствовала кругленькая старушка, одетая всегда в простое ситцевое платье и в чистеньком беленьком платочке на голове. Скоро накрывался обильный малороссийский стол — с пампушками, товченыками, жареными цыплятами, пирогами, ватрушками. Хозяева добродушно потчевали

гостей. Плотно подкрепившись, Гоголи вновь рассаживались в своей необъятной коляске и, поблагодарив хозяев, продолжали путешествие.

Дом Трощинского в Кибинцах большой, двухэтажный. Снаружи он не поражал великолепием, но внутри был богато и пышно отделан — всюду бронза, картины, мрамор, фарфор. Вокруг дома располагались многочисленные флигели, оранжерея, службы.

Уже при приближении к дому слышались звуки домашнего деревенского оркестра, казавшиеся сначала каким-то неопределенным гулом, а потом сливавшиеся в стройное звучание.

Гоголи устраивались в отведенном им флигеле. Василий Афанасьевич сразу же принимался за подготовку спектакля. Никоша все эти дни находился в каком-то очарованном сне. По утрам он тихонько приходил в оранжерею и внимательно следил за репетицией, которую там проводили. Затем проскальзывал в огромную библиотеку и, перелистывая страницы книг в переплетах из кожи, рассматривал старинные гравюры, читал удивительные рассказы про дальние страны.

Главным событием дня был обед. Перед обедом съехавшиеся к своему амфитриону гости располагались в обширной столовой, напряженно ожидая хозяина. Наконец появлялся Дмитрий Прокофьевич — в полной парадной форме, при всех орденах и лентах, задумчивый и суровый, с выражением утомления и скуки на умном старческом лице. Оркестр играл торжественный марш, и все молча приступали к еде. Хозяин редко кого удостаивал своим вниманием. Иногда он обращался к Василию Афанасьевичу, пользовавшемуся его благосклонностью. Василий Афанасьевич не только угождал театральным вкусам своего дальнего родственника, но с бескорыстным усердием приводил в порядок дела его обширных поместий, насчитывавших много тысяч десятин и тысячи крепостных душ.

После обеда начинались шумные забавы. Сумрачно сидевшего вельможу нужно было развлечь, рассмешить, привести в благостное расположение духа.

Для этого имелись шуты и особые «шутодразнители» из числа бедных мелкопоместных дворян.

Любимыми шутами являлись барон Шиллинг и спившийся расстрига священник отец Варфоломей. Барону насчитывалось сто четыре года, но он еще бодро выплясывал на танцах, в особенности французскую кадриль с ее залихватскими антраша, и даже зимою ходил в самый лютый мороз в одном фраке. В летнее же время его любимым занятием была ловля мух. Старик Трощинский, глядя на задорного барона, чувствовал себя более молодым.

Особенно увеселял его вечно пьяный поп Варфоломей. Шутодразнители охотнее всего изощрялись над ним, придумывая всевозможные забавы. Один из местных блюдолизов припечатал как-то сургучной печатью к обеденному столу жиденькую бороденку отца Варфоломея, и тот покорно выдергивал ее по волоску. Это очень рассмешило Трощинского, и он бросил попу золотой империал.

Никоша в таких случаях не смеялся. Эти злые шутки болезненно отдавались в его сердце. Ему было жалко пьяненького, неопрятного, оборванного попенка, горько плачущего от боли и обиды...

Потом все выходили на веранду. Около нее стояла большая сорокаведерная бочка, наполненная до краев водой. Трощинский небрежно вынимал из кафтана горсть червонцев, пересчитывал их и бросал в бочку.

— Ну, панове, — обращался он к окружающим. — Кто достанет все двадцать червонных за один раз, тому и владеть ими!

Вечером в большом зале, освещенном сотнями горящих свечей, долгожданное представление. Маленький Никоша сидит на самом краешке стула рядом с красивой внучкой Трощинского. Зал битком набит народом, важное панство — в первых рядах на мягких стульях, а за ним теснятся мелкопоместные панки, приживальщики, многочисленная домашняя челядь. Сцена задернута зеленым занавесом, на котором нарисована золотая лира и играющий на ней пухлый купидон с крылышками.

Раздается музыка: домашний оркестр исполняет увертюру из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро».

Наконец занавес раздвигается, и на сцене — мимическая картина «Филимон и Бавкида», сочиненная известным поэтом Капнистом. Он сам изображает в ней престарелого Филимона, а любящую жену Бавкиду — его миловидная дочь Катерина Васильевна. Эта трогательная мифологическая история верной любви двух супругов завершается апофеозом: ветхая изодранная одежда спадает на землю, и они в блестящих туниках обращаются к зрительному залу и к сидящему в первом ряду имениннику с приличествующими случаю стихами, прославляющими фортуну Трощинского:

Лишь благом к царству ты дышал,
При Савской будучи царице:
За то Эол, кой все сражал,
Главу вознесши во столице,
Седые пощадил власы.
. . . . . .
Свирепость буйну укротил
И над тобой остановился,
Не бог ветров — то был Зефир,
Он мудростью твоей пленился...

Присутствующие прекрасно понимают и тонкую лесть этого мадригала и некоторую преувеличенность его: царица Савская — Екатерина — действительно жаловала своего статс-секретаря, но свирепый, все сражавший Эол — Павел I — хотя и пощадил седые власы любимца своей матери, но решительно отверг его услуги. Да и нежный Зефир — Александр I — перестал уже жаловать старого вельможу... Трощинский снисходительно хлопает в ладоши.

Никоша ничего этого не понимает, и ему нравится лишь возвышенность самих стихов.

Затем показывают балет на музыку крепостного композитора и танцора Сашки. А в заключение, после антракта, в котором музыка играет разные танцы, а гости танцуют менуэт и мазурку, — «малороссийскую комедию» «Простак, або хитрощи жинки, перехитренны москалем», сочиненную Василием Афанасьевичем. Когда раздвинулся занавес, зрители увидели

Библиотека Завкома

и самого Василия Афанасьевича, игравшего простодушного и недалекого чоловика Романа, и Марию Ивановну — разбитную и легкомысленную его жинку Параску.

На сцене представлена была крестьянская хата, чоловик и его жинка ссорились и ругались совсем так, как ссорились все чоловики и жинки в Васильевке. Тут пришел солдат, который решил помирить Романа и Параску и на этом заработать сытный обед. Солдат обращался к Параске: «Что же, хозяюшка, давай теперь чего покушать». На что Параска раздраженно отвечала: «Що ж тоби даты? Ось шматок гречаныка иж, коли вкусишь». Солдат, однако, требовал чего-нибудь повкуснее: «Небось старика накормила!» Но Роман, которого властная жинка держала впроголодь, отвечал: «Ни, москалю! Сучий сын, колы и риска* була в роти, а исты хочется так, що аж кишка корчить, да даст биг чого. Оце вона, спасыби ий, дала шматок гречаныка, так не вкушу: нет, тоби кажучи, зубив уже, лиха маты маэ». Роман жалуется на тяжелые времена, на то, что пришлось продать последний хлеб, чтобы уплатить подушные помещику: «А що ж маешь робиты? Де ж бы я грошей узяв на подушне? Заробить нездужаю: нивки** и лиски уж давно распродав, скот нипочему: тильки що послидний хлиб продаты, щоб прокляты сипакы*** не обливали на морози холодною водою...» Роман долго жаловался на свои беды и терпимые им притеснения, и Никоша всем сердцем ему сочувствовал — ему казалось, что он давно знает этого Романа и его горькую жизнь.

Дальше действие комедии развертывалось неожиданно смешно. Параска боится, что спрятанный ею дьяк Фома Григорьевич может себя обнаружить перед ее мужем Романом. Солдат пользуется ее затруднительным положением. Раздев дьяка, он вымазывает его сажей и, выдав за черта, выгоняет из хаты. Вместе с простодушным Романом солдат с аппетитом съе-

* Крошка.
** Вспаханное поле.
*** Сборщики податей.

дает ужин, приготовленный Параскою для своего любовника, и в придачу забирает дьяковскую одежду. Зрители дружно смеются над находчивым солдатом и незадачливым дьяком, снисходительно улыбается и Трощинский, одобрительно помахав сухонькой ручкой смущенной успехом Марии Ивановне.

По окончании спектакля — в саду великолепный фейерверк в честь знатного именинника. Взлетают в черное небо золотые змеи, зеленые и красные ракеты рассыпаются огненными искрами, кружатся, как огромные подсолнухи, солнечные диски. Пиротехник поработал на славу. Про него рассказывают, что он когда-то служил артиллерийским офицером, но, случайно приехав в Кибинцы, застрял на несколько лет у хлебосольного благодетеля, позабыв про службу, друзей и прежнее местожительство.

Маленький Гоголь в восторге от красивого зрелища и прижимается к матери, уже сменившей свой крестьянский наряд на изящное синее платье, оттеняющее ее тоненькую фигуру. Мария Ивановна ласково гладит его по головке и уговаривает идти поскорее спать...

Гоголь и в последующие годы нередко посещал Кибинцы, пользовался книгами из обширной библиотеки Трощинского.

Здесь он всегда встречал многочисленное и разнообразное общество. Дом Трощинского привлекал к себе даже людей, недовольных существующим положением вещей. Опальный вельможа имел репутацию прогрессивного государственного деятеля. Кибинцы посещали сыновья В. Капниста — один из них, Алексей, состоял членом «Союза благоденствия», — братья Муравьевы-Апостолы, сыгравшие такую видную роль в декабристском движении, декабрист Н. И. Лорер. В ноябре 1825 года, незадолго до декабрьских событий, на балу в Кибинцах среди гостей находились Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы и М. П. Бестужев-Рюмин. От Трощинского они узнали о смерти Александра I и поспешно уехали с бала.

Гоголь был тогда еще слишком молод, чтобы завязать с ними дружбу. Но он смутно чувствовал какую-то особую, возбужденную атмосферу вокруг них, примечал их иронически-презрительное отношение к шутовским затеям Трощинского, их загадочные взгляды, когда они уединялись среди толчеи и бесшабашного веселья Кибинец.

ОБУХОВКА

Неподалеку от Васильевки находилось родовое имение Капнистов Обуховка, где со своими сыновьями и дочерьми проживал Василий Васильевич Капнист. Обитателей Васильевки связывали с Обуховкой прочные дружеские узы. В большой семье Капнистов все было проще, чем в Кибинцах, здесь не надо было опасаться прогневить капризного «благодетеля», вежливо лавировать между множеством гостей. Дом Капнистов стоял на уступе горы, возвышавшейся над рекою Псел. Крытый соломой, небольшой и уютный, он воспет был самим поэтом, высоко ценившим независимость и покой:

Приютный дом мой под соломой
По мне — ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок;
А к двери, знатным незнакомой,
Забыла лень прибить замок.

...Приезжих радушно встретила вся семья: сам хозяин, среднего роста, с умным живым лицом и насмешливой улыбкой; его жена Александра Алексеевна, бывшая смолянка, сын Алексей и дочь Софья. Василий Васильевич Капнист долгие годы прожил в столице, где близко сдружился с Державиным, Львовым и баснописцем Хемницером. В 1798 году появилась на петербургской сцене его комедия «Ябеда», в которой смело и язвительно высмеивалось одно из наиболее вопиющих зол тогдашнего режима — взяточничество чиновников. Сразу же по своем появлении «Ябеда» была запрещена, а издание ее конфисковано. Коме-

дия имела огромный успех и расходилась по рукам во множестве списков. Читал ее и Никоша.

После обеда Капнисты повели гостей в большой тенистый сад, к беседке, и там, уступая настойчивым просьбам, Василий Васильевич прочитал свою «Оду на рабство», запрещенную к печати.

Никоша спрятался за стулом отца. Он внимательно слушал, хотя и не всегда понимал смысл стихов:

Воззрите вы на те народы,
Где рабство тяготит людей;
Где нет любезныя свободы
И раздается звук цепей:
Там к бедству смертные рожденны,
К уничтоженью осужденны,
Несчастий полну чашу пьют;
Под игом тяжкия державы
Потоками льют пот кровавый
И злее смерти жизнь влекут...

Василий Васильевич закончил чтение. Алексей Капнист смотрел на него восторженными глазами. Василий Афанасьевич растерялся и испуганно оглядывался по сторонам.

— Да, за такие вирши могут далеченько отправить, — задумчиво произнес он наконец. — А молодец, ей-богу, молодец! Но для нас еще не настало время людей из неволи вызволять!

Василий Васильевич взволновался. При всем своем светском лоске, при всей своей осторожности, внушенной положением в свете, Василий Васильевич сохранил отвращение к рабству.

— А что ж вы думаете? — резко спросил он. — Так и должно все оставаться по-старому? Вот я прошлой зимой еду по деревне и вижу почти голых людей, привязанных к колодам на дороге за то, что они не платят податей. А мороз сильный стоял. Я приказал отпустить их, а затем с исправником сколько имел неприятностей!

— Да оттого люди и бегут, — согласился Василий Афанасьевич. — Вон даже у Дмитрия Прокофьевича сколько биглых крепакив! Эта «закуция» враз усих разорила.

— А что такое «закуция»? — спросил Алеша Кап-

нист, плохо знакомый с местными порядками — он воспитывался в корпусе, в столице.

— А это когда голова, сотский и писарь идут по деревне и выколачивают подушную, — с готовностью пояснил Василий Афанасьевич. — Если кто не заплатит в первый раз, арестуют и подержат несколько дней в присутствии. Во второй раз натолкут сажи, смешают ее с водой и давай ляпать по стенам, по одежде, по чему попало! И водят с собой недоимщика. А в третий раз ведут на перекресток, а там заготовлены толстенные дубы, а в тех дубах дыры проверчены. Вот в такую дыру вставляют ногу неплательщика и прибивают ее брусом. Много народу насадят и держат так дня три-четыре, даже зимой! А уж если и это не помогает, то поливают холодной водой на морозе. Вот народ и бежит.

Никоша с ужасом слушал этот страшный рассказ. Ему до слез жалко было несчастных, которых подвергали таким мучениям. У себя в Васильевке он об этом ничего не знал. Добродушный Василий Афанасьевич покричит когда, погорячится, пригрозит, но всегда соблюдает справедливость.

Заметив испуг мальчика, Василий Афанасьевич взял его на руки, сказал: «Ну, ничего, ничего, це тильки балачки!» Никоша получил конфет и был выпровожен, а взрослые еще долго горячо о чем-то спорили.

А Никоша пошел в детский домик, в котором проживал старичок француз. Старичок строил около домика «Храм умеренности». Вокруг будущего храма были посажены три деревца: груша, сосна и дуб — в ознаменование вечной твердости. Старичок служил когда-то во Франции кондитером и готовил очень вкусные печенья...

ВЕРТЕП

В этом году весенняя ярмарка проходила без Василия Афанасьевича. По делам своего «благодетеля» он вынужден был уехать в Кибинцы. Заодно надо было

посоветоваться с врачами, так как здоровье становилось все хуже и хуже. Грудь болела, в особенности по ночам. Не давая спать, мучил удушливый кашель. Беспокоили и хозяйственные дела, безденежье, тяжелая распутица, которая могла плохо сказаться на успехе ярмарки. Дороги размокли, зыбкая грязь мешала проехать в Васильевку из окрестных мест.

Прибыв в Кибинцы, Василий Афанасьевич написал своей «белянке» встревоженное письмо, в котором заботы о близящейся ярмарке перемежались с тревогой о жене: «Прикажи еще приказчику, чтобы к ярмонку нашему доставлена была из Яресек горилка, чтобы сделана була ятка * и прочее. Загоны нанимать москалям те, что около Снесаря или около Симонихи и около Федьки. Назначенных на продажу молодых быков нужно повыучить и продавать на лигачах **, подобравши по шерстям и по росту попарно, а продавать от 28 до 48 рублей за пару, смотря по быкам». Свое письмо Василий Афанасьевич заключал советами на всякий случай пить посылаемый им «грудной чай», который пить, как прочие травки, можно и с бузиновым соком.

Взволнованная болезнью мужа и трудностями предстоящей торговли на ярмарке, Мария Ивановна подробно сообщает ему о делах. Она смягчает краски, желая его успокоить, но тревога сквозит в ее бесхитростных письмах, посвященных домашним и хозяйственным делам: «Я травку, присланную тобой, пью, но она мне ничего не помогает, — отвечает она мужу. — Теперь у меня в комнатах очень тепло, их вымазали таким манером, как в книге написано, и выходит чрезвычайно, нигде не дует. Но без тебя ничего меня не веселит — ужасная грусть снедает меня, ожидаю с нетерпением от тебя известия с Лубен... Дай бог, чтобы ты был совершенно здоров как можно скорее, я же пребуду покуда жива вернейшим твоим другом

Мария Яновска».

---

* Палатка, навес.

** Веревка, упряжка для вола.

Но здоровье Василия Афанасьевича не становилось лучше. А тут еще приходилось много сил тратить на дела родственника. Обширные владения Трощинского были запущены, управляющие и старосты обкрадывали и обманывали его, разоренные крепостные крестьяне толпами сбегали на юг, в Херсонщину и Крым. Пришлось приложить много труда, чтобы добиться какого-нибудь порядка. А «благодетель» считал, что обязательный родственник должен бескорыстно выполнять его поручения, благо может всегда рассчитывать на покровительство и поддержку, ежели в этом возникнет надобность.

Наконец Василию Афанасьевичу удалось наладить дела в Кибинцах, и он поспешил в Лубны, к тамошнему доктору Голованеву. «Письмо твое, друг мой, от 9-го марта получил я в Лубнах 14-го, — писал он Марии Ивановне, — на которое спешу отвечать тебе: 1-е, что Голованев оставил меня лечиться у себя — сие для нас будет весьма разорительно, но нечего делать — ужасные мои припадки заставили меня решиться остаться до праздника. 2-е, бога ради старайтесь собирать деньги, ибо мне здесь много надобно. 3-е, прикажи, чтобы всенепременно собраны были подушные деньги с людей по прошлогодней раскладке. ...5-е, коровам цену положил я по 40 ср., но в нужде можно будет уступить и дешевле немного...» Свое письмо Василий Афанасьевич подписал: «Твой верный друг и несчастный страдалец В. Яновский».

Марии Ивановне одной приходилось подготавливать все для ярмарки: говорить с приказчиком, следить, как строятся палатки и навесы, проверять качество горилки, осматривать волов и коров, предназначенных на продажу. В эти дни Никоша был предоставлен самому себе, с нетерпением ожидая ярмарки.

Несмотря на плохую погоду, на ярмарку привезли из Ромен вертеп. С гурьбою хлопчиков Никоша поспешил к площади, на которой уже стоял небольшой походный домик из досок и картона. Верхний этаж имел балюстраду, внизу же устроена была комнатка, в которой находился трон царя Ирода.

Вскоре началось и представление. Нарядно одетые

деревянные куклы двигались, плясали и пели, совсем как люди, только движения их были слишком быстрыми и судорожными. Дивчины, молодицы, хлопцы, дядьки, старики и старухи сгрудились перед вертепом и затаив дыхание смотрели, как восточные цари идут к колыбели Христа, как ангелы славят его рождение. С ужасом следили они за царем Иродом, отдающим приказ истребить новорожденных младенцев. Первая часть представления заканчивалась появлением Смерти в виде скелета с косою — ею Смерть убивает Ирода. Малыши так пугались, что начинали громко реветь, когда она говорила:

Князья и цари под властью моею *,
Усих вас я посечу косою своею.

Зато второе отделение вызвало бурный смех и всеобщее веселье. Здесь и старый дид с бабой, и солдат, и цыган с цыганкой, и поляк с полькой, и дьяк, и, наконец, запорожец с чертом. Черт оказался вертлявым, с острой мордочкой, длинными рогами и тонким хвостом с кисточкой на конце. Никоше он очень понравился, только показался жалким и забитым. Все эти смешные фигурки плясали, пели, дрались, ссорились и мирились.

Особенно восхитил Никошу запорожец. Он вышел в красном жупане, в широченных шароварах, с огромной кривой саблей и важно запел:

Я козак, горилку пью, люльку я вживаю,
Е шинкарки в мене, а жинки не маю.
А вас, панове, с святками поздравляю.

Потом появилась цыганка, и запорожец просил ее погадать ему. Она гадала и просила награды.

Цыганка. Не жалуй, батеньку, копиечки, дай дви.
Запорожец. Що ты кажешь, цыганко? Я не дочуваю **.
Цыганка. Да я й сама, козаче, знаю.
Той я кажу: не жалуй копиечки, да дай дви.
Запорожец. За що або й на що тоби, скажи, будь ласкова.
Цыганка. Я б соби, голубе мый сизий, рыбки купыла.

---

* Тексты народных украинских песен, вертепа, сказок даются по современным Гоголю записям в тогдашней транскрипции.

** Не слышу.

Запорожец. Може б, ты, цыганка, й товченыки* йила?
Цыганка. Ох, йила б, козаче-бурлаче, да деж то их взяты?
Запорожец. Цаплена ты голова! Чому давно не казала?
Я б тоби повну пазуху наклав. От тоби товченыки, от тоби товченыки!

Скупой запорожец бил своей саблей цыганку, она с визгом убегала от него. Зрители были в восторге.

Тем временем ярмарка оживлялась. Опошнянские горшки, глечики, макитры, куманьки — желтые, коричневые, расписные, цветастые призывали покупателя, радовали глаз своими формами и красками. А там воз с решетиловскими смушками — серыми, черными, завивающимися ровной, упругой волной. Чумаки привезли астраханские селедки, сушеную рыбу — тарань. А тут рядом и ятка с горилкою — пей не хочу! Чумаки с дальней дороги уже пропивают заработанные гроши: «Лучше пропить, чем дегтю купить!» — смеется здоровенный усатый чумак, выпивая чарочку. «Пило б и ледаще, як бы було нащо!» — отвечает другой постарше. Тут же приходят музыканты со скрипкой и бубном, и начинается веселье. Усатый чумак сбрасывает с себя жупан и отплясывает козачка во всю силу:

Грай, музыка, шпарко, хутко,
Чумакови дуже жутко!
Нехай же вин погуляе,
Бо в кишени** дидько*** мае!..

Чумак постарше запевает:

Пропив чумак штаны,
Частуючи Гапку;
Пропив чумак люльку,
Частуючи Любку!..

На другом конце площади продают скот. Пепельно-серые волы задумчиво жуют солому. Рыжие коровы протяжно мычат и поводят равнодушно-томными глазами. Блеют кудрявые овцы, сбившись в большой грязно-серый ком.

---

* Лепешки из толченого мяса или рыбы и в то же время — удар, тумак.
** В кармане.
*** Домовой, дьявол.

Никоше нужно везде поспеть, все посмотреть и услышать. Вон на краю дороги сидит старый-старый слепой бандурист. С ним босоногий мальчик-поводырь. Слепец перебирает струны бандуры и поет хриплым речитативом:

Ой, на славной Украине кликне-покликне
Филоненко, Корсунский полковник,
На долину Черкень гуляты,
Славы войску рыцарства достаты,
За веру християнськую одностойно статы.
. . . . . .
То есаулы у города засылали,
По улицам пробегали,
На винники, на лазники словами промовляли:
«Вы грубники *, вы лазники **,
Вы броварники ***, вы винники:
Годи вам у винницях горилок куриты,
По броварнях пив вариты,
По лазням лазень топиты,
По грубам валятыся,
Товстым задом мух годуваты ****,
Сажи ***** вытираты,
Ходнмте за нами на долину Черкень погуляты!

Никоша видит, как из-под закрытых век кобзаря вытекает одинокая слеза, и бросает в его шапку большой медный пятак.

Лишь к обеду он явился домой, усталый, полный до краев впечатлений этого волшебного, сказочного дня. Мимо его ушей шли жалобы Марии Ивановны на то, что на ярмарке плохо продается скот, что за волов едва-едва дают по двадцать карбованцев вместо тридцати, а коров и вовсе не покупают, что дороги размыты дождями...

Через два дня ярмарка закрылась. Наступили скучные будни.

Пора было уже учить старших — Никошу и Ваню. К ним наняли «на вакации» учителя-семинариста, убоявшегося бездны семинарской премудрости и предпочитавшего горилку священным молитвослови-

* Истопники, печники.
** Банщики.
*** Пивовары.
**** Кормить.
***** Хлев для свиней.

ям. За сто рублей он должен был обучить обоих хлопчиков всем наукам: грамоте, закону божию и четырем действиям арифметики. «Вчитель» носил густые лохматые усы и синий сюртук с большими костяными пуговицами, которые составляли его особую гордость, вызывая восхищенную почтительность дворни. За трапезой он весьма исправно опустошал свою тарелку, замечательно чисто обтирая ее хлебной коркой, когда содержимое исчезало. Кроме того, почтенный педагог обладал искусством изготовления наилучшей ваксы для сапог и чернил.

При всех этих его превосходных качествах учение шло недостаточно плодотворно, так как семинарист явно предпочитал горилку урокам. Он часто сказывался больным и сидел в своей горнице с головой, обвязанной мокрым полотенцем, и с необычайно взлохматившимися усами. Но так или иначе, мальчики выучились грамоте и уже приступали даже к таинствам сложения и вычитания, когда учитель был спешно изгнан из дома. Одна из дворовых девок, видя, что таиться ей уже все равно поздно, покаялась Марии Ивановне в необдуманном поведении и назвала виновника своего затруднительного положения. Мария Ивановна долго корила виновную, а затем вызвала «вчителя» и, несмотря на его болезнь и костяные пуговицы, дала ему расчет.

Необходимо было позаботиться о продолжении учения. Василий Афанасьевич съездил по делам в Полтаву и там договорился об определении детей в поветовое (уездное) училище. Но для этого следовало их подготовить к приемным экзаменам. Тамошний учитель Гавриил Сорочинский взялся с ними заниматься. Мальчиков условились отвезти к нему на квартиру, чтобы они под его руководством постигли науки, необходимые для поступления в училище.

Предстояла долгая разлука. Никоша заранее рисовал себе прелести городской жизни, но ему грустно было расставаться с матерью, бабушкой, отцом. Он уныло ходил по дому и саду — они казались ему какими-то опустевшими, далекими, словно он уже здесь и не жил, а приехал на время, на побывку.

ПОВЕТОВОЕ УЧИЛИЩЕ

1 августа 1818 года в Полтаву въехала обширная семейная бричка, в которой важно восседали братья Никоша и Иван, поступавшие в поветовое училище. Василий Афанасьевич и Яким сопровождали мальчиков. Никоше шел уже десятый, а Ивану девятый год.

Бричка была доверху нагружена изделиями домашней кухни и солидным запасом продуктов для учителя. Василий Афанасьевич еще раз в уме сверил список Сорочинского, потребовавшего за пансион и обучение не только денежной мзды, но и плодов сельского хозяйства: «6 четвертей ржаной муки, 6 пшеничной, гречаной 12 мерок, пшена 6 мерок, гречаных круп 6 мерок, 1 бочонок огурцов, меду 10 фунтов, сала полтора пуда, масла полпуда...» Все уже отправлено на телеге, ничего не забыто.

Проехав деревянный мост через полноводную Ворсклу, экипаж поднялся по Крестовоздвиженской улице и свернул в один из боковых переулков. Здесь находилась квартира учителя и его будущих воспитанников. Когда Никошу освободили от пальто и платков, в которые он был завернут из опасения простуды, то из брички вышел тщедушный некрасивый мальчик. Щеки и тонкий нос покрыты были красными пятнышками, уши плотно завязаны пестрым платком, придававшим его тощей фигурке комический вид. Вслед за ним с трудом вылез и толстый флегматичный Ивасик.

Квартира, хотя и в небольшом глинобитном домике, оказалась достаточно теплой и удобной. Гавриил Максимович уже поджидал их и уверил Василия Афанасьевича в том, что дети найдут в его лице нежного и заботливого отца. Учитель был солидный, румяный, плотный мужчина с мягкими, плавными жестами и чисто выбритым лицом. Василию Афанасьевичу он внушал полное доверие.

Мальчики остались у Сорочинского, а Василий Афанасьевич, тяжело вздыхая, отправился обратно в Васильевку. Никоша стал понемногу привыкать

к новым порядкам. Гавриил Максимович оказался серьезным и дельным педагогом. С утра он уходил на службу и задавал своим воспитанникам уроки, а по приходе проверял сделанное ими и объяснял дальнейшее. Приходилось много сидеть дома за уроками. Гулять тоже было не с кем и негде. Ходить на Ворсклу далеко, да уже становилось и холодно. По улицам бродить одним неинтересно.

Полтава оказалась одноэтажным, живописно раскинувшимся на холмах городком с множеством белых домиков с зелеными ставнями. Около каждого домика имелся свой садик, тротуары были настланы деревянные. С обрыва горы открывался красивый вид на Ворсклу и окрестности. Грамматика, арифметика и катехизис, однако, заслоняли и красивые виды и веселую жизнь улицы. Никоша очень тосковал по родным и часто, делая уроки, задумывался, становился рассеянным и допускал грубые ошибки. Гавриил Максимович сердился, поправлял, ворча недовольным басом: «Мовчок — розбив батько горщок, а як маты два, то нихто незна!»

По прошествии двух недель Сорочинский отписал в Васильевку:

«Милостивый государь Василий Афанасьевич!

Провизию я получил. Гречаную муку отправляю обратно, потому что пополам с ячною, она для нас не годится. Масло получил исправно. Сала вместо 1 п. 16 ф. — 1 п. 7 фунтов. Покорнейше вас прошу приказать отпускать повернее провизию.

Николаша ваш здоров и прилежен. Я и по сие время не решился еще насчет квартиры. Ищу повыгоднее. Николашу вашего я хочу иметь в гимназии волонтером, то есть на некоторые предметы не посылать для того, чтобы он не потерял много времени. Извините, что я мало с вами знаком, а то мог бы уверить вас, что сын ваш в объятиях дружбы. Просил вас и теперь прошу, будьте покойны, в противном случае вы лишаете меня всей охоты трудиться.

Имею честь быть вашим покорнейшим слугою

Гавриил Сорочинский».

«Объятия дружбы» помогли. Через несколько недель братьев Гоголей-Яновских приняли, правда, не в гимназию, а в первый класс поветового училища.

С гордостью явился Никоша на первый урок. Учитель закона божьего протоиерей отец Георгий в лиловой шелковой рясе и с большим нагрудным крестом скучно и долго объяснял из катехизиса заповеди данного богом Моисею. Никоша никак не мог понять заповеди: «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Зачем желать жены ближнего? И при чем тут скот? Как-то он спросил об этом батюшку, но тот рассердился и поставил в журнале длинную и толстую единицу.

Не лучше обстояло дело и с уроками русского языка. Анастасий Анастасьевич Савинский проходил «российскую грамматику» по учебнику и читал мальчикам из книги «О должностях человека и гражданина». Книга эта написана была скучным, тяжелым языком, и мальчики, ничего в ней не понимая, начинали шалить и возиться. Савинский же оказался большим любителем тишины и хорошего поведения и терпеть не мог бойких и беспокойных мальчиков. Поэтому он выходил из себя и ставил виновных и невиновных перед собой на колени, так что половина класса стояла на коленях, а другая пускала стрелки, играла в перышки, ожидая своей очереди.

Особенный трепет внушал ученикам учитель латинского языка, один кашель которого при его появлении в сенях уже приводил в ужас весь класс. На кафедре у него всегда лежали два пучка розог. Виновный в незнании склонения или спряжения, заикаясь, бормотал: «panis, panem, panis...*» — и в то же время спускал штаны, чтобы подвергнуться неминуемому возмездию.

Учение шло поэтому не блестяще, и хотя в разделе школьной ведомости в графе «Поведение» писалось про Николая Гоголя-Яновского, «порядочен»,

* Хлеб, хлеба, хлебу *(лат.)*.

однако в других графах оценки были весьма умеренными. После года обучения в поветовом училище Никоша сообщал родителям, стремясь как можно меньше их огорчить:

«Дражайшие родители Папинька и Маминька!

Я весьма рад, что узнал о благополучном здравии вашем. Я поставил для себя первым долгом и первым удовольствием молить бога о сохранении бесценного для меня здравия вашего. Вакации быстро приближаются. Я не успел еще окончить всего, следовательно нужно заняться вакациями, чтобы поспеть с честью во второй класс. Учитель математики мне необходим.

Если будете в Полтаву сами скоро, то я уверен, что все устроите для моей пользы.

Целую бесценные ручки ваши, имею честь быть с сыновным моим к вам высокопочитанием ваш послушный сын

Николай Гоголь-Яновский»

Гоголю не суждено было перейти во второй класс. Умер Иван. Болел он недолго. Лежал красный, опухший, с трудом выговаривая слова. Никошу не пускали к нему в комнату. Приходили доктора, они долго осматривали больного, прописывали какие-то микстуры и быстро уходили, получив вознаграждение за визит. Приехал расстроенный Василий Афанасьевич. Но ничего не помогало. Огненный жар не спадал, и Иван умер. Никоша увидел его уже в гробу: похудевшего, желтого, как из воска, со сложенными на груди беспомощными руками и спокойным, как бы задумавшимся лицом. Он вскрикнул от тоски и ужаса и упал на пол. Как похоронили Ивана, он не помнил, придя в себя лишь в Васильевке, когда мать гладила его волосы и лицо своими нежными пальцами.

Перед глазами Никоши все время стояло лицо мертвого Вани. Никоша не захотел возвращаться в Полтаву и остался дома.

Так кончилось детство. Начиналась юность.

ГЛАВА ВТОРАЯ



Гимназия высших наук

„...В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра.

Н. Гоголь.
«Авторская исповедь»

«ТАИНСТВЕННЫЙ КАРЛА»

Осенью 1820 года в Нежине состоялось открытие Гимназии высших наук, основанной на средства покойного екатерининского вельможи канцлера князя А. А. Безбородко. Гимназии были присвоены права высших учебных заведений и установлен девятилетний срок обучения, разделенный на три разряда, или

трехлетия. Слушатели последнего трехлетия изучали «высшие науки» в объеме университетского курса и считались студентами.

В уставе гимназии были точно переименованы предметы, которые надлежало изучать: 1-е. Закон божий; 2-е. Языки и словесности: российская, латинская, греческая, немецкая и французская; 3-е. География и история; 4-е. Науки физико-математические; 5-е. Политические; 6-е. Военные и сверх того танцы, рисование и черчение. Особые права и преимущества заключались в разрешении изучать политико-юридические науки и естественное право.

Вести о новом учебном заведении скоро дошли и до Васильевки. Сосед, помещик Щербак, съездил в Нежин и сразу же отдал своего сына в новую гимназию. Он сообщил Василию Афанасьевичу, что учат там хорошо, что среди пансионеров дети известных фамилий. «Благотворитель» Трощинский обещал похлопотать, чтобы Никошу приняли бесплатно пансионером, и Василий Афанасьевич решился последовать советам соседа.

4 августа 1821 года все та же желтая колымага доставила в Нежин Николая Гоголя-Яновского, принятого во второй класс Гимназии высших наук.

На первых порах Нежин неласково встретил Никошу.

Первоначально Гоголь был зачислен в «своекоштные» ученики, а не в пансионеры, и помещен на квартире у надзирателя Зельднера, высокого, сухопарого немца. Этот педагог держал пансион для гимназистов, прибывших из других мест, и обязался перед Василием Афанасьевичем рачительно следить за здоровьем и нравственностью своего воспитанника.

В доме Зельднера господствовала немецкая аккуратность, сочетавшаяся со скаредностью. Обед подавался так, что лишь при очень точном распределении порций его хватало на всех сидевших за столом. Хлеб и масло нарезались тоненькими ломтиками, сахар выдавался по счету. Для привыкшего к деревенскому изобилию и приволью Никоши это было стеснительно и неприятно.

Особенно допекал Зельднер зубрением уроков и перепиской. В переписке он видел главный ключ к знанию и, проверяя школьные тетради, произносил многословные поучения. Никоша с первых же дней возненавидел своего наставника.

Тоска по дому, одиночество усиливались насмешками товарищей, с которыми никак не сходился деревенский дичок. Они его прозвали «пигалицей», находя в его тонкой, нахохлившейся фигуре сходство с птицей. Все это удручало мальчика, тяжело переносившего разлуку с родными. А Зельднер заставлял его под диктовку писать бодрые письма родителям и сам извещал их о неизменном благополучии своего воспитанника.

Тайком от ментора Никоша послал письмо отцу, жалуясь на свою печальную участь. Узнав об этом, Зельднер написал в Васильевку опровержение. «Сын ваш очень не рассудный мальчик во всех делах, — сообщал разгневанный наставник, — и он часто во зло употребляет ваше отеческой любов. От того я вам только один пример здесь скажу. За две недели он должен быль наказан быть за незнание урок и за то я приказал ему не дать чаю после обеда. Другое утро я принудил его писать к вам письмо. Я вдруг вижу, что он вам писаль следующие слова: «Почтеннейший папинька! Спешите приехать, чтобы вы видели, в каком печали сын ваш и какой участь он имеет». Видевши эти строки, я ему выговор зделал и не позволил, что он такой письмо отправил. Я уверен, что сие известие вам очень неприятно, потому вы отец и имеете только одного сына, но будьте спокойны и уверены, что мы все будем стараться ему отвикать худые привычки и научить ему самый лучший нрав». Заверяя в своем полнейшем почтении, Зельднер замечал, что «без маленькие благородние наказание не воспитывается ни один молодой человек».

Письмо Никоши вызвало дома большую тревогу и заставило поторопить «благодетеля» с хлопотами о зачислении мальчика в казенные пансионеры. В марте 1822 года пришло, наконец, распоряжение

почетного попечителя графа Кушелева-Безбородко о включении «сына господина коллежского асессора Гоголя-Яновского в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении». Гоголь с радостью расстался со своим наставником и перебрался в гимназический пансион.

Гимназия находилась неподалеку от речки, заросшей камышами, в стороне от торговой и населенной части города. Она издалека белела своими дорическими колоннами. Эта колоннада открывала фасад трехэтажного здания с двумя выступавшими вперед боковыми корпусами и придавала античную строгость и завершенность всему строению, которое могло сравняться по своему великолепию с лучшими зданиями столицы. Все здесь было на редкость фундаментальным и солидным: и величественные колонны, и высокие сводчатые потолки, и широкие лестницы, и поместительные, просторные классы, называвшиеся «музеями». Гимназия окружена была обширным тенистым парком с вековыми деревьями.

За рекой раскинулся городок с базарной площадью в центре, окруженной двухэтажными кирпичными домами. Там расположились административные здания, трактиры, купеческие особняки. В городе имелся собор и множество маленьких церквей. По праздничным дням город наполнялся мелодическим перезвоном колоколов. От площади лучами расходились зеленые улочки с деревянными тротуарами и белыми домиками. А дальше шли обыкновенные хаты, с левадами и огородами, огороженными плетнями из ивняка.

Весь город пересекала Мостовая улица, которая шла от Соборной площади. Посредине площади спокойно разгуливали коровы, свиньи, куры. Летом по ней носились густые тучи черной, тяжелой пыли. Эта площадь и Мостовая улица служили излюбленным местом гуляния местных франтов и жеманных барышень, а также хорошеньких мещаночек, задорно лущивших семечки и делавших глазки гимназистам.

Порядок дня в Гимназии высших наук был строгим и рассчитанным до минуты. Воспитанники обяза-

ны были вставать в половине шестого утра и через час являться на молитву и чаепитие. Утренние уроки продолжались с 9 до 12, после чего следовал обед, а затем до 5 часов снова продолжались лекции. После чая предоставлялся досуг для «приятнейшего и благородно-шутливого препровождения времени», как гласили правила внутреннего распорядка. В 8 часов ужинали, а в 9 после вечерней молитвы все должно было погружаться в сон.

В столовой и классах ученики рассаживались сообразно своим отметкам в успехах и поведении. Провинившихся сажали за нижний, «черный» конец стола, отличившихся благонравием вносили в почетную «белую книгу». После домашнего приволья Никоше трудно было привыкнуть к этой утомительно точной регламентации дня, к требованиям профессоров, каждый из которых имел свои претензии и капризы. Первое время он получал плохие отметки и оказался на дурном счету у гимназического начальства. В ведомостях против его фамилии нередко значились единицы и двойки за «неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение».

Особенно невзлюбил его преподаватель латинского языка Кулжинский. Его раздражало, что этот белокурый мальчик в сером гимназическом сюртучке, с тонкими чертами лица усаживался обычно на заднюю парту и там под шум переводов вслух из латинской хрестоматии читал увлекательную книжку или рисовал карикатуры на учителя, не обращая внимания ни на coelum, ни на terram *.

Гоголь держал себя независимо и отъединенно. Он любил передразнивать, или, как говорили гимназисты, «копировать», своих учителей и школьных товарищей и достигал при этом сходства удивительного. Особенно удавался ему профессор российской словесности Никольский. Гоголь показывал, как он неторопливо взбирается на кафедру, громко сморкается и, уставившись неподвижно в одну точку, начинает лекцию монотонным голосом. Все это проде-

* Ни на небо, ни на землю (*лат.*).

лывалось перед приходом Никольского в класс, и, когда появлялся сам профессор, ученики дружно смеялись, а тот никак не мог понять причины их смеха.

Гимназисты делились на две неравные группы: «аристократов» и «простых». Ведь в гимназию принимались и дети обедневших дворян и даже выходцев из других сословий. Кичливые потомки знатных фамилий и богатых помещиков с презрением относились к мелкопоместным и малоимущим товарищам.

Эту кучку «аристократов» возглавляли Любич-Романович и Кукольник. Остальные тянулись за ними. Сын бывшего директора гимназии Нестор Кукольник пользовался авторитетом среди гимназистов и покровительственным вниманием педагогов. Он был начитан, интересовался литературой, историей, философией, искусством, недурно играл на пианино. Кукольник и сам писал стихи, даже считался первым гимназическим поэтом. Он ходил в красной шапочке, держался высокомерно и вместе с тем поэтически небрежно, как и подобало признанному таланту. Гоголь не любил его за это высокомерие и прозвал «Возвышенным». Прозвище это так и осталось за Кукольником, к великому его неудовольствию.

В свободное время Гоголь уходил в большой гимназический парк и бродил по его тенистым дорожкам. Там имелся у него любимый дуб, под которым он просиживал долгие часы. Товарищи прозвали его за это «Таинственным карлой».

Чаще других допекал Гоголя глупый и толстый Бороздин, дразнивший новичка «хохлом». Сынок богатого помещика, он издевательски рассказывал о том, как привезли Гоголя в гимназию:

— Подъехала хохлацкая бричка, запряженная парою волов, и усатый дядько вынимает из нее нашего пигалицу, — так называл Бороздин Гоголя, — завернутого в длинную казацкую свитку...

Гоголь отомстил насмешнику и в день его именин выставил в гимназическом зале транспарант с изображением черта, стригущего дервиша. Бороздин любил коротко стричь свои волосы, за что и получил

кличку «Расстрига Спиридон». Это прозвище увековечено было Гоголем и в сатирическом акростихе, начертанном на транспаранте:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище монахов всех.
Инок монастыря строптивый,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О чтец! Имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей!

С тех пор товарищи опасались называть его «пигалицей» и «хохлом», предвидя неминуемую месть.

Понемногу Гоголь стал привыкать к большому, неуютному дому, к сводчатым классам для занятий, к пестрой по воспитанию, по возрасту и по знаниям гурьбе школьников. А несносному немцу-воспитателю он все-таки насолил. Зельднер по должности надзирателя обычно сопровождал колонну гимназистов во время прогулок по городу. Он тревожно обегал всю колонну на длинных кривых ногах, следя, чтобы не было предосудительных разговоров или — не дай бог! — не исчез во время прогулки кто-нибудь из гимназистов. Гоголь сочинил стишок о Зельднере, который все гимназисты распевали на прогулке:

Гицель * — морда поросячья,
Журавлины ножки;
Той же чортик, что в болоте,
Тилько пристав рожки.

Зельднер важно шагает впереди, а в задних рядах запевают эти стишки. Быстро спешит туда. «Хто шмела петь? Што пела?» — тревожно спрашивает он. Тут запевают передние пары, и Зельднер мечется взад и вперед до полного изнеможения.

Гоголь часто писал домой в Васильевку, осведомляясь о здоровье отца, матери, всех домашних, рассказывая о своих маленьких невзгодах и радостях.

---

* Дубина *(нем.)*.

Васильевка представляется ему тихой и блаженной страной. Собираясь на летние каникулы, он сообщает из Нежина родным: «Я уже почти собрался, уклал все свое имущество и ожидаю со дня на день сего времени: уже вижу все милое сердцу, — вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псел, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я сброшу, наслаждаясь истинным счастием, забыв протекшие быстро горести. Одна счастливая минута может вознаградить за годы скорбей...

Прощайте! Дражайшие родители, прощайте, по недолго. Скоро мы увидимся, и сия радостная мысль наполняет мою душу восторгом. Скоро вы увидите у ног своих благодарного сына...»

Свое письмо Гоголь закончил просьбой: «Прошу вас прислать мне денег десять рублей, которые мне следует получить. Еще раз, они теперь мне пренужны, ибо мне надо расплатиться и купить еще красок для рисованья». В гимназии он увлекся живописью и нередко целыми днями рисовал пейзажи и портреты. Он неоднократно сообщает домой о своих успехах в рисовании, заботливо посылает родителям свои картины и рисунки. Но чаще всего письма переполнены просьбами о деньгах. Безденежье угнетало Гоголя, ему приходится отказываться от многих удовольствий, залезать в долги.

Родители не могли навещать его в Нежине, да и ему на зимние каникулы далеко не всегда удавалось вырываться в Васильевку. Тяжелым ударом для мальчика была весть о смерти отца. Василий Афанасьевич умер в конце марта 1825 года. Его смерть потрясла Гоголя, заставила задуматься о будущем. В письме к матери он сообщал о своих переживаниях, не по-детски серьезных. «Не беспокойтесь, дражайшая маменька! — писал Гоголь. — Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием, однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но бог удержал меня от сего — и к вечеру приметил

я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко всевышнему.

Благославляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так дражайшая маменька! я теперь спокоен — хотя не могу быть счастлив: лишившись лучшего отца, вернейшего друга всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, чтоб меня привязывало к жизни? Разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить отца и друга и всего, что есть милее, что есть драгоценнее?» Черты книжности, религиозной экзальтации, сказавшиеся в этом письме, не уменьшают его искренности, того большого чувства к матери, которое проходит через всю жизнь Гоголя.

Его горе смягчалось дружбой с Сашей Данилевским, которого он знал еще с детских лет. Саша не раз приезжал в Васильевку в гости со своим отцом, дружившим с Василием Афанасьевичем. После смерти отца Саша поселился в имении отчима — Толстом, находившемся в шести верстах от Васильевки. Вместе с Гоголем он учился в Полтавском поветовом училище.

Саша был стройным, красивым, черноглазым мальчиком с курчавыми, вьющимися волосами. Поэтому он неизменно играл во всех школьных спектаклях женские роли. Пылкий, беспокойный, всегда увлеченный какой-либо очередной идеей или страстью, он являлся любимцем товарищей. Был и еще друг, которому Гоголь поверял свои мысли и огорчения, — Герасим Высоцкий, солидный, вдумчивый юноша. Они также подружились еще в полтавском училище и встретились снова в Нежине. Своей начитанностью, остротой и основательностью суждений, насмешливым юмором Высоцкий привлекал к себе Гоголя. Он был старше на два года и являлся для Никоши непререкаемым авторитетом, он оказал сильное воздействие на его вкусы и интересы.

Долгими вечерами после классов бродили они по аллеям гимназического парка и поверяли друг другу свои планы на будущее, придумывали комические прозвища школьным педагогам и товарищам.

Недоверчивый и скрытный с другими, Гоголь не боялся мечтать вслух с другом. Весной 1826 года Высоцкий кончал гимназию и собирался уехать в Петербург, чтобы поступить там на службу. Планы товарища увлекали и Гоголя. Далекий, таинственный Петербург представлялся им обоим средоточием всего прекрасного, возвышенного, совершенного.

Незадолго до отъезда Гоголь высказал Высоцкому все, что его мучило, открыл ему свою душу, свои честолюбивые помыслы и раны самолюбия.

— Вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, глупых несправедливостей, смешных притязаний, как я! — жаловался он другу. — Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб...

Высоцкий пытался его утешать, говорил, что во многом он сам виновен в недружелюбном отношении к нему товарищей, напуская на себя загадочный, отчужденный вид.

— Одни почитают меня несносным педантом, — огорчался Гоголь, — думающим, что он умнее всех, а другие называют смиренником, идеалом кротости и терпения. Но по-настоящему узнают лишь тогда, когда я вступлю на путь настоящего моего призвания. Поверь только, что меня всегда наполняют благородные чувства, и всю свою жизнь я обрекаю благу человечества.

Он говорил горячо, взволнованно, но каким-то возвышенным, книжным слогом.

На прощание друзья условились встретиться в Петербурге, куда Гоголь обязательно приедет по окончании курса в гимназии.

— Ты будешь жить в Петербурге, — сетовал Гоголь, — веселиться жизнью, жадно пить ее наслаждения, а мне еще предстоит два года не видеть тебя, и это время мне кажется нескончаемым веком! Сделай милость, для нашей дружбы не забудь меня, пиши мне хоть раз в месяц!

Директором гимназии при поступлении туда Гоголя был лейб-медик Иван Семенович Орлай, закарпатский русин, давно прижившийся в России. Он был человеком широко образованным, окончил в Петербурге медико-хирургическое училище, а в Львовском и Будапештском университетах получил философское и физико-математическое образование. Его прельстила идея создания нового учебного заведения, и, получив должность директора Нежинской гимназии высших наук, он много сил и энергии вложил в ее организацию. Орлай привлек в гимназию опытных преподавателей; особенное значение он придавал изучению иностранных языков и физико-математических и философских дисциплин.

Гоголи были немного знакомы с Орлаем, так как по соседству с их имением находился крошечный участок земли, принадлежавший Орлаю. Это вселяло в Василия Афанасьевича надежду, что директор будет доброжелательно относиться к сыну своего соседа.

В гимназии с прибытием Орлая установился порядок. Директор не признавал бюрократического чинопочитания и служебного подобострастия, а требовал и от преподавателей и от учащихся сознательного выполнения своих обязанностей. Высокий, с важным выражением на лице, всегда тщательно одетый, в белом галстуке, Орлай степенно шествовал по коридорам. Он не любил, чтобы во время занятий или приготовления уроков ученики праздно разгуливали. Гоголь нередко нарушал это правило, но, встречая Орлая, выходил безнаказанным из беды. Завидев директора еще издали, он учтиво раскланивался и докладывал:

— Ваше превосходительство! Я недавно получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству свое почтение и донести, что по вашему имению все идет хорошо!

Орлай благосклонно улыбался и, потрепав Гоголя по голове, говорил:

— Душевно благодарю! Будете писать матушке, не забудьте ей поклониться от меня! — И Гоголь продолжал свою прогулку по коридорам.

Директор, однако, не всегда бывал столь милостив. Вспыльчивый и несдержанный, он легко выходил из себя и прибегал к приемам прямо петровским. Тогда доставалось не только ученикам, но и педагогам. Заметив преподавателя Моисеева, болтающего во время урока в коридоре со служителем, Орлай без церемоний взял педагога за воротник и ввел в класс под дружный хохот учеников.

— Пора начинать урок! — гневно бросил он оторопевшему учителю.

Моисеев театрально погрозил в дверь кулаком и приступил к занятиям как ни в чем не бывало.

Иван Семенович любил музыку, и по вечерам у него часто собирались старшие гимназисты, обладавшие музыкальными талантами, устраивались концерты. Гоголя, посещавшего эти вечера, даже увлекла было мысль заняться музыкой, и он отписал родителям, чтобы ему прислали скрипку. Это увлечение скоро, однако, прошло, и он ограничивался тем, что подпевал хору, когда Нестор Кукольник играл на фортепьяно любимую Орлаем студенческую песню, вывезенную им из Венгрии:

Extra Hungariam, non est vita,
Si est vita, non est ita! *

Орлай заботился о гимназистах, он соблюдал справедливость и строго следил за порядком преподавания. Однако летом 1826 года он покинул Нежин и переехал в Одессу, став директором тамошнего лицея. С его отъездом обязанности директора в течение года выполнял профессор математики Шапалинский, человек передовых взглядов, покровительствовавший всем начинаниям гимназистов. Ему пришлось вступить в борьбу с реакционной частью преподава-

* Вне Венгрии нет жизни,
Если есть жизнь, то только там!
(Перев. с латинского)

тельского состава, которая после отъезда Орлая пыталась прибрать власть в гимназии к своим рукам.

Эта реакционная кучка педагогов возглавлялась профессором политических наук Билевичем. Заодно с ним действовали законоучитель Волынский и профессор Никольский. Парфений Иванович Никольский преподавал российскую словесность. Читал он свои лекции по старинке, руководствуясь непререкаемым авторитетом теоретиков классицизма Лагарпа и Батё, которого он называл Бате.

Парфений Иванович был еще не старым человеком, но давно перестал следить за ходом словесности, считая, что лучше, чем писали в XVIII веке, теперь уже не напишут. Как гласил его формулярный список, он до своего поступления в Нежинскую гимназию «исправлял с отличным усердием и неутомимою ревностию» и должность профессора французской словесности, и обязанности церковного старосты, и даже бухгалтера. Столь разносторонняя деятельность, видимо, и не дала ему возможности познакомиться с современной литературой.

На лекциях Никольский больше всего любил распространяться о том, какие из российских государей наиболее старались о насаждении наук и художеств. Он подробно и долго разъяснял «основные правила высшей словесности», говорил о пользе и уничижении добродетели, об уме, гении, вкусе, о трех действиях ораторской речи: «научать, нравиться и трогать». Все это было нестерпимо скучно, и слушатели держали под партами свои собственные книги, весьма несхожие с витиеватыми и благонамеренными рассуждениями профессора.

Круг его излюбленных писателей ограничивался Ломоносовым, Сумароковым и Херасковым. Он с восхищением только их разбирал и обильно цитировал. Никольский так громко декламировал тяжеловесные вирши «Россиады» Хераскова, что у дверей «музея» собирались воспитанники и преподаватели соседних классов, протестуя против нарушения тишины и спокойствия.

Парфений Иванович и сам не был чужд творче-

ства. На одну из лекций он принес толстенную тетрадь и обратился к слушателям с торжественной речью:

— Друзья мои! В беседах наших постоянно обретаю моральную опору. Разрешите же предложить вам плод моих трудов — дидактическую поэму «Ум и Рок». Примите ее благосклонно!

Вслед за тем он развернул тетрадь и стал долго и монотонно читать, изредка отрывая глаза от тетради. Ученики тотчас занялись каждый своим делом, в классе с каждой секундой нарастал шум.

Но упоенный своим собственным творением учитель ничего не замечал. Он читал и читал, читал бы и дольше, если бы не прозвенел спасительный звонок...

Никольский требовал от учеников, чтобы они и сами пробовали перо. И однажды Гоголь принес и предложил вниманию учителя густо исписанный лист. Тот развернул и стал читать. Это были стихи, они профессору явно не нравились. Вот он поморщился, прервал чтение и стал брюзгливо их разбирать:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия
И взоры дев и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

— Слабые стишки! Написано гладко, да смысла нет. Ода не ода, элегия не элегия, а черт знает что! При чем здесь «взоры дев»? Каких дев? Для молодого человека это ни к чему! А что значит «вдохновенные искусства»? Вдохновенными могут быть только сами поэты, а не искусства... Слабо написано. Вот здесь переменить надо. Не «взоры дев», а «бога взор», «свободу» тоже надо заменить на «ученье»: «Ученье, слава и любовь»... Нет, любовь тоже ни к чему. Лучше: «Ученье, слава и церко́вь...»

— Да ведь не «церко́вь», а «це́рковь», Парфений Иванович! Да и стихи-то не мои.

— А чьи же?

— Александра Пушкина сочинение. «Демон» называется. В альманахе «Мнемозина» напечатано. Я нарочно переписал, потому что ничем вам не угодить, а вы вот даже и Пушкина переделали!

— Ну, что ты понимаешь! — вспылил Никольский. — Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше выходит?

Класс дружно расхохотался, а профессор, еще более нахмурившись, начертал в журнале против фамилии Гоголь-Яновский жирную двойку.

Иной характер имели лекции профессора немецкой словесности Зингера. Федор Осипович, вернее Фридрих Иосиф Зингер, учился за границей, много путешествовал и попал в Ригу в качестве секретаря датского посланника. Он остался в России и преподавал немецкий язык в частных домах до самого поступления в Нежинскую гимназию. Маленького роста, почти карлик, он обладал пылким и восторженным духом. Этот миниатюрный поклонник Шиллера на лекциях проповедовал любовь к человечеству, увлекая гимназистов своей преданностью литературе.

Гимназисты восторженно читали и переводили «Дон Карлоса» Шиллера, стихи Гёте, Виланда и даже мудреного, заоблачного Жан-Поля Рихтера. Зингер имел собственную библиотеку и охотно давал из нее книжки гимназистам. В его маленькой квартирке постоянно толклись посетители. На лекциях Зингер нередко отклонялся от изложения вопросов литературы и переходил к политическим разговорам. Объясняя перевод из Канта о высоком и изящном, он тут же говорил ученикам, что мощи и кресты — это глупости и предрассудки. Один из учеников, А. Котляревский, встал с места и заявил профессору, что в России так нельзя говорить о религии. На это Зингер заметил, что он надеется иметь дело с благородными людьми.

Сведения о свободолюбии Зингера и о «выражениях, противных греко-российской церкви», непрерывно сообщались директору.

Особенно любили гимназисты профессора Белоу-

сова, читавшего естественное право. Николай Григорьевич был еще молодым человеком. Он окончил курс философских наук в Киевской духовной академии, а затем изучал право и литературу в Харьковском университете. Орлай назначил его инспектором гимназии. Обширные знания, независимость взглядов, справедливость и доступность завоевали ему уважение и любовь гимназистов. На своих лекциях он высказывал передовые идеи и мысли, выступал с осуждением самодержавного деспотизма, знакомил слушателей со взглядами Руссо, Монтескье и других передовых мыслителей.

Белоусов, Зингер, профессор математики Шапалинский и профессор французской словесности Ландражин составляли живую душу гимназии. Через них проникали в отгороженное от жизни «закрытое» учебное заведение новые передовые идеи и идеалы.

Этих честных передовых людей стремилась опорочить реакционная камарилья. Она изо всех сил старалась подорвать их влияние. Наиболее рьяным и подлым ревнителем благонамеренности и рутины выступал профессор политических наук Билевич.

Этот карьерист и пройдоха родился и обучался в Австрии и перебрался в Россию в поисках денег и чинов. Скромная должность учителя немецкого языка в одной из провинциальных гимназий его не удовлетворяла, и, попав в Нежин, он решил сделать быструю карьеру. Заняв кафедру политических наук, Билевич очень скоро обнаружил свое невежество в преподаваемом им предмете. Но недостаток знаний он возмещал усердным доносительством, подглядыванием и подслушиванием, собирая улики и материалы, которые могли бы послужить к погублению его противников.

Достойным соратником Билевича явился и законоучитель протоиерей Волынский. Во время директорства Орлая, благоволившего к Белоусову, а затем при исполнявшем обязанности директора Шапалинском Билевич и его единомышленники вынуждены были сдерживаться. Но с приходом в 1827 году нового директора, Ясновского, положение в гимназии

круто изменилось. Новый директор, попович по своему происхождению, воспитанник Киевской духовной академии, долгое время служил в канцеляриях, а затем управлял имениями своего благодетеля графа Румянцева. На старости лет он по протекции был назначен директором в Нежин. Ему поручено было навести порядок в гимназии, о которой до начальства доходили тревожные вести.

С его назначением подняла голову и клика Билевича, решив, что пришел ее час, что наступило время расправы с ненавистными им профессорами.

В глубине гимназического сада Гоголь встретил Белоусова. Инспектор пригласил его зайти на квартиру. Простой, со вкусом обставленный кабинет был заставлен полками с книгами по истории, праву, философии, литературе. Николай Григорьевич имел обширную библиотеку и очень ею гордился. Он любил приглашать к себе учеников и беседовать с ними. Этот нескладный, остроносый юноша давно привлекал его внимание своей любовью к литературе и пытливыми вопросами на лекциях.

Гоголь стал рассматривать книги. «Философский словарь» Вольтера, «Общественный договор» Руссо, «Дух законов» Монтескье — первое, что бросилось ему в глаза. Белоусов сел в кресло и спросил:

— Вы, Яновский, по окончании гимназии чем предполагаете заниматься?

— Я думаю о Петербурге, о службе. Я хочу сделать свою жизнь нужной для блага государства, принести хотя малейшую пользу! — несколько высокопарно отвечал Гоголь, поверяя свои давнишние, заветные мысли.

— Но ведь служба бывает различной? Что же именно привлекает вас?

— Я перебрал в уме все должности в государстве, — смутясь, продолжал Гоголь, — и остановился на одном. На юстиции. Я вижу, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть истинно полезен для человечества.

— Но почему же именно? — с интересом спросил Белоусов.

— Неправосудие — величайшее в свете несчастие. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага!

— Вы правы, когда так высоко ставите юстицию! — сказал Белоусов. — Юстиция есть справедливость. Нарушение законов нарушает первоначальные права человека.

— Николай Григорьевич, — продолжал Гоголь, — вы сами на лекциях говорили, что право есть то, чем человек исключительно располагать может, так как оно принадлежит ему с рождения.

— Да, вы верно меня поняли, — с удовольствием сказал Белоусов, — человек имеет право на свое лицо, на свою личную свободу. Он имеет право быть таким, каким природа образовала его душу и тело.

— А вот отец Павел говорил нам, что это противоречит христианской вере. Что человек должен подчиняться воле божьей, а не своим чувствам.

— Отец Павел, — наморщив лоб, с раздражением сказал Белоусов, — невежда. Он ничего в естественном праве не понимает.

— Я уже два года занимаюсь изучением права, — добавил Гоголь, — а сейчас собираюсь познакомиться с отечественными законами.

— Ну, тут вы много не разберете. Наши законы устарели и не считаются с естественным правом человека. Вот прочтите хорошую книгу профессора Куницына «Право естественное», этот профессор был учителем Пушкина.

И Белоусов протянул Гоголю красиво переплетенный в свиную кожу томик. Гоголь поблагодарил и раскланялся. Беседы с Белоусовым всегда волновали его, внушали мысли, которыми он даже не решался делиться с товарищами. Лишь в письме к старому другу Высоцкому, рассказывая о гимназии, он сообщал: «Все возможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции

нашей и профессоров-школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс...»

Гоголь не знал только, что его посещения Белоусова не оставались незамеченными. Усердно подсматривающий за учениками Моисеев каждый раз сообщал об этих встречах директору.

МЕЛЬПОМЕНА

На масленой должен был состояться торжественный вечер, к которому готовились задолго. На вечер пригласили всех почетных лиц города, родителей учеников и их знакомых. Концерт и спектакль, поставленные силами самих учащихся, танцы — такова была обширная и увлекательная программа.

Больше всех воодушевлен ею Гоголь. Он и режиссер спектакля, и актер, и художник-декоратор. В актовом зале построена самая настоящая сцена с занавесом и кулисами. Оркестр из десяти человек по вечерам репетирует музыкальные номера. Декорации расписывают сам Гоголь, Базили и Мокрицкий, в котором уже чувствуется будущий художник.

Ставят пьесу Фонвизина «Недоросль» и сценку из украинской народной жизни, сочиненную самими гимназистами во главе с Гоголем. На театральный гардероб ученики жертвуют кто что может. Гоголь написал домой, прося, чтобы из Васильевки прислали полотна для декораций и сшили два-три костюма. Кукольник пожертвовал пару заржавевших, ломаных пистолетов.

Гоголь взял себе роль Простаковой. Он любит играть стариков и старух и вообще предпочитает комические роли. Базили играет Стародума, миловидный Данилевский — Софью, а Кукольник — Митрофанушку. Репетиции происходят на сцене в зале. Каждый день после занятий артисты запираются здесь и с увлечением готовятся к спектаклю. Не обходится и без происшествий. Базили играет Стародума дряхлым, еле двигающимся стариком. Гоголь говорит ему, что такому старику место на кладбище, а не

в театре: Стародум должен быть поживее и поосновательнее. Базили обижается.

— Тогда играй его сам! Я отказываюсь! — вспыхивает он.

Ссора кажется неминуемой. Но Гоголь превращает все в шутку.

— Ах так! — восклицает он грозно. — Тогда вызываю тебя на дуэль.

Он хватает заржавленные пистолеты, сует один из них Базили и принимает такой грозный и в то же время смешной вид, что Базили не выдерживает и смеется. Все забыто.

Но над спектаклем нависает угроза гораздо серьезнее. Совавший всюду свой нос Билевич нашел и в театральном представлении опасную крамолу. Узнав о приготовлениях к спектаклю, Билевич не преминул составить очередной донос в конференцию, уведомляя, что поелику «таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то дабы мне, как члену конференции гимназии, на которой лежит ответственность смотрения за нравственным воспитанием обучающегося юношества, безвинно не ответствовать за мое о сем молчание перед высшим начальством...». Однако рапорт Билевича не возымел ожидаемого действия. Исполнявший должность директора Шапалинский на его доносе написал, что разрешение «высшего начальства» на устройство спектаклей имеется.

Получив отпор, Билевич не успокоился. Он по нескольку раз на день проходил мимо зала, где шли репетиции, подглядывал и подслушивал в коридоре. Однажды, приметив Гоголя, который старался укрыться от его внимания и спрятался за углом коридора, Билевич быстро направился к нему. Гоголь поспешно бросился к дверям театральной залы и, позвав кого-то изнутри, сказал «свой» и проскользнул, захлопнув за собою двери. Билевич пытался пройти за ним, но дверь оказалась закрытой. Несмотря на громогласные требования, дверь не открывалась. Разгневанный профессор призвал на помощь

служителя и вместе с ним вновь стал стучаться и громко кричать: «Отворите!» Только тогда дверь отперли. В зале оказался Гоголь, а за кулисами театра еще трое воспитанников.

Билевич грубо спросил:

— Зачем вы изволили от меня прятаться и не отворяли дверей? Вы, наверное, пьяны!

Обиженный наглым обвинением Билевича, Гоголь резко ответил, что присутствующие здесь имеют разрешение проводить репетиции и в это время зал для посторонних закрыт. Непочтительный ответ еще больше обозлил достойного профессора, и он накричал на дерзкого мальчишку, а возвратившись к себе, написал новое донесение. В своем «рапорте» Билевич сообщал: «Яновский вместо должного вины своей сознания начал с необыкновенною дерзостью отвечать мне свои разные суждения и при этом более, чем позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, вместо наставлений ему, до сего деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня. Но он, как бы не слыша сего, с упорством до дверей и за двери преследуя меня, с необыкновенною дерзостью кричал против меня и сим возродил во мне сомнение: не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком? Почему я, обратясь к экзекутору, сказал ему: да не пьян ли он?»

Клевета Билевича не имела успеха. Вызванный директором, доктор Фиблиг засвидетельствовал, что пансионер Яновский был «не только трезв, но и без малейшего признака хмельных напитков». Заступничество Белоусова и Шапалинского отвело карающий меч от головы Гоголя, но Билевич затаил против него злобу.

Несмотря на эти помехи, приготовления к спектаклю шли полным ходом. Из-за закрытых дверей слышались смех, громкие возгласы. Гимназисты проносились по коридору с ведрами клея и красок, шились костюмы, царила оживленная праздничная атмосфера.

Наконец настал и долгожданный день. Вывешена

огромная афиша с перечислением всех представляемых номеров и их исполнителей. Залы украшены картинами, зажжено множество ламп и свечей.

В актовом зале уже рассаживалась публика. В первых рядах сидели военные, даже один генерал, чиновники, преподаватели гимназии. Подальше разместились более скромные зрители, а сзади — гимназисты. Занавес раздвинулся, и первое отделение концерта началось исполнением торжественного гимна, сочиненного пансионером Кукольником на музыку учителя гимназии Севрюгина. После гимна воспитанник Пузыревский танцевал мазурку с тамбурином. Матлот исполнили тот же Пузыревский с Даниловским, потом была сыграна увертюра из Моцарта. Концерт завершился хором с музыкою в исполнении пансионеров и вольноприходящих учеников.

После концерта младшие воспитанники обошли почетнейших гостей и преподнесли им букеты цветов. Зрители с нетерпением ждали главной части вечера — спектакля. Наконец снова раздвинулся занавес и на сцене началось представление комедии Фонвизина.

Гоголь играл госпожу Простакову необычайно выразительно и естественно. В его исполнении перед зрителями возникла невежественная и жестокая самодурка, которая тиранит крепостных и в то же время зоологически привязана к Митрофанушке. Когда Простакова с сокрушенным видом жаловалась: «Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладаю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка!» — то весь зал дружно расхохотался и зааплодировал. Под стать Гоголю был худой и длинный Кукольник, хорошо сыгравший великовозрастного избалованного невежду Митрофанушку.

После «Недоросля» ставили небольшую малороссийскую сценку, в которой Гоголь также отличился. На сцене — простая деревенская хата, вдали несколько деревьев и река, возле хаты скамейка. Появляется древний старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на пал-

ку, он еле передвигается, доходит, кряхтя, до скамьи и садится. Сидит, трясется, почесывается, кашляет и, наконец, заливается удушливым старческим кашлем, который окончился неожиданным звуком. Публика разразилась неудержимым смехом. А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены.

Как только Гоголь вышел за кулисы, к нему бросился инспектор Белоусов:

— Как же вы это, Яновский? Что же вы это сделали? — смеясь и отчаиваясь, напустился он на артиста.

— А как же вы думали сыграть натурально роль восьмидесятилетнего старика? Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли и винты уже не действуют как следует!

Белоусов расхохотался, и Гоголь остался безнаказанным.

Спектакли продолжались по нескольку дней с неизменным успехом. Масленица и пасхальные каникулы были лучшим временем для Гоголя во все время его пребывания в гимназии. Театр преображал его жизнь, выводил из того состояния отчужденности, задумчивости, болезненной мнительности, которые так остро проявлялись в обычное время.

МАГЕРКИ

Девять лет провел Гоголь в Нежинской гимназии высших наук. Срок немалый, в особенности если учесть, что именно в эти годы формировался его характер, его взгляды и литературные склонности.

Обстановка закрытого учебного заведения способствовала отгороженности гимназистов от жизни, проходившей за стенами училища. Однако полностью изолировать учащихся было невозможно. Гимназисты на каникулы возвращались в свои семьи, «вольноприходящие» ученики помещались на частных квартирах, нередко и пансионеры ходили из гимназии в город.

По церковным праздникам гимназисты отправлялись не в гимназическую церковь, а в городской собор. Там при большом стечении народа Гоголь потихоньку пробирался поближе к входу и стоял вместе с деревенскими дядьками и бабами. Видя перед собой какого-нибудь дядька в перепачканной пыльной свитке, он доставал из кармана несколько медяков и спрашивал:

— А что, гро́ши на свечку маешь?

Дядько естественно не имел «грошей».

— На, поди поставь свечку, кому пожелаешь. Да сам поставь, это лучше, чем если кто за тебя поставит.

Дядько покупал свечку и шел ставить ее к облюбованному им святому, продираясь через пышно разряженную толпу. Гоголю доставляло удовольствие видеть, как он своей пыльной свиткой задевал парадные мундиры чиновников и блестящие платья дам, стоявших перед алтарем. Чистенький, подтянутый в своем новом мундирчике Романович не выдерживал и шипел сквозь зубы: «Дурак!»

— Ну, если про тебя скажешь — умный, то соврешь! — насмешливо отвечал Гоголь.

Особенно ненавистен был Гоголю приятель Романовича Риттер, из остзейских немцев. Высокомерного и тупого Риттера он наделил множеством прозвищ, так за ним и оставшихся: Барончик, Фон-Фонтик, Купидончик. Барончик был не только надменен и спесив, но мнителен и глуп. Зная его мнительность, Гоголь не удержался и однажды зло подшутил над ним.

— Знаешь, Фон-Фонтик, — сказал он ему как бы невзначай, — давно я наблюдаю за тобой и заметил, что у тебя не человечьи, а бычьи глаза... Не хотел только говорить тебе, а теперь вижу — точно, бычьи глаза! Вот сам посмотри в зеркало.

Риттер сначала не обратил на это внимания. Лег в постель, но не смог заснуть. Среди ночи он встает, смотрится в зеркало, будит своего слугу, которого Гоголь заранее подговорил.

— Семен, как по-твоему, у меня бычьи глаза? — спрашивает встревоженно Риттер.

— И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза, — отвечает Семен.

Риттер окончательно упал духом и к утру прибежал к директору Орлаю со слезами:

— Ваше превосходительство! У меня бычачьи глаза!

Орлай флегматически понюхал табак и, видя, что Риттер действительно рехнулся на бычьих глазах, распорядился отправить его в больницу. Лишь через несколько дней мнительный Барончик пришел в себя и вернулся в класс.

Гоголь поддерживал дружеские отношения с гимназическим сторожем, по прозванию Мыгалыч. Вечером, сговорившись с Мыгалычем, он исчезал из гимназии и торопливо направлялся в Магерки.

Чтобы сократить путь, Гоголь перелез через чужой плетень. Из дому вышла молодица с грудным ребенком на руках.

— Эй, школяр! Что тут забыл? — закричала она. — Убирайся, пока не досталось по шеям.

— Вот злюка! — отмахнулся Гоголь и смело зашагал дальше.

— Что, оглох? Вон, говорю, курохват, а не то позову чоловика, он тебе ноги перебьет! Чего тебе здесь нужно?

— А мне сказали, что здесь живет молодица, у которой дытына похожа на порося!

— Как! Моя дытына похожа на порося? — вскипела молодица. — Остапе, Остапе, бей его заступом! Бей шибеныка! *

На крик жены вышел и Остап.

— Бессовестная, бога ты не боишься! — сказал Гоголь, бесстрашно подойдя к молодице. — Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твоя дытына похожа на поросенка?

— Та це ж ты казав!

— Ну, полно, я пошутил, а ты уж поверила. Не

---

* Висельника.

к лицу такой красивой молодице сердиться! Славный у тебя хлопчик! Знатный из него выйдет писарчук. Когда вырастет, громада изберет его в головы!

— Ни, нэ выберут. Мы бедные, а в головы выбирают только богатых.

— Ну, тогда его в солдаты возьмут. Он выслужится в офицеры, а там его и городничим поставят в Ромны!

— Полно уж говорить неподобное! — сказала молодица, радостно засмеявшись. — Можно ли человеку дожить до такого счастья?

Тут Гоголь начал описывать ей ее будущее привольное житье «городничихи» в Ромнах: как квартальный будет перед ней расталкивать народ, когда она войдет в церковь. Купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и величая ее государыней-матушкой. Сын ее женится на богатой панночке!

Поговорив с нею, он вежливо попрощался и пошел через сад.

— Простите, паночку, я и не знала, что вы такой добрый. Остапе! — позвала она мужа. — Послушай, что паныч говорил про нашего Аверко!

А Гоголь уже был далеко, спеша в Магерки на свадьбу. Он любил бывать на крестьянских свадьбах, крестинах, пропадал там все свободное время.

Когда Гоголь вошел в горницу, там уже шла церемония сговора. Гоголь тихонько сел в сторонке на лавку.

Молодых в горнице не было. Сваты стояли перед отцом невесты, и старший из них обратился к нему с речью:

— Що ж, сват, мы к тебе пришли не сидеть, а сватать дивчину.

— Я в этом году не намерен ее отдавать. У меня нет ничего, щоб свадьбу гулять! — отнекивался отец невесты.

— Что ж, сват, тебе ее до веку не держать, а за нашего хлопца можно отдать!

— Э, добрые люди, вам кажется, можно, а мне — нельзя. Позовите дочку, что она скажет!

Сват вышел в соседнюю горницу и привел раскрасневшуюся невесту.

— Я парубку гоньбы не даю, а замуж не пойду, — кокетливо сказала она, как и полагалось по обряду, повернувшись лицом к печке.

— На що ж ты, сучья дочка, сватов к нам навела? — с напускной суровостью спросил отец.

— Та хиба ж я им наказывала или за ними посылала, чтоб меня сватали?

Сваты стали уговаривать невесту, а она для виду сопротивлялась. Позвали жениха. Отец невесты посадил его за стол.

— Ну, колы ты наш зять, прошу систы. А ты, дочка, колы его любишь, то шукай рушныки! *

Молодых благословили. Сваты повязались через плечо рушниками, советуя молодой:

— Возьми ж, батькова дочка, хустку** да пощупай у молодого ребра. Ты за него идешь, а у него, может, и ребер не мае.

Невеста взяла хустку и засунула ее жениху за пояс. Сваты и жених положили на тарелки по грошу и поставили на стол магарыч — горилку. Хозяйка принесла закуску, и начался пир. Сестра молодой пришивала к шапке жениха ленту, а дружки запели:

Из Киева швачка, ***
Из Киева швачка!
Да кияночка,
Из города городяночка,
А из миста да мещаночка.
Вона ж в торгу була,
Вона вторговала
За три копы голку,
За чотыри шолку!

Тут все присутствующие в горнице подхватили:

Дай горилки, свате, горилки!
Да було ж не браты в нас дивки,
А теперь вы нас просите,

---

* Ищи полотенца.
** Платок.
*** Швея.

Цебром * горилку носите.
Ой хоть не цебром, так видром,
Взяли нашу Марусеньку вы добром!

Невеста пошла по кругу просить на каравай. Веселье разгоралось все более буйно. Дивчины в белых рубашках, шитых по шву красным шелком, в сафьянных сапогах на железных подковах плавно прошлись по горнице. Парубки в высоких казацких шапках рассыпались перед ними вприсядку в буйном плясе — казачке.

Гоголь веселился от души со всеми. Подпевал вполголоса, отбивал в ладоши такт танца. Однако пора было и возвращаться, иначе Зельднер и Моисеев снова запишут его в журнал, а это грозит единицей по поведению и карцером. Он незаметно вышел и почти бегом вернулся в гимназию.

«МЕТЕОР ЛИТЕРАТУРЫ»

Вокруг Гоголя составилась компания друзей: Саша Данилевский, Прокопович и Базили. Прокоповича, неуклюжего увальня, мешковатого и флегматичного за его всегда красную, круглую физиономию, прозвали Красненьким. Он отличался ровным, спокойным характером и очень любил переписывать стихи и прозаические статейки своим крупным, круглым почерком. Прокопович и сам сочинял стихи, в которых горько жаловался на преждевременную старость души.

Третий член их содружества — Константин Базили — был сыном греческого эмигранта. Умненький, тоненький мальчик с большими печальными глазами, он старательно учился, хорошо знал языки и историю своей родины. Он рассказывал друзьям о своем бегстве из Константинополя во время христианских погромов, когда турецкие солдаты врывались в греческие дома и убивали поголовно всех: стариков, женщин, детей. Одиннадцатилетний мальчик и его млад-

* Бадьей.

ший брат чувствовали себя защитниками семьи — отец вынужден был бежать в Россию с первых же дней волнений. Втайне от матери они смастерили себе пики, так как все оружие было отобрано турками, и днем и ночью были готовы к защите от нападения. Наконец им удалось тайком сесть на корабль, спрятаться в трюме, нагруженном табаком, и с риском для жизни перебраться к отцу в Россию.

Гоголь и его друзья читали «Полярную звезду», с увлечением переписывали стихи Пушкина и Рылеева. Когда друзья оставались одни, они прикрывали двери в «музей» и, склонившись над тетрадками, тихо читали стихи и спорили. Особенно любили они пушкинскую «Оду на свободу» («Вольность») и смелые стихи Рылеева.

Гимназисты в складчину устроили свою библиотечку. Книги и журналы они выписывали из Москвы и Петербурга: «Московский телеграф», «Сын отечества», новинки, выходившие в столицах. Гоголя выбрали библиотекарем, и он даже соорудил особые колпачки для пальцев и наделил ими читателей, чтобы книги дольше сохранялись. В «библиотеке» находились рукописные копии «Горя от ума» Грибоедова, тогда еще не изданного, «Исповеди Наливайки», «Войнаровского» Рылеева, «Братьев-разбойников» Пушкина.

Особенную нежность испытывал Гоголь к книгам маленького формата, он даже коллекционировал альманахи и карманные издания. Очень гордился выписанной им из Петербурга «Математической энциклопедией» Перевощикова, изданной в шестнадцатую долю листа. В письмах к отцу он постоянно просит о присылке книг — новых, только что появившихся, или из библиотеки Трощинского. «Дражайший папинька! — писал он отцу 1 октября 1824 года. — ...Весьма рад, находя вас здоровыми; за деньги вас покорнейше благодарю. Вы писали мне про стихи, которые я точно забыл: две тетради со стихами и одна «Эдип» *, которые, сделайте милость, пришлите мне скорее. Также вы писали про одну новую Балладу

* Трагедия В. Озерова, которую ставили в гимназии.

и про Пушкина поэму «Онегина»*; то прошу вас, нельзя ли мне и их прислать. Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов, то и те пришлите».

«Евгения Онегина» читали в дружеском кружке — Данилевский, Прокопович, Базили. Поэма заинтересовала. Она так не походила на все, что до сих пор приходилось гимназистам читать! Они долго не могли привыкнуть к простоте стиха, к рассказу, чуждому каких-либо риторических украшений. Им больше нравились «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», в которых так увлекательно говорилось о пылающих страстях и героических чувствах.

Волнуясь, они декламировали пушкинскую «Вольность». В тихом Нежине ее суровые стихи звучали как набат, заставляли учащенно биться сердца. Убедившись, что двери в спальную плотно притворены, гимназисты с упоением произносили заключительные слова:

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Как-то вечером друзья пересматривали свой потаенный фонд. Данилевский достал тетрадочку со стихами Рылеева. Вполголоса прочитал скорбные строки «Исповеди Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!..

Мальчики сидели молча. Гоголь прервал молчание:

— Это стихи благородного человека. Каждый из нас должен отдать свои силы для труда важного и благородного, для счастья граждан, для пользы отечества...

---

* Первая глава «Евгения Онегина» вышла из печати в феврале 1825 года. Но сообщение о романе появилось в начале 1824 года в «Литературных листках».

— Но герой Рылеева погибает, не исполнив своих стремлений. Он хотел изменить установленный порядок вещей! — робко заметил Прокопович.

Саша Данилевский с таинственным видом сообщил:

— Вы слышали, есть люди, которые готовят перемены вроде французской революции? Мне дома брат Платона Лукашевича рассказывал под большим секретом.

— Я слыхал, что вскоре все полетит кверху дном! — признался Прокопович.

— Ты, Красненький, всегда любишь преувеличить, — недоверчиво произнес Гоголь. — Я тоже кое-что слыхал в Кибинцах. Там Алеша Капнист и Муравьев-Апостол намекали на какие-то перемены. Но благодатная свобода еще не скоро придет.

— Нет, что-то затевается, — не согласился Данилевский. — Я вот даже песню такую слышал. — И он вполголоса запел на мотив гимна:

О боже, коль ты еси,
Всех царей с грязью меси.
Мишу, Машу, Колю и Сашу
На кол посади!

— Да ведь это о царском семействе! — с ужасом воскликнул Прокопович. Он подбежал к дверям и резко распахнул их. В коридоре маячила фигура Моисеева.

Друзья прекратили пение.

Печальная весть о трагических событиях, происшедших 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, очень скоро дошла и до Нежина. Правда, об этом говорили шепотом, тайно. Многое еще было неизвестно, но слухи о горестной судьбе участников заговора обескураживали. Законоучитель Павел Волынский отслужил благодарственный молебен во здравие державного венценосца, на котором присутствовали видные чиновники города и гимназическое начальство. Инспектор Моисеев важно стоял впереди учеников. Его щегольские лакированные сапожки вызывающе блестели.

Наступили тревожные и печальные дни. В гимназию приходили смутные сведения о новых арестах и высылках участников тайного общества. Гимназисты притихли. До Гоголя дошло известие, что арестован Алеша Капнист за участие в тайном обществе. Пришлось попрятать «Полярную звезду», стихи Рылеева и Пушкина. Торжествующий Моисеев уже не стеснялся и открыто совал свой нос повсюду, заглядывал в ящики, копался в сундуках и корзинах гимназистов.

Однако, когда прошел первоначальный испуг и восстановился обычный порядок, гимназисты вновь стали собираться по вечерам кучками в «музеях», снова возникали горячие споры, оживился интерес к литературе.

Всех обуяла страсть к сочинительству. Появилось множество рукописных журналов: «Метеор литературы», «Звезда», «Северная заря», «Литературное эхо» и даже альманах «Литературный промежуток, составленный в один день 1/2 Николаем Прокоповичем». Гоголь совместно с Базили «издавал» журнал «Метеор литературы». Кукольник, Прокопович, Данилевский, Любич-Романович, Редкин, в свою очередь, являлись редакторами, авторами и переписчиками конкурирующих органов.

Эта бурная издательская деятельность происходила скрытно от глаз начальства. Вечерами, после ужина и обхода «музеев» и спален инспектором пансиона, учащиеся зажигали огарки и коптилки, в одних рубашках усаживались за столы, и начиналась работа. Журналы аккуратно переписывались, украшались виньетками, читались и обсуждались. Около часу ночи в коридоре снова слышался скрип лакированных сапог инспектора, важно шествовавшего со свечою в руке. По знаку сторожевого махального гимназисты бросались по кроватям и накрывались одеялами, пока Моисеев не исчезал со своим светочем. Тогда раздавался громкий шепот: «Вставайте все!» — и страстные литературные споры вновь оживали.

Гоголь старался изо всех сил, чтобы придать своему изданию внешность печатной книжки. Он тщательно переписывал весь материал, разрисовывал



В. А. Гоголь, отец писателя. Портрет.



М. И. Гоголь, мать писателя. Портрет.



Домик в Сорочинцах, где родился Н. В. Гоголь. Фото 1902 года.



Нежин. Литография 30-х годов.



Гоголь-гимназист. 1827 год
Гравюра.

обложку, на которой красовалось название журнала, каждую страницу заключал в рамку. В журнале было несколько отделов — поэзии, прозы, науки, которые в основном заполнялись самим Гоголем.

Сколько было волнений и радости, когда вышел первый номер «Метеора литературы» за 1826 год, в зелененькой обложке, на 42 страницах! На шмуцтитуле было повторено заглавие журнала: «Метеор литературы» — и приписано: «Часть первая». Затем следовал эпиграф из басни Крылова «Орел и Пчела»:

Счастлив, кто на чреде трудится знаменитой:
Ему и то уж силы придает,
Что подвигов его свидетель целый свет.
Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживлен одной:
Что к пользе общей он трудится.

Этот эпиграф удостоверял скромность издателей и авторов журнала, являлся его программой. Внизу страницы было выведено печатными буквами: «Нежин. 1826». Все произведения, помещенные в «Метеоре», не были подписаны, так что теперь трудно определить, что именно принадлежало самому издателю. Проза представлена была романтической повестью «Ожесточенный» и переводом с немецкого очень трогательного рассказа «Завещание».

Особенно обширен оказался раздел поэзии: «Песнь Никатомы» (отрывок из поэмы Оссиана) и «Берратон», «Битва при Калке», «Альма» — стихотворение, посвященное вождю угров, проходивших через Днепр, «Подражание Горацию», лирическое обращение «К***», говорившее о прекрасном утре, и две эпиграммы.

Эпиграмма «Насмешнику не кстати» принадлежала Гоголю. Он ее написал, имея в виду приятеля — Пащенко, который в своих рассказах весьма далеко отступал от истины:

Наш Вралькин в мире сем редчайший человек!
Подобного ему не сыщешь в целый век.
Как станет говорить — заслушаться всем надо,

Как станет — так и рай вдруг сделает из ада.
Был в Риме, в Лондоне... да где он не бывал,
Весь мир на языке искусно облетал...

Пащенко обиделся и в другом журнале ответил Гоголю столь же острой и язвительной эпиграммой.

Гоголь считал себя прежде всего поэтом и писал в гимназии много стихов. «Битва при Калке» являлась отрывком из его эпической поэмы «Россия под игом татар», над которой он долго работал, вдохновленный «Россиадой» Хераскова. Однако Гоголь пробовал свои силы не только в эпическом, но и лирическом жанре. Он написал чувствительную балладу «Две рыбки», в которой под двумя рыбками подразумевал себя и своего умершего брата.

Гоголь горел желанием прочесть друзьям повесть «Братья Твердиславичи», готовившуюся им для очередного выпуска «Метеора». Это была история о древних славянах, здесь бушевали необычные страсти и прославлялись возвышенные чувства. Герои повести говорили языком шиллеровских драм.

Друзья внимательно выслушали эту огнедышащую повесть. Автор ждал заслуженных похвал. Но молчание нарушил обычно застенчивый Прокопович, отозвавшись о «Братьях Твердиславичах» довольно прохладно.

— Ты лучше упражняйся в стихах, — советовал он другу. — А прозой не пиши. Беллетрист из тебя не вытанцуется, сразу видно.

Уж очень эти чувствительные повести не походили на обычную манеру Гоголя, умевшего рассказывать смешные истории, и притом представлять их в лицах. Слушая такие рассказы, товарищи буквально ложились на пол от хохота.

Гоголь и сам вышучивал любителей высокопарного слога и фальшивой чувствительности. Когда начитавшийся Карамзина и Жуковского Нестор Кукольник стал засыпать товарищей множеством своих чувствительно-лирических произведений, Гоголь переписал их в особую тетрадку и нарисовал обложку с названием «Парнасский навоз», вызвав этим всеобщее веселье и кровную обиду Возвышенного.

Сатирическое дарование Гоголя, его острый юмор, его житейская наблюдательность сказались уже в гимназические годы. В Нежине он начал писать сатиру в прозе «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», текст которой до нас не дошел. В комических чертах описывал он нежинскую жизнь и местную греческую колонию. Греки еще со времен Богдана Хмельницкого играли в Нежине заметную роль. В их руках была не только значительная часть городской торговли. Они торговали табаком, винами, бархатом с Турцией, Венецией, Смирной. Многие из них ходили в своих национальных костюмах и говорили по-гречески. Греческая колония имела особое городское самоуправление — магистрат. После греческого восстания 1821 года в Нежин переселились и семьи греческих фанариотов, бежавшие от турецких погромов, как Базили. Через Константина Базили Гоголь хорошо знал дела колонии, бесконечные ссоры и споры греков при выборах своего магистрата. Сатира Гоголя едко высмеивала тусклую неподвижность всего нежинского быта. Обывательский мирок захолустного Нежина мало чем отличался от тупой и пошлой жизни гоголевского Миргорода, которую он опишет впоследствии в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Мертвенная рутина провинциального быта все более и более тяготила юношу, воодушевленного стремлением принести пользу человечеству, с восторгом читавшего Шиллера и Жуковского. В письме от 26 июня 1827 года к Герасиму Высоцкому, который к этому времени обосновался в Петербурге, он жаловался: «Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине, и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются в глубь его, где такое же мертвое безмолвие».

Эта внутренняя отчужденность, замкнутость в своем духовном мире впоследствии стали источником

одиночества писателя, трагической ущербности его последующей жизни. Но сейчас он мечтает о столице, о том, чтобы выбраться из ставшего ему чуждым Нежина. «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, — продолжал Гоголь свое письмо, — в той веселой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире».

ДЕЛО О ВОЛЬНОДУМСТВЕ

В начале мая 1827 года Билевич затеял очередную кляузу и написал в конференцию — ученый совет гимназии — обширный и обстоятельный донос о замеченных им непорядках. Донос состоял из множества пунктов, в которых подробнейшим образом излагались безнравственные поступки учащихся и проявления «вольнодумства» в гимназии.

Объединяя свои собственные «наблюдения» и дошедшие до него слухи, блюститель благочиния и законопослушания сообщал, что «некоторые ученики из пансионеров проигрывали в городе в карты шинели или, проигравшись в карты и не имея чем заплатить, постыдно уходили». Он и сам был свидетелем их неблагонравия: «Идучи мимо гимназии в гимназический сад, — жаловался Билевич, — где многие посторонние лица находились, к моему неудовольствию, слышал неблагопристойные в музеях крик и пение не приличных им песен». Во всем этом он винил инспектора Белоусова, якобы потакающего ученикам и поощряющего их к непослушанию.

Но главное обвинение заключалось в политической неблагонадежности как учащихся, так и ряда преподавателей. «Равномерно необходимою обязанностью для себя поставляю, — лицемерно сообщал доносчик, — как старший профессор юридических

наук, сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподать здесь по системе г-на Демартини, он, г-н младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам». Здесь уже прямо наносился жестокий удар по Белоусову, которому Билевич смертельно завидовал и которого ненавидел. Донос был подписан полным титулом — «надворный советник Михайла Васильев Билевич» — и датирован: «Мая 7-го дня 1827 года».

Донос Билевича возымел свое действие. На основании его возникло «Дело о вольнодумстве», которое дошло до попечителя Харьковского учебного округа, а затем и до министерства просвещения и 3-й его императорского величества канцелярии. Вновь назначенному директору гимназии Ясновскому дано было указание расследовать положение на месте, что он и стал выполнять с должным усердием и пристрастием.

С прибытием Ясновского в Нежин в октябре 1827 года следственная машина быстро завертелась. Искатель чинов и карьеры, Ясновский развил самую активную деятельность, чтобы выявить крамолу и обличить в неблагонадежности передовых профессоров, в первую очередь особенно ненавистных реакционерам Белоусова и Шапалинского. Большой опыт канцелярских интриг и кляуз теперь ему весьма пригодился. Не гнушаясь доносами, запугиваниями, подтасовкой фактов, он с помощью профессора Билевича и законоучителя Волынского энергично принялся за ведение следствия. «Дело о вольнодумстве» разрасталось все шире и шире, вбирая в себя десятки допросов, доносов, протоколов, резолюций. Они подшивались в толстые папки и заполняли длинные полки канцелярских шкафов.

От профессора Белоусова затребованы были объяснения, а от учеников — тетради с записями лекций по естественному праву. Представленные материалы не удовлетворили дирекцию. Клеветник Билевич

заявил, что Белоусов отбирал у учеников тетради и вносил в них исправления, чтобы избежать обвинения в распространении вредных идей. Билевич раздобыл якобы подлинные записи лекций Белоусова и в очередном донесении сообщил, что они «преисполнены таких мнений и положений, которые неопытное юношество действительно могут ввести в заблуждение». Эти записи конференцией были препровождены на отзыв законоучителю Волынскому, который, в свою очередь, усмотрел в них множество опасных и безбожных суждений.

— Подумать только, — возмущался раздраженный батюшка, — этот вольтерьянец утверждает богопротивные мысли! Говорит, что человек имеет право быть таким, каким образовала его природа! А про господа бога забыл? Даже не упоминает, что человек сотворен господом по своему подобию!

Директор Ясновский предпринял поголовный допрос учащихся. Большинство гимназистов дало благоприятные для Белоусова сведения; они утверждали, что в свои записи по естественному праву включали собственные заметки и дополнения из разных прочитанных ими книг.

В ноябре 1827 года на конференцию был вызван и ученик девятого класса Гоголь-Яновский. Входя в актовый зал, он увидел за столом, покрытым красным бархатом, торжественно восседавшего директора в мундире и при всех орденах. Рядом с ним расположился краснорожий отец Павел, сияя большим нагрудным крестом. Тут же находился и Билевич, который облокотился на край стола и, нахмурившись, вполголоса сообщал что-то директору.

— Как нам стало известно, — важным, бесстрастным тоном обратился к Гоголю Ясновский, — вам принадлежит эта тетрадь по истории естественного права. Ученик Кукольник показал, что его тетрадь списана с вашей по приказанию профессора Белоусова.

Гоголь разгадал замысел Ясновского. Тому хотелось, чтобы он признал тождественность своих запи-

сей с лекциями Белоусова. Задыхаясь от волнения, Гоголь твердо заявил:

— Да, это моя тетрадь, которую я отдавал в пользование Кукольнику. Однако объяснение о различии права и этики Николай Григорьевич делал по книге Демартини.

Ведь Белоусова обвиняли как раз в том, что он читал не по утвержденному начальством пособию, а высказывал собственные суждения. Показание Гоголя обеляло крамольного профессора. Поэтому так неприязненно взглянул на него Ясновский, перекосился Билевич, еще ниже склонившись к столу. Гоголя заставили расписаться в данном им показании и молча отпустили из залы.

Иначе повел себя Нестор Кукольник. Он был любимцем Белоусова и пользовался его доверенностью. Вызванный на допрос в конференцию, Кукольник первоначально показал, что опасные мысли, содержавшиеся в его записях курса естественного права, заимствованы из разных авторов: Вольтера, Руссо, Монтескье. Но при вторичном допросе он изменил свои показания, заявив, что они были вынужденными, даны из боязни преследований со стороны Белоусова. Со слезами на глазах он каялся в своих заблуждениях и признавался, что его «развратили некоторые люди». В своем трусливом малодушии Кукольник оговорил не только Белоусова, но и Зингера, признавшись, что тот научил его дать ложные показания.

Угрозы и нажим начальства вынудили и других учеников изменить свои показания. Круг улик разрастался. Воспитанник Ефим Филиппченко сообщил, что он слышал от ученика Александра Котляревского «о некоторых непристойных словах, говоренных в классе профессором Белоусовым». При новом допросе Филиппченко привел эти слова Белоусова: «Если государь дурак и подлец, то можно его изгнать и убить».

Братья Котляревские подтвердили это показание.

В ходе следствия раскрывались все новые факты «вольнодумства» уже не только Белоусова, но и Ша-

палинского, Зингера, Ландражина. Запуганные гимназисты показывали, что профессор Зингер на лекциях читал им «вредные книги» и «наклонял своими разговорами к вольнодумству». Ландражин обвинялся в том, что он давал ученикам читать Вольтера, Руссо и другие запрещенные книги и даже как-то распевал с учениками «Марсельезу». Шапалинский изобличался в покровительстве профессорам, распространявшим «развратные» идеи. Припомнили ему и то, как на экзаменах по всеобщей истории он усомнился, что христианские мученики оставались невредимыми среди пламени костров, на которых их сжигали.

Реакция торжествовала победу. Ясновский посылал кипы протоколов допросов в столицу министру просвещения. Билевич и законоучитель Павел Волынский ходили по гимназии с видом победителей, торжествующе поглядывая на запуганных и оробевших гимназистов. Прекратились школьные спектакли, прервался выход гимназических журналов. Ученики сидели на лекциях нелюбимых профессоров тихо и сосредоточенно, в классах и спальнях говорили только шепотом, оглядываясь, как бы их не услыхал кто-либо из начальства или его соглядатаев.

Белоусова и Шапалинского отстранили от чтения лекций, и они являлись в гимназию лишь для дачи показаний. В городе носились всевозможные слухи о происходивших событиях. Жители опасливо смотрели на каждого гимназиста и боялись вступать с ним в разговоры.

Встретив на улице одного из знакомых чиновников, Гоголь заговорил с ним, но чиновник, боязливо оглядываясь, отвел его в дальний переулок и тихо сообщил:

— Худые слухи о вас ходят по городу. Говорят, что скоро Белоусов со своими учениками поедет куда-куда в кибитке.

— Почему в кибитке? — удивился Гоголь.

— Потому что не по своей воле. Он ведь вредные слова говорил о государе!

Гоголю так и не удалось успокоить этого перепуганного чинушу. Тот остался при своем убеждении.

И оказался прав. Вскоре после отъезда Гоголя, в феврале 1830 года, из Петербурга в Нежин прибыл важный чиновник — член главного правления училищ, действительный статский советник Адеркас. Ознакомившись с «делом о вольнодумстве» еще в Петербурге, он снова занялся расследованием, допросил преподавателей и учащихся и, возвратясь в столицу, представил в министерство просвещения доклад. Вскоре последовало и решение. Император Николай I самолично повелеть соизволил: профессоров Нежинской гимназии Шапалинского, Белоусова, Зингера и Ландражина за «вредное на юношество влияние» отрешить от должности и запретить им служить по учебному ведомству. Кроме того, русских подданных выслать по месту их рождения под надзор полиции, а иностранцев — за границу. Так печально закончилась борьба нового со старым, благородных, лучших людей гимназии с карьеристами и подлецами, которые восторжествовали.

С самого начала этой печальной истории Гоголь болезненно переживал грязные происки Билевича и его приспешников, травлю ими Белоусова, которого он глубоко уважал и любил. Вести об интриге, плетущейся вокруг любимого профессора, быстро доходили до гимназистов, и Гоголь узнавал все новые и новые подробности подлых хитросплетений, жертвой которых стал Белоусов. Он не мог прямо выразить свое негодование, ведь и сам он был на подозрении как сторонник инспектора и малейшая откровенность могла кончиться печально! Эти тягостные настроения, свое отвращение к злобным и низким клеветникам Гоголь поведал в письме Высоцкому: «Я совершенно весь истомлен, чуть движусь, — писал ему Гоголь 26 июня 1827 года, накануне отъезда на каникулы. — Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших су-

ществователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники наши...» «Существователи» одолевали. Почувствовав свою силу, они повели наступление против того, что угрожало их благополучию и охраняемым ими устоям.

«ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН»

Следствие по «делу о вольнодумстве», напряженная атмосфера, царившая в гимназии за последние полтора года пребывания в ней Гоголя, сказались на нем крайне неблагоприятно. Он еще глубже ушел в себя. Его друг Высоцкий устроился в Петербурге и хотя и не завоевал там того положения, о котором они оба мечтали в Нежине, но звал его за собой, описывая ему столичную жизнь в самых радужных красках. Гоголь жил этой мечтой. Теперь она казалась уже более достижимой, чем когда-либо. Он даже просил своего друга заказать для него у самого модного петербургского портного Руча щегольской фрак!

Но в гимназии было сумрачно, неуютно. Белоусов и Зингер ходили подавленные, растерянные. Зато хорьковая мордочка Билевича сияла улыбкою, а отец Павел налился кровью еще основательнее, так что фиолетовая ряса почти сливалась с его лоснящейся физиономией.

Хорошо хоть, что вернулся в гимназию Саша Данилевский, уволенный было за пение «возмутительных» песен. С ним и тихим Прокоповичем можно было потолковать о литературе, почитать стихи. Грустное настроение Гоголя требовало выхода, и он сочинял печальные элегии и даже, хотя и под секретом, работал над большой романтической поэмой.

Литература стала уже его страстью, его призванием. Правда, Гоголь еще мечтает о высоком служении человечеству на поприще службы, юстиции, но

страсть к сочинительству все настойчивее захватывает его.

Он уже приобрел в гимназии известность как поэт. В кругу друзей он читает меланхолические стихи, которые встречены были ими восторженно. В элегии «Новоселье», посвященной Саше Данилевскому, разочарованный поэт жаловался на то, что он разлюбил радость жизни, что ему уже безразличны изменения года:

«Невесел ты!» — «Я весел был, —
Так говорю друзьям веселья, —
Но радость жизни разлюбил
И грусть зазвал на новоселье.
Я весел был и — светлый взгляд
Был не печален, с тяжкой мукой
Не зналось сердце, темный сад
И голубое небо скукой
Не утомляли — я был рад...
Когда же вьюга бушевала,
И гром гремел, и дождь звенел,
И небо плакало — грустнел
Тогда и я: слеза дрожала,
Как непогода плакал я...
Но небо яснело, гроза бежала —
И снова рад и весел я.
Теперь, как осень, вянет младость.
Угрюм, не веселится мне,
И я тоскую в тишине,
И дик, и радость мне не в радость...»

Но тем главным, что в тиши сада или в часы вечернего отдыха обдумывал и творил Гоголь, была идиллия «Ганц Кюхельгартен». Герой ее пытается порвать с мещанским благополучием и найти приложение своим силам и способностям на широком поприще, странствуя по миру. Самое имя героя было знаменательным. Оно напоминало о друге Пушкина, поэте-декабристе Вильгельме Кюхельбекере, томившемся на каторге после событий 14 декабря.

В уста этого героя Гоголь вкладывал свои размышления и чувства, навеянные впечатлениями от окружающего, свою непримиренность с тусклой действительностью. Ганц Кюхельгартен также стремился уйти из убогого мирка маленького провинциального города, с тем чтобы прославиться в неведомом ему мире, как и сам Гоголь:

Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остывшей,
Волненья мира не испить?
И в нем прекрасного не встретить?
Существованья не отметить?

Но Ганц Кюхельгартен не существовал. Он был вымышлен, как была выдумана и жизнь провинциального немецкого городишки. Идиллия Фосса «Луиза», которую незадолго перед тем прочел Гоголь, да рассказы Зингера помогли ему вообразить захолустную, мещанскую жизнь Германии, столь похожую на неподвижное прозябание нежинцев. Герой поэмы странствует по свету. Он восторженный поклонник античности. Он попадает в Грецию. Но — увы! Он видит перед собою не свободную, прекрасную страну, а разрушения и руины, мрачные следы турецкого ига. Базили много рассказывал про свою родину, про неистовства и жестокость турок, и здесь сказались отзвуки его рассказов.

Странствия Ганца кончаются его поражением. Он оказался не в силах бороться с бурями жизни и возвращается обратно в свою тихую заводь, к своей Луизе:

Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,
Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму света не внимать?

Поражение Ганца, однако, не было поражением самого Гоголя. Он продолжал мечтать о бурном общественном поприще, о Петербурге, о службе для блага человечества. По сравнению с этим все гимназические невзгоды и неприятности не так уж существенны. Гоголь погружается в ученье, сдает экзамены, стремится поскорее распрощаться со ставшим для него ненавистным Нежином. Он уже чувствует себя в Петербурге начинающим новую, замечательную жизнь. Он представляет себя сотрудником министра,

восстанавливающим справедливость и правосудие. Или литератором, к мнению которого прислушиваются. Все с восхищением читают «Ганца Кюхельгартена», издатели приглашают его сотрудничать в столичных журналах.

Наконец закончены последние экзамены. Гоголь получил почти круглые четверки и имел право на чин 12-го класса. Но конференция, памятуя его связи с Белоусовым, определила выдать ему аттестат на чин 14-го класса. В заключение экзаменов законоучитель протоиерей Волынский произнес речь. Наставляя выпускаемых учеников, он предостерегал их от опасностей и заблуждений вольнодумства и безбожия.

Гоголь сердечно распрощался со своими друзьями: Прокоповичем, Базили, Мартосом, Пащенко. Грустным было и прощание с опальным Белоусовым, доживавшим в Нежине последние дни.

Уже на другой день после окончания экзаменов Гоголя ждала знакомая семейная колымага, в которую он и погрузился вместе с Данилевским и со всеми пожитками.

Лето в Васильевке прошло в приготовлениях к поездке в столицу. Шилось новое белье, одежда. Ожидался приезд «благодетеля» Дмитрия Прокофьевича, который должен был снабдить молодого родственника рекомендательными письмами к столичным тузам. Никоша съездил даже на ярмарку в Кременчуг, чтобы накупить угощений для знатного гостя. Но Трощинский заболел и не приехал, и закупленные припасы были оставлены на довольствие многочисленной семьи.

Поездка в столицу требовала больших расходов. Мария Ивановна озабоченно подсчитывала скудный бюджет своего хозяйства и вздыхала. Пришлось брать в долг у племянника «благодетеля» Андрея Андреевича Трощинского. Гоголь тяжело переживал эти финансовые неурядицы, но стремление уехать в Петербург, желание покинуть поскорее провинциальную глушь, сковывающую его надежды и мечтания, превышало все остальное.

Незадолго до отъезда он писал своему дяде

П. П. Косяровскому: «Я еду в Петербург непременно в начале зимы, а оттуда бог знает куда меня занесет; весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет и, признаюсь, меня самого не берет охота ворочаться когда-либо домой, особливо бывши несколько раз свидетелем, как эта необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке, как эти беспокойства убийственно разрушают ее здоровье, и все для того, чтобы доставить нужное нам и удовлетворить даже прихотям нашим...

Я с своей стороны все сделал, денег беру с собой немного, чтобы стало на проезд и на первое обзаведение, а для обеспечения ее состояния отказываюсь от своего наследия и теперь занимаюсь составлением дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, оставляется матери моей в вечное владение».

Перед самым отъездом Гоголь заехал попрощаться к Капнистам в Обуховку. Сам поэт уже несколько лет как умер. Сын его Алексей, замешанный в заговоре, тоже отсутствовал. Гоголь встретился лишь с дочерью поэта и сказал ей: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего не услышите обо мне, или услышите что-нибудь весьма хорошее!»

В середине декабря 1828 года Мария Ивановна проводила сына и ехавшего вместе с ним Сашу Данилевского до Кибинец. Там умирал старый Трощинский. Он насилу смог подписать письмо к влиятельному другу-сослуживцу Кутузову, поручая его покровительству Никошу.

В морозное зимнее утро тройка ямских лошадей, звеня колокольчиком, повезла обоих друзей навстречу неизведанным испытаниям и треволнениям столичной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



Начало пути

Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Н. Гоголь, «Невский проспект»

В СТОЛИЦЕ

В Петербург в тогдашнее время ехать было долго и утомительно. Поездка занимала не меньше двух недель. На почтовых станциях надо было ожидать лошадей, ругаться со смотрителями, отправлявшими путешественников сообразно их чину и званию. Двум молодым студентам, естественно, приходилось запастись терпением. И это тогда, когда все помыслы, все планы были связаны со столицей, когда казалось, что

все зависит от того, как скоро ты в ней окажешься. «Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, — говорил не раз Гоголь своему другу во время томительно-долгого пути, — по крайней мере такую цель начертал я издавна».

Наконец, миновав Курск, Орел, Тулу, Подольск и даже не остановившись в Москве, Гоголь с Данилевским добрались до Петербурга. По мере приближения к столице волнение и любопытство путников возрастали с каждым часом. Наступил вечер. Вдали показались бесконечные огни, возвещавшие о близости большого города. Молодыми людьми овладел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочках, чтоб получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свое нетерпение поплатился тем, что схватил простуду.

Остановились они с Данилевским на Гороховой улице, неподалеку от Кокушкина моста, в людной и грязной части столицы. Квартира в большом перенаселенном доме на четвертом этаже была маленькой, тесной, с глубоко сидящими в толще стены окнами. Простуда дала себя знать. Сразу по приезде пришлось слечь в постель.

За Гоголем ухаживал Яким. С добродушным ворчанием он ставил горчичники и поил горячим чаем. Данилевский на целый день уходил из дому, а возвращаясь, довольный и усталый, оживленно рассказывал о столичных чудесах. Гоголь с завистью слушал и огорчался. На него напала хандра. С неделю пролежал он, ничего не делая, ко всему равнодушный.

Первые впечатления от столицы были обескураживающими. Все оказалось иным, чем он ожидал. В первом же письме к матери от 3 января 1829 года Гоголь жаловался: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы. Жить здесь совсем посвински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы

плотим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы так же недешевы, выключая одной только дичи (которая, разумеется, лакомство не для нашего брата). Картофель продается десятками, десяток луковиц репы стоит 30 коп. Это все заставляет меня жить как в пустыне, я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, то есть для моего неплотного кармана».

Вскоре Гоголь перебрался с Гороховой в дом каретника Иохима на Большую Мещанскую против Столярного переулка. Здесь пролегали Мещанские улицы, населенные ремесленниками, купцами и чиновниками, не подвинувшимися высоко по ступеням табели о рангах. На этих улицах ютились герои будущих гоголевских повестей. По Мещанской улице мимо табачных и мелочных лавок и мастерских немцев-ремесленников будет самодовольно шагать поручик Пирогов, к Кокушкину мосту направится безумный Поприщин, брезгливо заявляя: «Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться».

Дом знаменитого каретника Иохима, того самого, в карете работы которого мечтает прокатиться Хлестаков, напоминал все столичные доходные дома с дворами-колодцами, темными лестницами, унылыми однообразными фасадами. «Дома здесь большие, — писал Гоголь матери, — особливо в главных частях города, но не высоки, большею частию в три и четыре этажа, редко очень бывают в пять, в шесть только четыре или пять во всей столице, во многих домах находится очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну

маршанд де мод *, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, молочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками».

За чопорно-скучным фасадом с правильными, симметричными линиями окон, за аркой ворот открывался двор, сырой, грязный, покрытый отбросами, которые вышвыривали из окон, полный удушающей прели и запахов разложения. Так Петербург сразу предстал перед Гоголем не со своей казовой, парадной стороны, не величественным видом набережных, площадей, арки Главного штаба, а в будничном, затрапезном виде, как город ремесленников, чиновников, бедняков-мечтателей, людных и тесных дворов.

Петербургская жизнь для молодого провинциала, привыкшего к изобилию и дешевизне плодоносной украинской глуши, казалась непомерно дорогой и разорительной. Столица полна соблазнов: ярко освещенные витрины магазинов, нарядно убранные кафе и кондитерские, широко открытые двери театров, афиши, извещающие о новых постановках, — и все это для него недоступно. Нередко приходилось сиживать по неделям без обеда, питаясь лишь чаем с булками, чтобы справить какую-либо износившуюся принадлежность туалета. И все время мучительные думы, как бы и где бы добыть проклятые, подлые деньги...

Слоняясь по улицам, Гоголь думал о том, что в отличие от других столиц Петербург не имеет своего национального характера. Иностранцы, которые поселились в нем, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские, в свою очередь, обынострани́лись и сделались ни тем ни другим. Его поражала тишина. На улицах бесшумно проходят служащие да должностные, толкуют о своих департаментах и коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных занятиях. Его забавляли встречи с этими людьми на

* Модистку.

проспектах и тротуарах: занятые своими мыслями, они сталкивались с ним, отступали в сторону и затем снова продолжали свой путь, что-то вслух бормотали, бранились, забавно размахивая руками.

В Петербурге должны были осуществиться его давние мечты о том, чтобы занять место и положение, которое дало бы ему возможность принести пользу человечеству. Но увы! Эти мечты час от часу бледнели и таяли. Ему положительно не везло! Письма к столичным тузам, которыми так щедро снабдили его Трощинский и прочие родственники, не возымели действия. Гоголь подымался по широким лестницам, стучался в сверкающие медью парадные, робко осведомляясь у величественных ливрейных швейцаров. Значительные лица снисходительно цедили неопределенные обещания, либо вовсе не появлялись перед ним, высылая камердинера с извинением, что принять сегодня не могут. Места, не только соответствовавшего планам Гоголя, но и самого незначительного, не находилось. Деньги, взятые с собой, давно вышли, а полученные в результате долгих просьб от матери из Васильевки были уже на исходе.

Рушилась и надежда на помощь дальнего родственника генерала Андрея Андреевича Трощинского, племянника владельца Кибинец. Хотя Андрей Андреевич после смерти дяди получил огромное наследство, но тароватее по отношению к бедным родственникам не стал. В нем еще явственнее сказалось чванство и мелочное скопидомство. Генерал принял Гоголя в гостиной, вежливо осведомился о его дражайшей матушке Марии Ивановне, посетовал на трудные времена. Вслед за тем, сославшись на важные государственные обязанности, Трощинский стал прощаться со своим докучливым сородичем, весьма неопределенно обещая оказать содействие в получении должности. Окинув величественным взглядом потертый, съежившийся фрак молодого человека, его осунувшуюся и сгорбившуюся фигуру, Андрей Андреевич проявил родственное великодушие и небрежно сунул ему в руку сторублевую ассигнацию.

Гоголь верил, что еще не все потеряно. Оставалась

надежда на литературу, на успех привезенной им из Нежина идиллии «Ганц Кюхельгартен». Пусть незадачливо сложились его дела со службой, пусть не находится место! Разве он хочет быть мелким чиновником, вынужденным вести бесплодную и ничтожную жизнь, ежедневно высиживая в присутствии однообразно-томительные часы? Разве счастье в том, чтобы в пятьдесят лет дослужиться до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованьем, едва хватающим на приличное содержание, но не иметь силы и возможности принести хотя на копейку добра человечеству?

Эти горькие раздумья волновали и мучили Гоголя. «Безумный! — писал он о себе матери в приступе отчаяния. — Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один бог вдвинул в меня, претворил меня в жажду, ненасытимую бездейственною рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно».

И снова — в который раз! — он доставал из чемодана заветную тетрадку, где была переписана поэма. Перечитывая ее, взволнованно, пристрастно он правил несовершенные места, дополнял новыми строфами. В поэме говорилось о его жизни, романтические мечты ее героя звучали как исповедь:

Все решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для мира мертву?

Нет, он отметит свое существование, поэма принесет ему заслуженную известность, а может быть, и славу.

Для издания «Ганца» пришлось истратить последние деньги, присланные маменькой, занять у Данилевского и даже вступить в пререкания с Якимом, недовольным, что и без того скудный бюджет снова урезается этим чудным панычем.

Наконец удалось договориться с типографщиком Плюшаром, что он напечатает «идиллию в картинах». А вдруг она не понравится? Болезненное самолюбие юного поэта не могло допустить критики или, тем паче, насмешки. Гоголь решил издать «Ганца» под псевдонимом. В мае получено было цензурное разрешение, а вскоре вышла и книжка, на заглавной странице которой стояло:

«Ганц Кюхельгартен.
Идиллия в картинах.

Соч. В. Алова.

(Писано в 1827 году). СПб. 1829. В тип. А. Плюшара».

С бьющимся от волнения сердцем Гоголь перелистывал страницы, еще пахнущие свежей типографской краской. Робея в душе, но вместе с тем с бойким видом заходил он в магазины и справлялся, как раскупается книга. Но «Ганц» не раскупался. Желающих приобрести идиллию, которая, как говорилось в предисловии, являлась «созданьем юного таланта», не находилось. «Просвещенная публика», а именно к ней обращался с призывом в предисловии издатель, не интересовалась ни идиллией, ни «важными обстоятельствами», побудившими автора выдать ее в свет.

Прошел месяц, мучительных ожиданий и напрасных надежд. И вот во влиятельном журнале «Московский телеграф», издававшемся известным литератором и критиком Н. Полевым, появилась рецензия. «Издатель сей книжки, — писал автор рецензии, — говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печатания, но что важные для оного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть...

Заплатою таких стихов должно быть сбережение оных под спудом».

Это был полный провал, катастрофа, развеявшая мечты и надежды Гоголя. «С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние, — писал он 24 июля 1829 года матери, — все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны...»

Вместе с Якимом Гоголь обошел книжные лавки, в которых продавалась его книга, скупил все ее экземпляры, нанял номер в гостинице на Вознесенской улице и сжег их. Это было его первое сожжение.

Удар оказался слишком болезненным и беспощадным. Приходилось поставить крест на поэтическом призвании. Все надежды, связанные с появлением «Ганца», рушились. Кроме того, расходы по изданию, а затем уничтожение книги создали чувствительную брешь и в без того скромном бюджете Гоголя. Необходимо во что бы то ни стало достать деньги. Но достать их было неоткуда...

Гоголь чувствовал, что он окончательно запутался, теряет почву под ногами. Следовало что-то предпринять...

Тут мы сталкиваемся с одним из наиболее неясных моментов биографии писателя. В письмах матери от конца июля и от августа 1829 года Гоголь сообщает о своей поездке за границу, в Любек, на деньги, присланные ему для внесения в Опекунский совет процентов за заложенное имение. В письме от 24 июля он сообщал о крушении своих надежд, о том, что не может мириться с тем, что вынужден «пресмыкаться в столице здешней». Вместе с тем, желая, видимо, оправдаться перед матерью в растрате денег, предназначавшихся для Опекунского совета, он неопределенно намекает на бурную страсть, якобы его захватившую, на внезапно возникшее чувство. Он пишет ма-

тери: «...Нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее... Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти...» Гоголь объясняет причины, вынудившие его бежать от этого чувства: «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу». Этим он объясняет свою внезапную поездку в Любек. Следующее письмо к матери, от 13 августа, он помечает «Любеком».

Он подробно описывал вид Любека и даже прилагал его зарисовку. «Пишу к вам ночью..,— сообщал он в письме от 13 августа. — Вот вам вид улицы из моего окна, который наскоро набросал я на бумагу. Таковы дома в Любеке: все дома сплочены тесно один к другому и не разделяются ни в одном месте забором. Чистота в домах необыкновенная; неприятного запаху нет вовсе в целом городе, как обыкновенно бывает в Петербурге, в котором мимо иного дома нельзя бывает пройти. Крестьянки-девушки в красивых корсетиках, с зонтиком в руках толпятся с утра до вечера по рынкам и чистым улицам». Пробыв несколько дней в Любеке, Гоголь столь же поспешно и неожиданно возвращается в Петербург.

Все это свидетельствовало о том крайнем смятении, которое охватило Гоголя после неудачи с «Ганцем Кюхельгартеном». Чувством вины и раскаяния проникнуто письмо его из Петербурга, датированное 24 сентября: «Ах, если бы вы знали ужасное мое положение! — писал он матери. — Ни одной ночи я не спал спокойно, ни один сон мой не наполнен был сладкими мечтами. Везде носились передо мною бедствия и печали, и беспокойства, в которые я ввергнул вас... Простите, простите несчастную причину вашего несчастия!..»

После бурного отчаяния и тоски последовали томительные будни, полные мелочных забот и огорчений. Пришлось вновь обратиться к поискам работы, к грошовым займам, мучительной экономии на сахаре, на свечах, на чае...

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

В эти трудные дни Гоголь вспомнил про свои успехи на сцене Нежинской гимназии, всеобщее восхищение, которое вызывала у зрителей его игра. Может быть, попытать свои силы в этой области? Ведь были же знаменитые актеры, которые потрясали сердца людей! Почему он не сможет стать столь же известен, как Гаррик, Тальма или Дмитриевский?..

В серенькое, дождливое утро Гоголь, надев свой парадный костюм, направился на Английскую набережную, где проживал директор императорских театров князь Сергей Сергеевич Гагарин. У Гоголя от сырой погоды разболелись зубы, и он повязал щеку черным шелковым платком; костюм его, хотя и модный, выглядел далеко не безукоризненно. Толстый бородатый швейцар в блестящей ливрее неохотно пропустил посетителя в приемную. Там уже находился вежливый молодой человек, секретарь Гагарина, который спросил, по какому делу желают видеть князя. Смущаясь, Гоголь сообщил, что он собирается поступить на театр и хочет лично просить князя убедиться в его способностях.

Чиновник просил обождать: его сиятельство еще не оделся, но скоро выйдет и начнет прием. Гоголь сел у окна и, облокотясь рукою на подоконник, стал смотреть на Неву. Прошло немало времени, прежде чем появился князь.

Сиятельный директор, неохотно разбиравшийся в театральных делах, принимал в разговорах с просителями суровый и строгий вид. Он любил, чтобы посетитель чувствовал смущение и робел перед его особой.

— Что вам угодно? — холодно и величественно спросил он.

Гоголь, вертя в руках шляпу, запинаясь, ответил:

— Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы.

— Ваша фамилия?

— Гоголь-Яновский.

— Из какого звания?

— Дворянин.

— Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.

Несколько оправившись от первоначального смущения, Гоголь отвечал уже более уверенным тоном:

— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня. Мне кажется, что не гожусь для нее. К тому же я чувствую призвание к театру.

— Не думайте, чтоб актером мог быть всякий, — снисходительно заметил князь. — Для этого нужен талант!

— Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант!

— Может быть. Но на какое же амплуа думаете вы поступить?

— Я сам этого еще хорошо не знаю, но полагал бы на драматические роли.

Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:

— Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия. Впрочем, это ваше дело.

По приказанию князя был вызван управляющий труппой Александр Иванович Храповицкий. Он считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для трагического актера прежде всего необходимы завывания и всхлипывания и чтение стихов нараспев. Этого требовали правила классицизма, уже безнадежно отставшие от подлинного развития искусства.

Храповицкий снисходительно взглянул на худенькую, несолидную фигуру претендента в лицедеи, да еще с комически повязанной платком щекой. Узнав, что Гоголь желает быть испытан на драматические роли, он предложил ему прочесть отрывок из трагедии Расина «Гофолия и Андромаха» в переводе Хвостова и монолог Синава из драмы «Синав и Трувор» Сумарокова. Не ожидавший такого выбора, Гоголь смутился и вяло читал дубовые и косноязычные вирши Хвостова и Сумарокова, пытаясь придать им хоть сколько-нибудь естественности:

Куда прибегну я и что начну к отраде!
Я вижу смерть мою в прельщающем мя взгляде.
Живуща в разуме Синавовом краса

От пагубного дня и лютого часа́,
Как сердца моего свобода отлучалась,
И мысль моя среди надежды огорчалась,
Терзаючи меня, колеблет весь мой ум,
И нет пристанища моих блудящих дум.

Простота чтения, отсутствие наигранного пафоса, который особенно ценился Храповицким, не могли ему понравиться. Он морщился, делал нетерпеливые жесты и, не дав Гоголю окончить монолог Синава, прервал его, заявив, что испытуемый Гоголь-Яновский совершенно неспособен не только к трагедии или драме, но даже и к комедии. По уходе растерявшегося Гоголя Храповицкий долго еще рассуждал о том, что тот не имеет никакого понятия о декламации, читает по тетради очень плохо и нетвердо, что и самая фигура его совершенно неприлична для сцены.

Обескураженный, измученный всем случившимся, Гоголь еле доплелся к себе на четвертый этаж и, не раздеваясь, повалился на кровать.

ЧИНОВНИЧЬЯ ЛЯМКА

Влиятельный «благодетель» Андрей Андреевич Трощинский, чтобы отделаться от назойливого родственника, нажал административные пружины, и «студент 14-го класса» Гоголь-Яновский был определен в департамент уделов. На его заявлении сам его превосходительство вице-президент департамента уделов двора его императорского величества гофмейстер и кавалер Лев Алексеевич Перовский изволил начертать резолюцию: «Означенного студента Гимназии высших наук князя Безбородко Гоголь-Яновского, определив на вакацию писца во 2 отделение с жалованьем по шести сот рублей в год и приведя его на верность службы к присяге, обязать подпискою о непринадлежности его к масонским ложам... 10 апреля 1830 года за № 669».

Это была удача. Правда, жалованье оказалось весьма скудным, а обязанности писца заключались прежде всего в каждодневном утомительно-однообраз-

ном переписывании бумаг. Но все же государственная служба обеспечивала какое-то твердое положение, придавала сознание собственной необходимости своего места в сложной государственной машине. В письме к матери Гоголь пытался утвердить самого себя в важности предстоящего ему служебного поприща. Разубеждая свою дражайшую матушку, уверенную в том, что служба может стать источником богатства, Гоголь указывал, что теперь за беспорочную службу уже не дают ни поместий, ни крепостных, как это водилось в давние времена. Главное — «сделаться необходимым огромной массе государственной». Для этого нужно «иметь железную волю и терпение, покамест не достигнешь своего предназначения, должен не содрогнуться крутой, длинной — почти до бесконечности — лестницы...».

Пока что Гоголь оказался на самой нижней ступеньке этой бесконечной лестницы. Ему приходилось рано утром вставать и к девяти часам отправляться в свою должность и там допоздна корпеть над бумагами. Начальником отделения являлся поэт Владимир Иванович Панаев — «идиллический коллежский асессор», как назвал его Пушкин.

В молодости Владимир Иванович писал чувствительные стишки и идиллии, но к сорока годам стал педантически исполнительным и аккуратнейшим чиновником, больше всего опасавшимся недовольства начальства. Полного повиновения и аккуратности он требовал и от своих подчиненных. Гоголь вынужден был целыми днями переписывать пухлые дела, заключения, рапорты, подшивать бумаги и, пронумеровав их, складывать в обширный дубовый шкаф.

Итак, в одном департаменте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный. Он нередко делал в копиях описки, пропускал номера, складывал папки не на присвоенные им места. Тогда «идиллический асессор» призывал его к своей конторке и ровным, въедливым голосом отечески журил за неаккуратность.

К концу занятий этот чиновник надевал поношенную шинельку и торопился домой по заснеженным

улицам Петербурга. Он быстро поднимался к себе в квартиру по лестнице, пропитанной запахом квашеной капусты и жарившейся где-то по соседству рыбы, бережливо снимал истершиеся на сгибах сюртук и штаны и облачался в старенький, выцветший халат.

О том, как трудно приходилось Гоголю в эту первую петербургскую зиму, свидетельствует его письмо к матери. Он сообщает ей, что ему часто приходит на мысль бросить Петербург и уехать, подробно рассказывает о своей жизни бедняка чиновника. «Доказательством моей бережливости, — с горечью сообщает он маменьке, — служит то, что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезде своем в Петербург из дому, и потому Вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также не мало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели».

К письму Гоголь приложил неутешительный реестр своего бюджета за январь месяц:

«ПРИХОД И РАСХОД

за январь 1830

Приход		Расход	
Получено жалованья за м. январь	30 р.	За квартиру	25 р.
От Андрея Андреевича полученных осталось	50 р.	На стол	25 р.
		На дрова	7 р.
		На сахар, чай и хлеб .	20 р.
		На свечи	3 р.
		Водовозу	2 р.
Выручил за статью, переведенную с французского «О торговле русских в конце XVI и начале XVII века» для «Северного архива»	20 р.	За перчатки заплачено	3 р.
		Прачке	5 р.
		На содержание человека	10 р.
		За два носовых платка	2 р.
		На мелкие издержки, как то: извозчикам, цирюльникам, и проч. потреблено	5 р.
		На подтяжки	4 р.
Итого	100 р.	Итого	111 р.
		В баню	1 р. 50 к.»

Заканчивая письмо, Гоголь писал: «Простите, добрейшая из матерей и попечительнейшая, за мои вечно наносимые вам неприятности. Чего бы я ни дал, чего ни сделал, чтобы избавить вас от них!

Ваш до гроба послушный и нежно вас любящий сын Н. Г. Я.»

Расходы на сахар, свечи, баню, столь точно переименованные в этом реестре, во многом напоминают нищенский бюджет многострадального Акакия Акакиевича Башмачкина — героя повести, навеянной этим невеселым жизненным и служебным опытом самого Гоголя. Мечта о теплой шинели ему так же была хорошо знакома, как и докучливая грошовая экономия. Однако он не поддавался этой засасывающей канцелярской рутине, гнетущей, утомительной бедности.

После пяти часов вечера, наскоро пообедав и накинув прохудившуюся шинель, Гоголь отправлялся на Васильевский остров в Академию художеств. Он быстро переходил Дворцовый мост через Неву и шел по набережной мимо длинного и узкого здания университета, построенного Петром I для 12 коллегий. Напротив, через Неву, виднелся грандиозный Исаакиевский собор, а перед ним Медный всадник, вздернувший на дыбы коня перед самым обрывом гранитной глыбы. У здания Академии широкие ступени, спускавшиеся к воде, охраняли два огромных серых сфинкса, привезенных из Египта.

Гоголь незаметно прошмыгивал через парадный вестибюль, усаживался за мольбертом в натурном классе, накалывал лист бумаги и старательно набрасывал фигуру натурщика. Здоровенный, голый детина сидел на высоком табурете, и несколько человек столь же старательно, как и Гоголь, изображали его в самых разных ракурсах.

Время от времени заглядывали преподаватели — художники А. Егоров и В. Шебуев, уже пользовавшиеся известностью у публики. Они терпеливо просматривали рисунки, поправляли их, советовали. Идеалом для них являлась античная скульптура, ее гармоническая завершенность, благородная красота

человеческого тела. Точность пропорций, лаконичная ясность штриха признавались основным достоинством.

В живописном классе преподавал знаменитый Венецианов, учеником которого стал приятель Гоголя, однокашник по Нежинской гимназии Аполлон Мокрицкий. Венецианов учил видеть и изображать на картинах подлинную жизнь, «низкую действительность». Простые деревенские бабы, старики, дети, водолазы, кузнецы — все это служило натурою для картин самого художника и его учеников. Тщательно и любовно запечатлевая детали быта, обыденной жизни, домашние интерьеры, он видел в реалистической правдивости изображения людей труда подлинную красоту.

На улицах уже зажжены были фонари, когда Гоголь возвращался домой. Яким поставил на стол весело шипящий самовар. Появились любимые кренделькн. Рядом с ними номер «Литературной газеты», издававшейся бароном Дельвигом, приятелем Пушкина. В этом номере была напечатана глава «Учитель» из повести «Страшный кабан», подписанная «П. Глечик». В ней рассказывалось про непутевого семинариста, который попал «на вакации» в отдаленное украинское село Мандрыки. Один лишь Гоголь знал, кто такой этот Глечик, потому что повесть принадлежала ему. Однако своего секрета он никому не открыл. Слишком еще свежа была боль от раны, нанесенной неудачей «Ганца Кюхельгартена»!

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

Время тянулось бесконечно долго. Однообразная, докучливая канцелярская работа, тусклый, безрадостный каждодневный быт, беспокойство о матери и сестрах вконец истомили Гоголя.

Наступил апрель, начиналась весна, дни стали светлее и солнечнее. В открытую форточку лился теплый воздух, доносилось чириканье воробьев и звон лопат, которыми дворники скребли тротуары.

Яким старательно протирал стекла в окошках, утюжил щеткою пол.

Жизнь продолжалась. Вместе с зимним холодом и побуревшим снегом уходили мрачные мысли, приглушалась горечь разочарования. К весне в столице появились и недавние однокашники, бывшие студенты Нежинской гимназии высших наук — Данилевский, уезжавший ненадолго на родину, Прокопович, Пащенко, Базили, Мокрицкий...

В воскресенье решили отпраздновать встречу нежинцев.

В большой комнате был накрыт праздничный стол. Гоголь на кухне вместе с Якимом жарил свиную колбасу, приготовлял вареники, галушки и другие украинские яства. Повязавшись салфеткой, он стоял у плиты и, радостно предвкушая встречу с друзьями, не забывал аккуратно лепить из теста маленькие вареники. Когда все было готово, Гоголь прифрантился: взбил на лбу кок, затянул ярко-пестрый галстучек, облекся в белый, чрезвычайно короткий распашной сюртучок, по тогдашней моде с высокой талией и буфами на плечах. Он походил на молодого петушка, приготовившегося покрасоваться в солнечный день между восхищенными курочками.

Стали сходиться гости. Первым явился Прокопович. У него был вид застенчивого, неуклюжего провинциала, лишь недавно прибывшего в столицу. Затем пришли Данилевский с Базили, Пащенко с Гребенкой. Они принесли с собой запахи весенней улицы, смех, веселое оживление. Вскоре постучался и художник Мокрицкий.

Мокрицкий притащил с собой что-то завязанное в узелке.

— А что это у тебя, брате Аполлоне? — смеясь, спросил Гоголь. — Що це за торбинка?

— Это... это, Николай Васильевич, священне, не по твоей части! — заикаясь, отвечал Мокрицкий.

— Как, что такое? Что значит священне? Покажи! — настаивал Гоголь.

— Пожалуйста, не трогай, Николай Васильевич! Говорю тебе, не можно, це священне...

Гоголь схватил узелок, развязал, и все увидели в его руках детские костюмчики, которые нужны были Мокрицкому для картины.

Бережно завернув костюмчики в узелок, Гоголь завязал его и выбросил в открытое окно на улицу. Мокрицкий вскрикнул от ужаса, бросился к окну, чуть было не выскочил в него, но, увидев, что высоко, побежал к дверям, опрометью спустился вниз и схватил свой «священный» узелок.

Позже всех пришел напыщенный, снисходительно улыбающийся Нестор Кукольник, Возвышенный, как называл его Гоголь, невзлюбивший его еще с гимназии за самоуверенную заносчивость и тщеславие. Возвышенный уже приобрел в столице известность и многочисленных поклонников. Его романтическая драма в стихах «Торквато Тассо» была признана влиятельными литературными кругами почти гениальной.

Разговор зашел о театре. Прокопович посещал театральное училище и даже выступал в небольших ролях, чем чрезвычайно гордился. Он рассказывал о смешном французском водевиле, в котором ему пришлось участвовать:

— Вы понимаете, герой раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать! Просто животики со смеху надорвешь!

— Вздор какой! — рассердился Гоголь. — Так и полезли водевили на сцену, тешат народ средней руки, благо смешливо! А каково положение русского актера! Перед ним трепещет и кипит свежее народонаселение, а ему дают лица, которых он и в глаза не видел! Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! На сцену их, на смех всем! Смех — великое дело, — взволнованно заключил Гоголь, — он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц... А ты вот радуешься бесцветному и пустому фарсу!

Друзья еле-еле успокоили Гоголя. Кукольник, чтобы привлечь к себе внимание, рассказал, что его «Тассо» принят к постановке. Ему сулят небывалый



Невский проспект. Литография.



Дом на М. Морской. Верхние правые четыре окна – окна квартиры Н. В. Гоголя. Фотография.



Пушкин. Портрет работы художника Тропинина.

успех... Гоголь и здесь не выдержал, дал волю негодованию:

— Нет, я не одобряю романтических мелодрам! Все дело в них в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах. Палачи! Яды! Эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия. Если собрать все современные драмы, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы! Где же жизнь наша? Где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама!

Возвышенный обиделся. Тонким и злым голосом он принялся доказывать, что задачей автора является не подражание и копирование жизни, а создание высоких характеров, героических образов прошлого, которые показали бы извечную борьбу страстей, отвлекли бы зрителя от его низменных интересов.

Спор ожесточился. Гоголь, перейдя к драме Кукольника, едко вышучивал ее:

— Еще бы! Характеры у тебя необыкновенно благородны, полны самоотверженья! Вдобавок выведен на сцену мальчишка тринадцати лет, поэт и влюбленный в Тассо по уши! А сравнениями ты играешь, как мячиками: небо, землю и ад потрясаешь, будто перышко!

Разговор грозил перерасти в ссору. Чтобы поднять настроение, весельчак Данилевский затянул комическую песню, сложенную в честь недавних нежинцев, приехавших в столицу:

Все бобрами завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву...

Куплеты были специально для этого дня сочинены Данилевским и Гоголем. Все рассмеялись. Лишь

Кукольник скорбно отошел в угол комнаты и снисходительно поглядывал оттуда на собравшихся.

— Ну, хлопцы, сидайте за стол! — пригласил Гоголь.

Все расселись, шумно чокнулись.

— Як ковбаса, тай чарка — минеться и сварка! — шутливо провозгласил Данилевский. — За Нежин, за Сичь!

После нескольких добрых чарок горилки языки развязались.

— А ну, хлопцы, заспиваем нашу ридну украинську, — предложил Пащенко и густым басом затянул:

Ой, на гори там женци жнуть,
А по-пид горою, лисом, долиною
Козаки йдуть!

Все дружно подхватили. Гоголю вспомнились долгие теплые вечера в Васильевке, когда уставшие за день хлопцы за прудом, у левады, пели эту песню про гетмана Сагайдачного.

— Славная песня, — сказал Гоголь. — А не поспивать ли нам теперь что-нибудь про коханье?

Солнце низенько, вечир близенько,
Выйди до мене, мое серденько!

Чарки еще не раз наполнялись, раздавались песни, которые исполнялись нежинцами еще в гимназии, вспоминали недавние годы ученья.

— А что барон Фон-Фонтик? — спросил Гоголь про своего однокашника Риттера, который когда-то так испугался своих «бычьих глаз». По окончании гимназии он пошел служить по финансовой части.

— Табачный таможенный пристав, заводчик кунжутного масла, — рассмеялся Данилевский. — Он пьяный подрался на Магерках с Канчотихою и судился в земском суде. Батюшка, узнавши о его проказах, прислал за ним крытую кибитку, чтобы притащить свое чадо в Прилуки. Но Барончик объявил отцу, что не хочет заниматься такою презренною наукой, как политическая экономия, а желает ехать в Московский университет!

— А как поживает наш Николай Григорьевич?

— Инспектор Белоусов? Он теперь в Киеве. Служит. Хороший был человек, зазря его сукин сын Билевич съел!

Долго еще перебирали они своих однокашников и учителей, сидя за столом, попивая чай с булочками и кренделями. Гости уже собирались расходиться, когда Гоголь предложил прочесть из «Энеиды» Котляревского про «моторного парубка», расторопного хлопца Энея.

— Вот послушайте, як вин гарно пише про богов, як бы про нас:

Там лакоміни разны іли,
Буханчики пшеничні білі,
Кислиці, ягоди, коржі,
І всякі разні витребенькі, —
Уже либонь були пьяненькі,
Понадувались, мов йоржі.

Был уже поздний час. В окно доносилась вечерняя сырость, из-за рваных, мохнатых облаков изредка проскальзывал месяц.

— До побачення! — сказал Данилевский, и все стали прощаться.

Оставшись один, Гоголь пошел в спальню, зажег свечу и сел перед комодом. Спать не хотелось: в голове еще шумели веселые шутки друзей, в ушах слышались любимые песни. Он достал из комода переплетенную в твердую обложку тетрадь. На первой странице было написано: «КНИГА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ ИЛИ ПОДРУЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» с пометой: «Начато в Нежине в 1826 году». В этой «энциклопедии» рукою Гоголя были переписаны украинские песни, «Вирша, говоренная гетману Потемкину запорожцами», отрывки из «Энеиды» Котляревского, пословицы и поговорки, народные предания и кушанья, описания крестьянских поверий, свадебного обряда. Гоголь внимательно перелистал книгу. В памяти возникли веселые комедии Котляревского, сценки из «Энеиды», пьесы отца, которые он видел на театре в Кибинцах.

Во всем этом чувствовалась жизнь, задорное кипе-

ние народного юмора, искренность подлинного чувства. И вдруг ему стало понятно, почему никто не хотел читать его «Ганца». Свои чувства он приписал там вымышленным, придуманным героям, да вдобавок помещенным в обстановку неизвестного даже ему самому немецкого быта. Его идиллия лишена была жизненной правды, она была надуманна, вычитана из книг.

Вот если бы написать так, как рассказывают народные сказочники, поют бандуристы, как писали Котляревский и его отец, Василий Афанасьевич?

Они черпали свои образы, свои краски не из книг, а из жизни, из народных сказаний и песен. Потому-то так охотно смотрелись «Москаль-чаривник» и «Собака-вивца», заучивались наизусть бурлящие весельем стихи про моторного парубка Энея! Но ведь он тоже может так писать. В его голове толпятся образы, навеянные родной Васильевкой, Магерками, вечерними рассказами молодиц, песнями дивчин и хлопцев.

Припомнился устроитель свадеб в Васильевке Демьян, который знал множество страшных и смешных историй, преданий и поверий об Иване Купале, русалках, старинных обычаях. Гоголь представил себе девку, увиденную им в церкви, поразившую его своей красотой и старинным, времен гетманских, нарядом. Вспомнились и забавные представления кукольного вертепа, в которых выступал хвастливый запорожец в шароварах шириною с Черное море, обманщица цыганка, пронырливый и путающийся в людские дела черт, похожий на провинциального стряпчего.

Он схватил перо и написал на листе бумаги крупными буквами: «Пропавшая грамота» *. В его ушах звучал лукавый, задорный рассказ свата Демьяна о запорожце, ездившем в ад к чертям за своей шапкой с зашитой в ней грамотой к царице. Припомнились многочисленные сказания о людях, запродавших свою душу черту. Соленый юмор этих рассказов, их беззаботное веселье подымали в нем еще неясные, бродив-

* Первыми были написаны: «Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота» и «Майская ночь».

шие внутри силы. Вот перед его глазами возник ослепительно яркий облик гуляки-запорожца: «Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец да и только! Эх, народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! Да ведь как пустится: ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершися в боки, несется вприсядку; зальется песней — душа гуляет!..»

До утра просидел Гоголь, пока не записал всего рассказа таким, каким он звучал в его ушах. Он окунулся в близкий ему, чистый и могучий мир, созданный народом, насыщенный юмором и фантазией. Все здесь, даже самые невероятные события и происшествия, было земным, смешным или грустным, но всегда полным смысла, сохраняло свежесть и непосредственность народных сказок и песен.

На стене появились уже первые блики солнца. Оно подымалось над заслонявшими окно неприветливыми, серыми домами. Гоголь отложил перо и задумался. Лучше всего, чтобы про все это рассказал сельский дьячок. Было бы смешнее и правдоподобнее. Однако дьячок как-то не ясно представлялся ему. Тогда Гоголь снова взялся за перо и стал писать матери. «...Почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, — писал он, — теперь вас прошу сделать для меня величайшее одолжение. Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками до последней ленты; также нынешними замужними и мужиками». Подумав, он добавил еще просьбу при-

слать ему две папенькины малороссийские комедии «Собаку-овцу» и «Романа с Параскою»: «Здесь так занимает всех все малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из них поставить на здешний театр». Так родились «Вечера на хуторе близ Диканьки», так ожил сельский дьячок Фома Григорьевич.

Было позднее утро. Солнце уже сияло ярким, радостным светом.

Гоголь не стал ложиться. Все равно не мог бы заснуть. Он умылся свежей, ледяной водой. Выпил крепкого красновато-коричневого чая, надел шинель и вышел из дому. Ноги сами привели его к Фонтанке, где жил тогда Пушкин. Чем ближе он подходил к дому своего кумира, тем больше им овладевала робость. У самых дверей он остановился, завернул за угол и зашел в соседнюю кондитерскую выпить рюмку ликера. Затем подошел к двери квартиры Пушкина и позвонил в колокольчик.

— Дома ли хозяин? — робея, спросил он у подошедшего слуги.

— Почивают. Изволили поздно лечь.

Гоголь помолчал и медленно зашагал обратно домой по залитому солнцем Невскому проспекту.

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ УКРАИНСКУЮ НОЧЬ?»

Город накалялся жарким июньским солнцем. Было душно, пыльно, пахло карболкой. В Петербурге свирепствовала холера.

По городу ходили тревожные слухи. Кучки бедно одетых людей собирались на улицах, озлобленно ругали докторов, аптекарей, чиновников, морящих народ. По ночам в засмоленных гробах возили покойников на черных похоронных дрогах, а чаще на простых телегах, накрытых рогожей. Карантин и заставы отрезали столицу от остальной России.

В эти тягостные летние дни Гоголь покинул Петербург и поселился в Павловске на даче княгини Васильчиковой в качестве наставника ее больного сына. Княгиня жила с детьми в обширном доме своей мате-

ри Архаровой, занимая отдельный флигель. Здесь же ютился многочисленный штат архаровской и васильчиковской дворни, приживалки, гости.

Днем Гоголь занимался со слабоумным, недоразвитым мальчиком, показывая ему картинки, нарисованные в книге, и терпеливо повторяя: «Вот это, Васенька, барашек — бе... е... е, а вот это корова — му... у... му... у... А вот собачка — гау... ау... ау...» Мальчик полулежал в кресле и тупо глядел на учителя кроткими, непонимающими глазами.

Зато вечера и ночи принадлежали Гоголю. С волнением и мучительной радостью он перечитывал исписанные его мелким, неразборчивым почерком листы, вносил в них поправки, снова лихорадочно писал слегка скрипевшим гусиным пером. Это создавались его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Палящее солнце родной Украины, яркие плахты дивчин, немолчный говор ярмарки, ласкающая мелодия народной песни, шепот степных трав наполняли тесную маленькую комнату с отгороженной ширмой кроватью. Как все это далеко от чопорного Павловска, от суетливого и шумного дома княгини, от снисходительно-равнодушных, вежливых и холодных людей, окружавших его здесь!

Для княгини и ее челяди он был лишь смешным чудаком, бедным учителем, за кусок хлеба, чуть ли не из милости живущим в этом богатом аристократическом доме.

Иногда по вечерам он приходил к княгининой приживалке — Александре Степановне, маленькой сухонькой старушке, хлопотливо поившей его чаем с клубничным вареньем.

В низкой комнате у стены стоит старомодный диван, обтянутый пестреньким ситцем, а перед ним круглый стол, покрытый красной бумажной скатертью. На столе под темно-зеленым абажуром горит лампа, ярко освещающая лица присутствующих. Худощавый, с длинным и тонким носом, с торчащим надо лбом хохолком русых волос Гоголь садится у стола на высокий стул. Напротив на диване уже расположились три древние старушки. Дружно, внимательно

они вяжут чулки железными спицами и снисходительно поглядывают поверх очков. Около дверей жмутся друг к другу слуги, дворовые княгини.

Становится тихо. Гоголь неторопливо раскладывает на столе листы своей рукописи. Неожиданно в комнату с важным видом входит плотный молодой человек с пышными бакенбардами в форме студента Дерптского университета. Это племянник княгини граф Владимир Соллогуб, который пописывает стишки и считает себя присяжным литератором. Соллогуб снисходительно кивает Гоголю и усаживается у стола.

— Что же, Николай Васильевич, начинайте! — говорит Александра Степановна, поправив на носу очки.

— Читайте, — подтверждает Соллогуб, приложив к близоруким глазам лорнет. — Я сам пишу и интересуюсь словесностью.

Гоголь вопросительно смотрит на Соллогуба. Язвительная усмешка на миг кривит его тонкие губы. Он подвигается к лампе, не спеша расправляет длинными, худыми пальцами листы и начинает читать.

— «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»

В голосе Гоголя слышится какое-то удивление, сдержанный восторг, задушевная мягкость. Его карие глаза ласково улыбаются. Время от времени он встряхивает длинными волосами, падающими ему на лоб. Описывая летнюю ночь, он как бы делится со слушателями впечатлениями летней свежести, синей, усеянной яркими звездами выси, благоухания украинских садов...

Вдруг он останавливается.

— «Да, гопак не так танцуется!» — восклицает он, задорно взглянув на слушателей.

— Отчего ж не так? — растерянно спрашивает Александра Степановна, переставая шевелить спи-

цами. Она подумала, что Гоголь обратился к ней. Однако он продолжает как ни в чем не бывало:

— «То-то я гляжу, не клеится все. Что ж это рассказывает кум?..

А ну: гоп трала! Гоп трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп!»

И льется дальше рассказ о влюбленном парубке Левко, его вольнолюбивых товарищах, помогающих ему перехитрить властного и глупого голову и завоевать руку мечтательной красавицы Ганны. Герои народных песен, кажется, заполняют обширную приземистую комнату. Картины украинской природы, трогательное описание встречи влюбленных перемежаются с задорным юмором бытовых сценок.

Гоголь оканчивает чтение, упомянув в заключение про спящую в серебряных лучах месяца Ганну и пьяного Каленика, разыскивающего свою хату. Слушатели, зачарованные волшебным видением украинской ночи, восхищенно молчат.

— О, це гарно! — неожиданно хриплым басом говорит кучер Грицко, вывезенный Васильчиковой с Украины.

Очарование чтения нарушено. Горничные, стоящие гурьбой у двери, вытирают слезы, навернувшиеся на глаза, и шепчутся. Александра Степановна поднимается с дивана и суетится, готовя чай. Дерптский студент горячо жмет руку Гоголя, заверяя, что тот настоящий писатель и должен занять в литературе надлежащее место. Гоголь молча выслушивает комплименты. Его задор, восхищение миром, им самим вызванным к жизни, уже прошли, погасли.

Люди потихоньку расходятся, изредка фыркая, припоминая смешные шутки, словечки пьяного Каленика. На столе появляется дымящийся самовар и клубничное варенье.

ПИСАТЕЛЬ ВО ВКУСЕ ЧЕРНИ

Жизнь в Павловске текла своим чередом. Но теперь появился в ней новый смысл, новое содержание. По соседству, в Царском Селе, поселился с мо-

лодой красавицей женой Пушкин. Он жил в небольшом двухэтажном домике неподалеку от Александровского дворца.

С Пушкиным Гоголь познакомился совсем незадолго до своего отъезда в Павловск, на вечере у Плетнева. Наконец осуществилась давнишняя мечта: его кумир Пушкин — здесь, рядом. Еще недавно Гоголь с трепетом читал гениальные страницы его только что появившейся драмы «Борис Годунов». По прочтении ее он дал клятву верности Пушкину и в его лице клятву преданности русской литературе. «Великий! — самозабвенно писал Гоголь в своем восторженном гимне Пушкину. — Над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть обольется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу...»

Павловск считался летней резиденцией императрицы Марии Федоровны. Это было ее частное, семейное место отдохновения, покоя, сельского уединения. Прекрасный парк своими изящными видами напоминал идиллические пейзажи Пуссена, Клода Лоррена, Ватто. Между зелеными невысокими холмами мирно и тихо текла Славянка. Небольшой бело-розовый дворец на холме над озером имел необычайно поэтический вид. Кругом были разбросаны в живописном беспорядке ферма, беседки, небольшие деревянные домики вроде швейцарских шалэ. В домиках — накрытые столы со скромными сельскими яствами, молоком и черным хлебом на случай, если гости проголодаются. Императрица любила семейный уют и увлекалась сентиментальной игрою в сельское хозяйство, даже сама доила коров.

В свободное время Гоголь бродил по аллеям парка. Иногда он с замиранием сердца встречал Пушкина, который с сердечностью, ему свойственной, покровительствовал начинающему писателю. Легкая стремительная походка Пушкина, его тонкая, изящная фигура замечались еще издали. Гоголь присоединялся к Пушкину и сопутствовал ему в прогулке, слушал его рассказы о прочитанных книгах, домашних новостях, политических событиях. Часто он провожал его в Царское Село, в дом Китаевой, где поселился Пушкин. Робея, он отдал ему на прочтение рукопись своих «Вечеров».

По сравнению с идиллическими пейзажами Павловска Царское Село, или, как оно называлось при Екатерине, Сарское Село (по Саарской мызе), выглядело величественно и строго. Екатерининский дворец и парк стали «обиталищем» и пантеоном российской славы, как восторженно писал журналист П. Свиньин в своем очерке о Царском Селе. Зодчество и скульптура прославляли вокруг успехи русского оружия на языке мрамора и бронзы. Зеркальная гладь обширного озера, тенистые аллеи, каскады, зеленые лужайки, мраморные статуи создавали прекрасную и величественную панораму, завершавшуюся длинным и узким фасадом великолепного, поражавшего своими затейливыми линиями и украшениями Екатерининского дворца. Во дворце никто не жил. Быт не оседал сколько-нибудь прочно в его торжественных интерьерах, блестящих залах, зеркалах, поддерживаемых золочеными амурами.

В этот жаркий летний день Гоголь находился в особенно хорошем расположении духа. Пройдя через парк, он приблизился к Екатерининскому дворцу.

Когда спустился к пруду, то заметил Пушкина.

Пушкин стоял на ступеньках мраморного павильона, спускавшихся к воде, и любовался на лебедей, грациозно изгибавших ослепительно белые шеи. Он не видел Гоголя и вполголоса читал стихи, посвященные Царскому Селу, столь памятному ему с юношеских лет:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшей головой.
Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Услыхав шаги, Пушкин резко обернулся. Его лицо с рыжеватыми бакенбардами осветилось улыбкой. Он был в сером сюртуке и цилиндре.

— А, Гоголек! — ласково приветствовал он молодого друга. — Ну, что нового? Как в Петербурге?

— В Петербурге холера. Но она теперь не так опасна, хотя еще есть карантины, — почтительно отвечал Гоголь.

— В Петербурге холера, а Царское Село оцеплено! — рассмеялся Пушкин. — Так при королевских дворах бывало — за шалость принца секли его пажа.

— Приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании и не смог захватить вашу посылку, — жалобно сказал Гоголь.

Пушкин огорчился:

— Жалко, что так получилось. Я в нее вложил для Плетнева свои повести, сочинения покойника Белкина, славного малого!

— Я никак не мог думать, — оправдывался Гоголь, — чтобы была другая дорога, не мимо вашего дома. И преспокойно ехал в намерении остановиться возле вас. Но вышло иначе. Я спохватился уже поздно. А сопутницы мои, спешившие к карантину для свидания с мужьями, никаким образом не захотели склониться на мою просьбу.

— Повинную голову меч не сечет. Следующий раз, как поедете, не забудьте захватить. Придется напечатать их анонимно. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Ведь русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу.

Они пошли вдвоем к Александровскому дворцу, где проживал Жуковский. Пушкин по дороге смешно передразнивал Булгарина и Греча, показывая в лицах, как они расхваливают друг друга.

— Что же вы делали в Петербурге? — спросил он Гоголя, со свойственной ему стремительностью перейдя к новой теме.

— Заходил в типографию у Чернышева моста, справлялся, как набираются мои «Вечера».

— Так как же обстоит дело?

— Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стене. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что «штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву».

— Это хорошо. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков.

— Да, но из этого я заключаю, что я писатель совершенно во вкусе черни, — пошутил Гоголь.

«Писатель во вкусе черни!» И Гоголю показалась далекой и холодной искусственная красота царскосельских дворцов и парков, с их мрамором, бронзой, причудливой роскошью природы. Перед ним предстал храбрый и простодушный кузнец Вакула, пораженный и напуганный сказочной роскошью царицына дворца. «Выноси меня отсюда скорее!» — наказал он черту и полетел в родное село, к своей красавице Оксане, прижимая к груди царские черевички, какие ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет сделать!

Величественная колоннада Александровского дворца, разряженные дамы и господа, чопорно прогуливающиеся по аллеям парка, — все это отступило перед возникшей в его памяти Васильевкой, с ее смуглыми дивчинами, стройными парубками, залитыми солнцем полями. И он по памяти, словно стихи, прочел Пушкину: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь

потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи». Гоголь замолк, как-то сразу погаснув. Пушкин, заметив его погрустневшее лицо, заговорил:

— Вы чудесно показали свежие картины малороссийской природы!..

Гоголь с радостью выслушивал похвалы Пушкина. Да, он будет писать для «черни», для кучера Грицко, для кузнеца Вакулы, для смешливой Оксаны и для всепонимающего Пушкина!

Они молча подошли к Александровскому дворцу и, поднявшись на второй этаж, оказались в апартаментах воспитателя наследника. Жуковский встретил их в халате, мягких войлочных туфлях: ему нездоровилось.

Разговор зашел о недавних событиях в военных поселениях Новгородской губернии. В этих поселениях, устроенных по проекту Аракчеева, царила палочная дисциплина, применялись свирепые наказания солдат, господствовал дикий произвол аракчеевских ставленников. Солдаты не выдержали этого ада и восстали против своих мучителей. К ним присоединились окрестные крестьяне, которые стали громить соседние имения.

— Ужасы! Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны, — взволнованно сообщал Пушкин. — Бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых. Действовали мужики, которым полки выдавали своих начальников! Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы!

Жуковский рассеянно гладил спинку кресла, не пытаясь утихомирить гневный пыл Пушкина. Его положение человека, близкого к правительственным сфе-

рам, было сложным и трудным. Не сочувствуя жестокому произволу Аракчеева и его присных, Жуковский в то же время стремился сгладить, смягчить остроту возникавших вопросов. Человек высокой душевной чистоты, он должен был с осторожностью высказывать свои мысли в атмосфере чинного дворцового этикета.

— Так как вы считаете, Василий Андреевич? — не унимался Пушкин, который по старой привычке говорил Жуковскому «вы», тогда как Жуковский обращался к нему на «ты». — Что будет с нашей литературой?

— Ничего, Александр Сергеевич! Она не погибнет, — отвечал, подумав немного, Жуковский. — Вот ты пишешь, наш Гоголек порадовал своими сказками...

— Да и вы, Василий Андреевич, говорят, тоже написали чудесную сказку? — скромно заметил Гоголь.

— О царе Берендее и его сыне Иване-царевиче, — добавил Жуковский.

— А Пушкин закончил сказку о царе Салтане, прелести неизъяснимой, — произнес Гоголь. — Видите, сказочники теперь в ход пошли!..

— Есть у нас предания и сказки народа нашего, — серьезно сказал Пушкин, — которые обогатят нашу словесность, сделают ее истинно народной! Прислушайтесь к народу, учитесь языку у просфирен, молодые писатели! — обратился он к Гоголю.

— Мне кажется, — восторженно воскликнул Гоголь, — что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол на славу векам... — На глазах Гоголя показались слезы. Он смутился своего неожиданного порыва и стал прощаться. — Извините мою несвязную болтовню. Будьте здоровы!

— Да, здоровье теперь самое главное дело! — сказал Пушкин, стараясь переменить тему разговора. — Вот бедный Дельвиг помер. Говорили, что помер и граф Хвостов, но, оказывается, его зря похоронили. Он жив и торчит в литературе каким-то ку-

кишем похабным. Даже холера его не берет! На этих днях он прислал мне свое послание, тряхнул стариною:

Приближася похода к знаку,
Я стал союзник Зодиаку;
Холеры не любя пилюль,
Я пел при старости июль... —

Пушкин рассмеялся. — Я даже запомнил эти стихи его сиятельства — союзника Водолея, Рака и Козерога!

Гоголь незаметно вышел из комнаты, спустился по широкой мраморной лестнице вниз и быстро зашагал к Павловску, в свою убогую комнатушку. Навсегда запомнился ему этот сияющий день: Пушкин, зеленые аллеи Царскосельского парка, белоснежные лебеди, колоннада Александровского дворца...

Юность кончалась. Стоял жаркий августовский день 1831 года. В Петербурге была холера. В Новгороде мужики подымали на вилы ненавистных им угнетателей. Задорный смех украинских дивчин и парубков стал до него доноситься все отдаленнее, глуше. Впереди намечались суровые и трудные дни, а может быть, годы?

Надо было уезжать из Павловска. Вернуться в призрачный и таинственный Петербург. Разобраться в суровых и страшных противоречиях жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Петербург

В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души.

Н. Гоголь, «Портрет»

«НОВОСЕЛЬЕ»

В августе 1831 года, когда Гоголь вернулся из Павловска в Петербург, в городе было снова людно. Холера окончилась так же внезапно, как и началась.

Он поселился в излюбленной им части города на Офицерской улице, между Вознесенским проспектом и Екатерининским каналом. Здесь проживали мелкие чиновники, ремесленники, торговцы и прочий разночинный люд столицы. Осенние ветры вызвали наводнение: улицы и дворы домов по Мещанской и каналу были наполнены водой. Приходилось пробираться домой с превеликим трудом.

Однажды он встретил на Вознесенском проспекте Пушкина, столь же легкого, стремительного, благожелательного, как раньше. Тот также возвратился из Царского Села и поселился неподалеку. Гоголь затащил его к себе «на чердак», как называл свою скромную квартирку под самой крышей. Шутя и робея, предложил он Пушкину издать вместе с ним и князем Одоевским альманах «Тройчатку», в котором чердак предоставлялся бы Рудому Паньку, гостиная — Гомозейке-Одоевскому, а подвал — Белкину-Пушкину *. Пушкин посмеялся на это предложение и обещал подумать о нем. Это была радостная встреча, но она слишком скоро закончилась, и к вечеру на чердаке Рудого Панька все снова стало скучно и темно.

Наконец вышли из печати «Вечера», и Гоголь с гордостью разослал их друзьям. «Насилу мог я управиться с своею книгою и теперь только получил экземпляры для отправления вам, — сообщал он Жуковскому в письме от 10 сентября 1831 года. — Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий, с сентиментальной надписью, для Россети **, а остальные тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно из типографии в Цензурный комитет, из Цензурного комитета в типографию и, наконец, теперь только перевел дух».

Поздравляя свою «бесценную и несравненную маменьку» с днем ангела, Гоголь также посылал ей книжку «Вечеров» и добавлял: «Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем...» В этих словах сказалась и гор-

---

* Это распределение по «этажам» вызвано было тем, что герои петербургских повестей Гоголя — бедные чиновники и художники, ютятся в более дешевых верхних этажах. Князь В. Ф. Одоевский (писавший под псевдонимом «Гомозейки») являлся автором повестей из жизни светского общества, действие которых происходило в гостиных. «Подвал» отводился Пушкину как автору «Повестей Белкина», в числе которых имелась повесть «Гробовщик» из быта ремесленников, помещавшихся нередко со своими мастерскими в подвалах.

** Девическая фамилия А. О. Смирновой.

дость и желание показать матери, что занятия литературой для него дело несерьезное. Он ведь теперь стал заправским педагогом. Благодаря хлопотам Жуковского и Плетнева он еще с весны был утвержден старшим учителем истории в Патриотическом институте в чине титулярного советника. Это создает положение в обществе. Он может теперь помочь родным. Гоголь предлагает в своем письмо к матери поместить младших сестер Анну и Лизу в институт на казенный счет, обещая использовать для этого свои связи и влияние: «Если бы вы знали, моя бесценная маменька, какие здесь превосходные заведения для девиц, то вы бы, верно, радовались, что ваши дочери родились в нынешнее время», — уверяет он мать. Еще бы! Ведь в таком институте и преподает ее сын.

Перед ним теперь открылся путь ученого. Он займется наукой, историей, станет профессором, видным ученым. Это, пожалуй, важнее, чем выступать в качестве пасечника Рудого Панька. Но и с литературой трудно расстаться.

Не покладая рук он работает над завершением второй книги «Вечеров». Какие уж там часы досуга! У него столько новых планов и замыслов. Он собирает украинские песни и летописи, работает над написанием истории Украины и всемирной истории. Правда, пока это еще только предварительные наброски, планы больших трудов. Они рождались из увлекательных рассказов о прошлом народов Европы и Азии на уроках в Патриотическом институте, где его слушали с наивным восхищением миловидные девицы.

Зимой он снова встретился с Пушкиным и Жуковским. Жуковский пригласил его бывать на его субботах в Зимнем дворце: там собирался избранный круг столичных литераторов. Эти вечера вновь оживили в Гоголе интерес к литературе. С увлечением прочел он новую пьесу Пушкина «Моцарт и Сальери», помещенную в «Северных цветах». Под ее впечатлением Гоголь писал Саше Данилевскому, который поступил на военную службу и уехал на дале-

кий Кавказ: «Тут в «Северных цветах» ты найдешь Языкова так прелестным, как еще никогда, Пушкина чудную пиесу «Моцарт и Сальери», в которой, кроме яркого поэтического создания, такое высокое драматическое искусство...»

Жизнь входила в новую колею. Гоголь не был уже более безвестным, нищим чиновником, искавшим покровительства какого-нибудь столоначальника, неудачливым автором, вынужденным скупать экземпляры нераспроданной поэмы. «Вечера на хуторе» утвердили его литературную известность, получили горячее одобрение самого Пушкина, напечатавшего в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» восторженную рецензию на них. Пушкин писал в своем отзыве: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился».

Гоголь теперь известный писатель, близко знакомый с цветом столичной литературы. Даже фрейлина императрицы красавица Россети оказывает ему благосклонное внимание. Он обидчиво выговаривает матери, которая в своем письме рекомендовала ему познакомиться с влиятельным человеком: «Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра».

Он получил лестное приглашение на обед, устраиваемый по случаю открытия книжного магазина и библиотеки для чтения А. Ф. Смирдина в новом помещении на Невском проспекте. Книготорговец Смирдин издавал дешевые, хорошо оформленные книги русских писателей, старых и современных. Теперь он перевел свой книжный магазин в только что отстроенный правый флигель Петровской лютеранской церкви. Магазин занял первый этаж; сюда же, во второй этаж, перешла и библиотека. В магазине книги были расставлены по-новому: в застекленных шкафах красного дерева. Вежливые приказчики давали советы

покупателям и проворно удовлетворяли их требования. Над магазином в обширных залах расположилась библиотека — самая богатая из тогдашних книгохранилищ. «Все напечатанное по-русски находится у г. Смирдина, — восторженно объявляла «Северная пчела», извещая о торжественном обеде, — все, что вперед будет напечатано достойного внимания, без всякого сомнения, будет у г. Смирдина прежде, нежели у других, или вместе с другими».

В пятницу 19 февраля 1832 года состоялось торжественное открытие библиотеки и парадный обед в честь приглашенных гостей. Обеденный стол накрыт был в большой зале библиотеки посреди шкафов с книгами. В шестом часу гости уселись за стол. Здесь были писатели нескольких поколений, начиная со старейшего — дедушки Крылова — и кончая молодежью, лишь недавно вступившей на литературное поприще. На почетном конце стола, возглавлявшемся грузной фигурой Крылова, сидели Пушкин, Жуковский, Вяземский. Но наряду с ними присутствовали и Булгарин и Греч. Когда уже готовились приступить к еде, появился граф Хвостов, прочитавший сочиненные им по этому случаю приветственные стихи в честь Смирдина:

Угодник русских муз, свой праздную юбилей,
Гостям шампанское для новоселья лей,
Ты нам Державина, Карамзина из гроба
К бессмертной жизни вновь, усердствуя, воззвал
Для лавра нового, восторга и похвал.
Они отечество достойно славят оба,
Но ты к паренью путь открыл свободный.
Мы нашим внучатам твой труд передадим.

Этим старомодным тяжеловесным стихам все дружно поаплодировали. Затем был провозглашен тост за почтеннейшего Александра Филипповича. Потом последовали многочисленные тосты в честь Крылова, Жуковского, Пушкина, Вяземского и самого графа Хвостова. Не обошлось и без небольшого скандала. Заметив, что бывший лицеист цензор Семенов сидит между Булгариным и Гречем, Пушкин не пре-

минул съязвить по их адресу. Обращаясь к Семенову, он крикнул через весь стол:

— Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе между двумя разбойниками!

Все засмеялись и зааплодировали. Булгарин позеленел и задохся от бешенства. Греч попытался разрядить атмосферу.

— Я был бы глупцом, если бы рассердился на эту милую шутку, — сказал он, дружелюбно улыбаясь. — Я понимаю значение журналиста и никогда прозвищем разбойника не обижусь!

Инцидент этот вскоре был забыт. Гости дали обещание Смирдину предоставить для затеваемого им альманаха «Новоселье» свои новые произведения. Гоголь обещал дать повесть о ссоре двух миргородских помещиков.

После окончания обеда Гоголь встретил Пушкина в книжном магазине и заговорил с ним об его статье «Торжество дружбы», подписанной смешным псевдонимом Феофилакта Косичкина. В этой статье Пушкин иронически сравнивал бездарные романы Булгарина, его нашумевшего «Ивана Выжигина» с лубочными, аляповатыми повестушками Александра Анфимовича Орлова, бойко продававшимися на рынках и имевшими успех у малограмотных читателей. Статья Пушкина, которая появилась в московском «Телескопе», очень понравилась Гоголю, и он предлагал продолжить полемику с ненавистным всем доносчиком и плодовитым писакой, потрафлявшим вкусам мещанского читателя.

— Следовало бы проучить этого литературного спекулянта, — горячо убеждал Гоголь. — Можно было бы написать статью о его новом романе «Петр Выжигин», в котором рассказывается о похождениях Выжигина-сына во время Отечественной войны. Можно под видом рассказа о похождениях этого пройдохи напомнить читателям биографию самого Булгарина, перебежавшего во время войны на сторону врагов России.

Пушкин слушал Гоголя с дружеской улыбкой, глядя на него своими живыми, умными глазами.

В это время через лавку прошел толстый лысый Булгарин, похожий на разжиревшую крысу. Он подозрительно посмотрел на них и быстро проскользнул к выходу. К Пушкину и Гоголю подошел Соллогуб, как всегда франтовски разодетый и надушенный парижскими духами. Взглянув вслед Булгарину, он насмешливо произнес:

Коль ты к Смирдину войдешь,
Ничего там не найдешь,
Ничего ты там не купишь,
Лишь Сенковского толкнешь...

Пушкин, лукаво смеясь, добавил:

Иль в Булгарина наступишь!

— Да, Смирдин опутал себя всякими обязательствами, накупил для издания романы Булгарина и Греча. Нам необходимо подорвать монополию этих братьев-разбойников! Нужно самим издавать журнал. Вот автор, которого следует привлечь в первую очередь! — добавил Пушкин, показывая на Гоголя.

Они вместе покинули магазин и направились по Невскому проводить Пушкина.

Дорогой Гоголь рассказывал Пушкину о своих планах на будущее, о работе над новыми повестями, описывающими жизнь столицы. Он был в приподнятом настроении и даже похвастался перед Пушкиным своим успехом. Его «Вечера» охотно читают и смеются забавным похождениям их героев. Правда, Булгарин, как ему передавали, ворчит, что публика в них утирает нос полою своего балахона и жестоко пахнет дегтем! Но этот завистник не может ему повредить. А на днях должна выйти и вторая книга «Вечеров»! В ней есть вещи и посерьезнее. Там он поместил повесть об Иване Федоровиче Шпоньке. Это уже не веселые шутки и смешные герои, а кусок подлинной жизни. Один из тех мелкопоместных панков, которых он, Гоголь, так хорошо знал и по Васильевке и по Нежину. Что-то теперь скажет Булгарин?

ПОЕЗДКА В ВАСИЛЬЕВКУ

Весна 1832 года была на редкость холодная, со снегом. Гоголь затосковал по солнцу и теплу Украины. А тут еще надо было устраивать младших сестриц. Матушке не под силу воспитать их и дать образование в деревенской глуши. Ему с трудом удалось выхлопотать, чтобы сестер поместили в Патриотический институт, но для этого необходимо привезти их из Васильевки. Все выходило так, что надо ехать домой, на родину. Он написал Саше Данилевскому и Красненькому, чтобы собраться вместе в Васильевке, и стал готовиться к отъезду.

Но прежде следовало по дороге побывать в Москве. В Москве его ждали новые знакомства. Историк М. П. Погодин, артист М. С. Щепкин, критик С. П. Шевырев, литератор С. Т. Аксаков и многие другие уже знали Рудого Панька по его «Вечерам» и жаждали с ним встретиться и познакомиться, расспрашивали о нем своих петербургских знакомых. 9 июня 1832 года Гоголь подал заявление о каникулярном отпуске из Патриотического института на имя статс-секретаря ведомства императрицы Марии — Н. М. Лонгинова, под чьим начальством находился институт, и в конце июня уже смог отправиться в путешествие. Ехать пришлось в холодную дождливую погоду; он простудился и приехал в Москву больным.

Остановился Гоголь в гостинице. Через несколько дней явился к нему Погодин и повез к себе на Девичье поле. Там он недавно купил дом и оборудовал для своего обширного «древлехранилища» старинных документов и книг. Погодин только что получил кафедру русской истории в Московском университете и пользовался большим научным авторитетом. Он был известен и как писатель и журналист. Его повести из купеческого быта, его исторические драмы имели успех. Выходец из крепостных, это был на редкость трудолюбивый человек, глубоко преданный науке и литературе. Однако по своим взглядам он являлся консерватором, сторонником правительства. Погодин сразу почувствовал талант молодого автора «Вечеров». Го-

голь признался, что сейчас более всего его увлекают планы научной работы, что он много занимается всемирной историей и в особенности историей казачества. Пылкий живой рассказ Гоголя о происхождении казачества увлек даже сухого и недоверчивого Погодина.

— Появление казачества можно отнести к началу четырнадцатого века, — говорил Гоголь слегка наставнически, как на уроках в институте. — Это были беглецы с севера России, Украины, бежавшие от татар, ограбленные россияне, убежавший от деспотизма панов польский холоп. Они положили начало этому обществу по ту сторону Днепра и составили тесное братство. Все было у них общее: вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Казак более заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в их нападениях на врагов видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться обстоятельствами. Этот же самый казак после набега гулял и бражничал со своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега.

— Вы рассказываете, как поэт,—заметил Погодин.

— Но какая же это история, если она скучна! — ответил в тон ему Гоголь.

Восхищенный Погодин повел молодого писателя к своим друзьям Аксаковым.

Аксаковы жили тогда на Арбате, в Афанасьевском переулке. Это была большая дружная семья. Сыновья Аксакова Константин, Иван, Григорий в то время еще находились в отроческом возрасте. Сам Сергей Тимофеевич, известный театрал и критик, своим здравым умом, прекрасным знанием литературы и широким радушием привлекал к себе многочисленное московское общество литераторов и актеров.

Когда Гоголь с Погодиным пришли в гостеприимный домик, глава семьи находился у себя в кабинете, помещавшемся в мезонине, и играл с друзьями в бостон. В комнате было жарко, все сидели без пиджаков. Появление Погодина в сопровождении молодого чело-

века лет двадцати сразу привлекло общее внимание. Наружность Гоголя сразу бросалась в глаза. Белокурый хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие, крепко накрахмаленные воротнички придавали его юному лицу несколько задорный, даже вызывающий вид. Щегольской пестрый жилет, золотая цепочка еще больше подчеркивали эту франтоватую внешность.

— Вот вам Николай Васильевич Гоголь! — отрекомендовал вошедшего Погодин.

Сергей Тимофеевич надел сюртук и приветливо пожал Гоголю руку. Разговор не вязался. Гоголь просил продолжать игру. Выручил пятнадцатилетний сын Аксакова Константин. Узнав о приезде Гоголя, он бросился к нему и с юношеским пылом стал рассказывать, с каким восторгом все домашние читали «Вечера». Тем не менее Гоголь продолжал держаться замкнуто. Сказал, что приехал в Москву больным, пожаловался, что сильно похудел, что сюртук висит на нем, как на вешалке. Он даже не остался на ужин, несмотря на уговоры хозяина, лишь попросил познакомить его с Загоскиным, прославившимся тогда своими романами «Юрий Милославский» и «Рославлев».

Дня через два Гоголь зашел за Погодиным, и они вместе отправились к Загоскину. Дорогой разговорились. На восторженные комплименты Погодина, расхваливавшего «Вечера на хуторе», Гоголь отвечал сухо и немногословно. Он жаловался на свои болезни, говорил, что болен неизлечимо.

— Да чем же вы больны? — удивленно спросил Погодин, смотря на него своими недоверчивыми глазами.

— Я все время чувствую боль в груди и тяжесть в желудке, — ответил Гоголь. — Причина болезни в кишечнике, но в чем она, врачи точно сказать не могут.

Разговор зашел о Загоскине. Гоголь похвалил его комедии за веселость, но сказал: он не то пишет, что требуется для театра.

— Действия нет вовсе. Лица не взяты с природы!

Погодин возразил, что писать не о чем, что кругом

все однообразно и пусто, неоткуда взять подлинно комический сюжет.

— Это неправда, — воодушевился Гоголь. — Комизм кроется везде. Живя посреди него, мы его не видим. Но если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же будем валиться от смеху и удивляться, что прежде не замечали.

Загоскин встретил их с шумливой радостью. Он бросился навстречу с распростертыми объятиями, несколько раз принимался обнимать и целовать и Гоголя и Погодина, бил Погодина кулаком в спину, называл хомяком, сусликом. Говорил без умолку о себе, о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих литературных и археологических трудах.

Словом, стремился показать себя в наивыгоднейшем свете.

Гоголь спокойно его выслушивал, делая вид, что верит всем этим непревзойденным достоинствам хозяина, и переводил разговор на самые обыкновенные, будничные темы, рассматривая шкафы с книгами. Загоскин начал хвастаться книгами, показывая якобы совершеннейшие редкости, затем стал хвастаться шкатулками, табакерками. Наконец вытащил раскидное кресло с пружинами и так прищемил руку севшему в него Погодину, что тот закричал от боли. Гоголь даже не улыбнулся, вынул часы и сказал, что ему пора идти. Раздобревший, похожий на старого барсука Загоскин был в отчаянии.

Впоследствии Гоголь не раз вспоминал эту сцену с креслом и очень смешно рассказывал ее под хохот слушателей, показывая, как беспомощно пытался вырваться из кресла-мышеловки Погодин.

Гоголь прекрасно понял самодовольную ограниченность и мелочность Загоскина и предпочел укрыться от него ничего не значащим разговором. Он уже научился разбираться в людях. С разными людьми он сам казался разным человеком. С теми, кому симпатизировал, любил пошутить, посмеяться, поговорить по душам, почитать вслух стихи Пушкина или Языкова. Но с теми, кто был ему антипатичен, он

упорно молчал или говорил о предметах самых незначительных.

Новым московским знакомством была и встреча с Иваном Ивановичем Дмитриевым. Это был наряду с Крыловым патриарх литературы. Он доживал свой век в большом доме с садом, дописывал мемуары и охотно принимал гостей. Сухонький стройный старичок, бывший министр, друг и современник Карамзина, он был остроумен и шутлив на старинный манер. Он хорошо помнил екатерининское время и забавно рассказывал истории и анекдоты о людях далекого прошлого. Гоголю он понравился своими изящными манерами, острым умом, живым интересом к происходящему вокруг него. Дмитриев был как бы символом старой дворянской Москвы, с ее недоверием к Петербургу, с ее маленькими деревянными особняками, тихими улочками, на которых пробивалась трава, с ее пышными и сытными обедами.

Подружился Гоголь и с Михаилом Семеновичем Щепкиным — знаменитым русским актером, еще в недавнем прошлом крепостным. Гоголь видел игру Щепкина в Петербурге во время приездов артиста на гастроли и высоко оценил ее правдивость. Приехав в Москву, он поспешил явиться к своему прославленному земляку. Щепкин в это время обедал в кругу своей семьи и друзей. Дверь из столовой в переднюю была настежь открыта, и в середине обеда в нее вошел новый, незнакомый большинству присутствующих гость. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех быстрым взглядом, проговорил слова известной украинской песни:

Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду:
Ой, чи живы, чи здоровы
Вси родичи гарбузовы?

Михаил Семенович бросился к нему навстречу, и они крепко обнялись. Так встретились в первый раз два художника, которые при всем несходстве характеров и разнице в летах стремились к одной цели —

показать подлинную правду жизни: Гоголь — в литературе, Щепкин — на сцене.

Гоголя усадили за стол, и он смешил общество, рассказывая комические происшествия с совершенно серьезным видом. После обеда хозяин увел гостя к себе в кабинет. Щепкину Гоголь признался, что у него вертится на уме комедия смешнее черта. Щепкин взял с него слово, что как только она будет закончена, Гоголь ему пришлет ее.

Быстро промелькнули полторы недели, проведенные в Москве. Новые знакомства — Погодин, Аксаков, Щепкин, Дмитриев — прочно связали Гоголя со старой столицей.

Здоровье тоже несколько окрепло. Можно было ехать дальше. И вот замелькали постоялые дворы, деревянные города — Подольск, Тула, Орел, Курск.

Наконец показалась живописная, зеленая Полтава, за нею Миргород со своими плетнями, белыми хатами и огромной, никак не высыхавшей лужей посреди города.

Сразу по приезде в Васильевку Гоголь написал Погодину: «Наконец я дотащился до гнезда своего, бесценный мой Михаил Петрович, проклиная бесконечную дорогу и до сих пор не опамятовавшись после проклятой езды. Верите ли, что теперь один вид проезжающего экипажа производит во мне дурноту. Что-то значит хилое здоровье! Приехавши в Полтаву, я тотчас объездил докторов и удостоверился, что ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, чем этот. У каждого свои мнения, и иные из них так вздорны, что удивляешься, как и откуда залезли в глупые их головы...» В заключение письма Гоголь просил Погодина переговорить с книгопродавцами, не купят ли они второе издание «Вечеров на хуторе», так как ему очень нужны деньги.

В Васильевке было все по-старому. Деревья ломились от плодов, куры, петухи, гуси, утки в несметном количестве важно расхаживали по двору и около пруда, за околицей уже колосилась золотая тяжелая пшеница, а в доме, как всегда, не было денег, чтобы заплатить налоги, отправить сестриц в институт. Ма-

рия Ивановна, несколько располневшая, но еще очень подвижная и моложавая, без конца суетилась и хлопотала по хозяйству. Особенно озабочена она была оборудованием кожевенного предприятия, ожидая от него немалого дохода. Однако мастер, который должен был его строить, то надолго уезжал, как он уверял, для покупки оборудования, то напивался мертвецки пьян, и тогда работы останавливались. И все это требовало денег и денег, которых с каждым годом становилось труднее и труднее добывать.

Гоголь отдыхал, ленился, целыми днями лежал без сюртука на ковре в тени под широкою яблоней, играл с сестричками, оказавшимися совершенными дикарочками. О своей жизни и наблюдениях над краем он написал другу Карамзина поэту Дмитриеву: «Теперь я живу в деревне совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню: так краски его ярки и сходны со здешней природой. Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приняться за мануфактуры и фабрики, но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами. Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери; если бы одна только лишняя тысяча, оно бы в три года пришло в состояние приносить шестерной против нынешнего доход. Но деньги здесь совершенная редкость».

После суровых испытаний и неурядиц столичной жизни на Гоголя повеяло миром, покоем безмятежного, сонного существования. В его голове постепенно складывалась повесть о старосветских помещиках, добрых, милых, нежно и заботливо любящих друг друга. Вспомнился отец, Василий Афанасьевич, так трогательно обожавший свою «белянку». Бесконеч-

ные хлопоты и заботы Марии Ивановны, с утра до вечера следившей за хозяйством, важно повелевавшей дворовыми девушками и робко журившей плутаприказчика, проходили перед ним. Он уже мог представить всю обстановку задуманной повести до того явственно, что, казалось, достаточно просто перенести ее на бумагу.

Гоголь записал начало повести: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиной и грушами».

Ему вспомнились и те старички, которых он в детстве встречал по дороге в Обуховку, их уютный домик, их всегдашнее гостеприимство. Уют и тишина Васильевки, изобилие ее плодов рождали сожаление по этой неподвижной жизни, уходящей в прошлое, на смену которой вырастали кожевенные заводы, приходила погоня за деньгами, распад уединенных, милых его сердцу уголков старой, патриархальной Малороссии.

Незаметно прошло лето. Осень стояла теплая, прозрачная. Давно пора уже было ехать в Петербург, но Анета и Лиза захворали корью, и пришлось ожидать, пока болезнь не прошла. Наконец 29 сентября 1832 года Гоголь выехал с сестрами из Васильевки, сопровождаемый напутствиями матери и всех домашних. По дороге пришлось на целую неделю застрять в грязном и унылом Курске: сломался экипаж. Почтовые станции, станционные смотрители, ямщики — все это без конца сменялось на протяжении долгого пути. Лиза и Анета капризничали, не привыкнув к дорожной жизни; экипаж не раз приходилось снова чинить, и только через месяц Гоголь добрался до столицы.

По приезде сразу же начались хлопоты по устройству сестриц. Необходимо было приступить и к чтению лекций. Все это отнимало много времени и сил.

Наконец сестры устроены. Жизнь вошла в свою

колею. Гоголь снова засел за работу. Он писал книгу «Миргород» под свежим впечатлением от встречи с Украиной.

МЕЧТЫ И ДУМЫ

С возвращением в Петербург наступила пора усиленного труда, напряженной каждодневной работы, продолжавшейся нередко за полночь. Гоголь теперь уже не получал вознаграждения в Патриотическом институте — его жалованье удерживалось за воспитание сестер. Мать совершенно запуталась в своих хозяйственных делах: «фабрикант», который должен был наладить кожевенную фабрику, оказался не только пьяницей, но и жуликом. Он пропил все, что было возможно, и сбежал, бросив на произвол судьбы недооборудованное предприятие. Мария Ивановна очутилась в неоплатных долгах, пришлось спешно перезакладывать имение, и Гоголь вынужден был урывать скудные гроши, чтобы помочь семье.

Но, конечно, не только материальные нужды заставляли его погрузиться в литературную работу. Голова его была переполнена замыслами, наблюдениями, образами, которые рвались на бумагу.

Он переехал на новую квартиру на Малой Морской, в доме Лепена. Квартира выходила окнами во двор и состояла из двух небольших комнат. По темной, неопрятной лестнице посетитель попадал в маленькую переднюю с перегородкой, за ней следовала спальная, в которой обычно принимались гости и подавался чай. Другая комната, попросторнее, служила кабинетом. В ней у стены стоял простой диван, у окна помещался большой письменный стол, заваленный книгами, а рядом конторка, за которой, стоя, обычно писал Гоголь.

Стены кабинета были украшены английскими гравюрами с изображением видов Греции, Индии, Персии. Гоголь восхищался тонкой работой граверов на стали, искусством светотени, точностью рисунка.

В этой скромной квартирке нередко собирались друзья. Бывал Пушкин, Плетнев, Анненков, нежин-



Гоголь. Портрет работы художника Венецианова. 1834 год.



Тарас Бульба. Рисунок художника Кибрика

ские однокашники. Гоголь угощал гостей крепким чаем и сладкими кренделями, до которых был большой охотник. За чаем начинались шумные беседы, споры о литературе. Друзья назывались в шутку по именам модных французских писателей: Павел Васильевич Анненков прозван был Жюль-Жаненом, а один из нежинских приятелей получил даже кличку Софьи Ге, популярной тогда французской романистки.

Анненков вспоминал об одном из таких чаепитий. Он несколько опоздал и пришел, когда все уже сидели за столом. «Вот, вы как раз поспели! — обратился к нему Гоголь. — Сегодня кренделя, куплены на вес золота!»

Среди присутствующих был пожилой человек, врач-психиатр, который подробно рассказывал о поведении и привычках сумасшедших, о строгой, почти логической последовательности, замечаемой у них в развитии их нелепых идей. Гоголь подсел к нему. Он особенно ценил разговоры с бывалыми людьми. Мог целые часы проводить с фабрикантом, мастеровым, конным заводчиком, с любым человеком, хорошо знающим свою специальность. И все сведения, полученные от таких бесед, Гоголь тщательно записывал на отдельных листочках, которые у него хранились про запас.

Как-то раз, когда он был в гостях у Анненкова, там присутствовал малозначительный чиновник, в поношенном синем фраке и с испитым, осунувшимся лицом. Речь зашла о необыкновенных случаях в жизни, и этот неказистый, робеющий в обществе литераторов чиновник решился рассказать случай, который произошел с его сослуживцем.

— Жил очень одинокий и бедный канцелярист, усердно переписывавший бумаги, — начал он свой рассказ. — Но, как это ни удивительно, у него была одна непомерная страсть. Он любил, просто даже удивительно как, охоту, — охоту на уток. Ценой непомерных лишений и каждодневной экономии скопил он сумму, достаточную для покупки ружья. И купил — поверите ли — хорошее лепажевское ружье

страшной цены — рублей в двести! — Тут рассказчик остановился и для придания значительности своему повествованию сделал паузу. — И вот в первый же раз, как пустился этот чиновник на своей лодчонке по Финскому заливу, положив драгоценное ружье на нос суденышка, и находился, понимаете сами, в каком-то самозабвении, его ружье было стянуто с лодки густым тростником. Только он пришел в себя, видит, а ружья-то и нет! Он туда-сюда — тщетно. Ружье затонуло. Возвратился мой знакомец домой и слег в постель, да уж больше и не вставал: горячка его схватила. Ну, мы, товарищи по службе, пожалели его, подписку устроили. Кто сколько мог дал. Купили ему новое ружье. Выздоровел наш приятель, только как вспомнит о страшном событии, то лицо смертельной бледностью так и покроется.

Гоголь очень заинтересовался рассказом, и, даже когда все окружающие засмеялись этому анекдоту, он оставался задумчив и сидел, опустив голову.

По вечерам Гоголь обычно становился за конторку и писал. Он любил писать на больших листах конторских книг, из простой бумаги с кожаными корешками, служащих обычно для записывания входящих и исходящих бумаг в канцеляриях. В этих тетрадях Гоголь набрасывал черновые, первоначальные тексты своих произведений, планы, замыслы. Мелким, нечетким, несколько женским почерком он очень тесно, не оставляя ни полей, ни клочка свободного места, исписывал всю страницу, без всякой системы, без нумерации, рыжеватыми, как бы несколько выцветшими чернилами. Буквы сплетались в длинные, однообразные строчки, которые иногда слегка подымались или опускались, словно выражая внутренний ритм фразы. Помарки и поправки он делал тонкими, почти незаметными буквами над строкой.

Замыслы и планы перегоняли друг друга, сталкивались на одной и той же странице. Вот на листе набросано начало статьи «Скульптура, живопись и музыка», прерванное на седьмой строке. Тут же тщательно выведено «Повесть из книги под названием:

«Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16 линии». Несколько строк так и не оконченного рассказа об улице, озаренной странным блеском одинокого фонаря. А дальше начальные фразы «Невского проспекта»: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге...» Через несколько страниц наброски статьи «Шлецер, Миллер и Гердер», а за нею четыре строки из окончания «Записок сумасшедшего». Мы словно видим здесь, как щедро роились замыслы Гоголя, как неисчерпаем был его творческий порыв, избыточность, творческое богатство писателя.

Наряду с работой над художественными произведениями много времени и сил он отдавал занятиям историей, чтению источников, научных исследований, монографий. В его тетрадях — выписки из редких книг и источников, конспекты, записи собственных мыслей. Здесь и рассуждение о местожительстве славянских народов, и заметки «О варягах», «Союзы государей европейских с русскими», «Век Людовика XIV», наброски лекций о Мидии и персах, о «Распространении норманнов», об «Италии до вестготов» и многое другое. Сколько нужно было подвижнического труда, неутомимой работы, тщательного изучения, чтобы накопить эту массу материалов!

Интерес к истории приобретал у Гоголя все более и более властный характер. Он строит свои планы, свою будущую жизнь, исходя уже из надежды на ученую карьеру, на создание исследования по всемирной истории и всемирной географии, которое уже получило и громкое название «Земля и люди». В феврале 1833 года он сообщает о своей работе над ней в Москву Погодину: «Едва начинаю и что-нибудь совершу из истории, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один — друг. Но не могу, не в силах. Чорт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего

времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу».

Гоголь подходил к истории не как дилетант, как читатель занимательных анекдотов. Он глубоко продумал самые принципы исторического изучения, хорошо знаком был с работами наиболее крупных историков своего времени: Гердера, Шлецера, Миллера, с новыми французскими историками — Мишле, Гизо. Внимание Гоголя привлекал самый процесс исторического развития, грандиозные картины прошлого человечества. Он писал: «Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконец, достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека, кровавыми трудами борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями, — вот цель всеобщей истории!» И эту головокружительную, грандиозную цель поставил перед собой Гоголь.

Он решительно критиковал историков, ограничивающихся собиранием отдельных фактов, описанием событий. Особенно близка сердцу Гоголя была героическая, полная драматических эпизодов история украинского народа, которая привлекала его своей красочностью, своим поэтическим обаянием. У него возникла мысль написать историю казачества.

На почве любви к украинской старине и к украинской песне Гоголь близко сошелся со своим земляком Максимовичем. Михаил Александрович Максимович был профессором ботаники Московского университета, но его влекла неудержимая страсть к изучению украинских песен, языка, этнографии, истории. Максимович навещал Гоголя, привозил ему

новые песни, собиранием которых он много лет занимался. Между ними завязалась оживленная переписка.

Работая над историей Украины, Гоголь прежде всего обращался к песням.

В письме к Максимовичу от 9 ноября 1833 года он сообщал: «Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили.

Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Ходаковского. Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с жадностью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!»

Гоголь даже поместил в газетах объявление о том, что он готовит издание «Истории малороссийских казаков», сочинение Н. Гоголя, автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Вскоре приехал из Москвы и сам Максимович. Он привез объемистую тетрадь украинских песен. Михаил Александрович решил перебираться в Киев и склонял к этому и Гоголя.

— Мне надоел Петербург, — жаловался Гоголь, — или, лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобою киевские кафедры. Много можно будет наделать добра!

Максимович горячо убеждал своего друга, доказывая, что кафедру истории он легко может получить, если за него похлопочут Жуковский и Плетнев перед министром просвещения. А то есть опасность, что тамошний попечитель Брадке заполнит университет немцами.

— Нужно будет стараться кого-нибудь из известных людей туда впихнуть, истинно просвещенных и

так же чистых и добрых душою, как мы с тобою, — согласился Гоголь. — Хотя бы для святого Владимира * побольше славян.

Максимович уехал. Гоголь принялся настойчиво хлопотать. Но ни ходатайство Жуковского, ни Плетнев, ни Пушкин, принявший горячее участие в этом деле, не смогли пересилить упрямого немца. Молодому литератору, окончившему Нежинскую гимназию, киевский попечитель предпочел адъюнкта Харьковского университета Цыха, тоже немца. Гоголь был сильно расстроен этой неудачей.

В лирической заметке, посвященной новому, наступающему 1834 году, Гоголь писал: «Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, — этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр...» Гоголь мечтает уйти от меркантильности Петербурга, его доходных домов, вопиющих противоречий блеска и бесцветности, роскоши и нищеты. Он обращается к своему гению, к мечте о всемирной гармонии, красоте, блаженстве человека: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!»

Эта лирическая исповедь, эта мечта поэта о гармоническом мире, о счастье человека была тем взволнованнее и проникновеннее, чем мрачнее и безысход-

---

* Киевский университет носил имя св. Владимира, великого князя Киевского, принявшего христианство.

нее было все то несправедливое, низменное, продажное, что его окружало. Мечта о всеобщей гармонии, об освобождении человека от пошлости окружающего сказалась и в ряде статей, написанных с тем же вдохновенным пафосом и включенных вскоре в сборник «Арабески». Эти статьи проникнуты страстной любовью к человеку, тревожной заботой об его участи в этом меркантильном мире чинов и золота, всеобщей продажности и падения: «Все составляет заговор против нас, — писал Гоголь, — вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей...»

Мир холодного эгоизма, мир собственнических вожделений, чинов и капиталов властно наступал на Гоголя. Запутанные дела его матери, поддавшейся на посулы жулика-спекулятора, тупоголовое недоброжелательство Брадке, спекулятивные проделки издателей «Вечеров», не оставлявшая его нужда, превращение беспринципными литераторами литературы в коммерцию, всеобщая погоня за прибылью, барышами, дивидендами пугали и отталкивали Гоголя, сохранившего веру в человека, в справедливость, в красоту жизни.

Он пишет повесть «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в которой беспощадно казнит этот тупой, косный мир низменных интересов, собственнической алчности, грубого и грязного падения человека. Он начинает работу над повестью «Невский проспект», в которой честный и не приспособленный к окружающей жизни мечтатель-художник трагически погибает, а самодовольный и наглый пошляк, невзирая ни на что, срывает цветы удовольствия.

Гоголь прочел свою повесть о двух Иванах Пушкину. В светлом, заставленном книгами кабинете Пушкина царила атмосфера чистоты, тонкого вкуса, безыскусственной простоты. Пушкин сидел на диване, поджав ноги, и громко смеялся, когда Гоголь

в лицах изображал сухопарого, претендующего на образованность Ивана Ивановича и грубого, бесцеремонного Ивана Никифоровича с их мелкой и гнусной склокой и пакостными кляузами.

Пушкин был легок, стремителен. Даже сидя, поджав ноги, на турецком диване в своем любимом красном архалуке в зеленую клеточку, он, казалось, куда-то торопился, с веселым возбуждением слушая Гоголя. Когда Гоголь дошел до описания судопроизводства и того, как бурая свинья утащила жалобу Ивана Ивановича, Пушкин заразительно, неудержимо стал смеяться. Гоголь важно и хладнокровно продолжал свое чтение, лишь иногда в его глазах загорались лукавые, озорные искорки.

Когда он кончил читать, Пушкин вскочил с дивана, крепко обнял его и воскликнул:

— Очень оригинально и очень смешно!

Гоголь улыбнулся от радости. Похвала Пушкина была для него высшей наградой. Но Пушкин тут же стал серьезен. Он стал говорить о том, что у Гоголя удивительный комический талант сатирика, талант, которого русская литература не знала со времен Фонвизина. С этим великим даром Гоголь не должен ограничиваться лишь смешными, юмористическими произведениями. Он должен серьезно взглянуть на жизнь, на ее важные и горестные стороны.

— Еще ни у одного писателя, — задумчиво сказал Пушкин, — не было этого дара выставлять так ярко пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем!

Они еще долго беседовали о литературе, о том важном и великом призвании писателя, к которому обязывает его талант. Заговорили о делах Гоголя. Дела эти были не блестящи. Единственным выходом из денежных затруднений оставалась служба. После неудачи с Киевом Гоголь стал подумывать о Петербургском университете, о профессорстве в нем. Пушкин обещал переговорить с министром графом С. С. Уваровым.

Хлопоты друзей увенчались успехом: 24 июля 1834 года Гоголь был зачислен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории Санкт-Петербургского университета.

АДЪЮНКТ-ПРОФЕССОР

В начале сентября 1834 года Гоголь должен был начать курс лекций в университете по истории средних веков. Он тщательно готовился к своей первой лекции, записал ее для памяти и, волнуясь, направился в университет. Лекции по истории читались не в главном здании, а на Кабинетской улице.

Большая аудитория была переполнена. Молодого профессора, уже известного автора украинских повестей, пришли послушать и студенты других факультетов. Гоголь заметно нервничал. Он вошел ровно в два часа в аудиторию, раскланялся со студентами и в ожидании лекции начал, стоя у окна, разговор с инспектором. Разговаривая, он вертел в руках шляпу, мял перчатки и тревожно поглядывал по сторонам.

Гоголь поднялся на кафедру и, слегка побледнев, начал лекцию. Через несколько минут он всецело овладел вниманием слушателей.

— Никогда история мира не принимает такой важности, — начал он, — и значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в средние века. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности текут с усиленной быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и, закружившись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами.

Голос Гоголя зазвучал уверенно. Он уже не смущался внимательно прислушивавшейся к его словам аудитории, а увлеченно развивал перед ней яркую картину движения народов в средневековье. Поэтическими красками рисовал он крестовые походы, когда короли и графы в простых власяницах, монахи, перепоясанные оружием, становились в ряды воинов,

когда европейские народы столкнулись с арабским Востоком, с его просвещением и культурой. Воображение, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба, продолжал лектор, развиваются в виду изумленного Запада, отпечатываясь со всею роскошью на дворцах, мечетях, садах, фонтанах так же внезапно, как в сказках, кипящих изумрудами и перлами восточной поэзии.

Гоголь говорил о странах Азии, о походах Чингисхана, давшего обет перед толпами узкоглазых широкоплечих монголов завоевать мир, о рыцарских орденах, заразившихся желанием добычи и корысти, о занятиях алхимией, ставшей ключом ко всем познаниям... С гневом и негодованием поведал он об инквизиции, не верящей ничему, кроме своих ужасных пыток, выпускающей из-под монашеских мантий свои железные когти, хватающие всех без различия...

Свою блистательную речь Гоголь закончил словами о всеобщем взрыве, подымающем на воздух все и обращающем в ничто все страшные власти. Власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается, и, когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, пред изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря, печатные листы разлетаются по всем концам мира...

Когда Гоголь сошел с кафедры, его окружили студенты, восторженно приветствуя.

Столь же блестящи были и последующие лекции, в которых молодой профессор с поэтическим вдохновением рисовал картину великих народных движений в средние века.

Одну из таких лекций посетили Пушкин и Жуковский. Гоголь запаздывал. Студенты ожидали его в общем зале, когда вошли Пушкин, стройный, в коричневом фраке, с аметистовым перстнем на руке, и Жуковский, несколько обрюзгший, с небольшой лысиной, тщательно прикрытой зачесанными назад

волосами. Осведомившись у студентов о том, в какой аудитории будет читаться лекция, они остались в общей зале. Через несколько минут явился и Гоголь. Вместе с ним все вошли в аудиторию. Пушкин и Жуковский сели на крайние места сбоку.

Гоголь был в ударе. Он рассказывал историю арабского Востока, говорил о багдадском халифе IX века Ал-Мамуне, много способствовавшем развитию науки и просвещения в своем государстве. Но благородный Ал-Мамун «упустил из вида великую истину, что образование черпается из самого же народа», из его национальной стихии. Он оказался философом-теоретиком, оторванным от жизни народа, и остался непонятым народом, возбудил лишь дикие страсти и религиозный фанатизм.

Полная блеска, поэтически-вдохновенная лекция Гоголя взволновала и восхитила слушателей. После ее окончания усталый, слегка понурившийся лектор сошел с кафедры. Пушкин и Жуковский его сердечно приветствовали.

— Увлекательно, красноречиво... — восхищался Пушкин.

Однако Гоголь вскоре разочаровался в своей преподавательской деятельности, перестал тщательно готовиться к лекциям. Его расхолаживали равнодушие студентов, закулисные интриги завидовавших ему профессоров, а главное, снова увлекла работа над «Миргородом» и «Арабесками». Преподавание стало для него обузой.

Гоголь сказывался больным и приходил на занятия перевязанный шелковым платком, жалуясь на беспрерывную зубную боль, часто пропускал лекции, а потом выслушивал насмешливые и кислые замечания начальства по своему адресу...

Профессор словесности и цензор Никитенко записал тогда же в своем дневнике: «...Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания... Молодой человек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры — и какой кафедры? — уни-

верситетской! — требует себе того, что сам Герен *, должно полагать, попросил бы со скромностью...»

Этот неглупый чиновник, задетый, однако, в своем педантском самолюбии успехом Гоголя, доверил дневнику те гадкие слушки, которые заботливо распространялись в университетских коридорах: «Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтобы они не выкинули над ним какой-нибудь шалости...» Да, начальство боялось лекций Гоголя, как боялся их и законопослушный и осторожный Никитенко.

Уязвленному этим отношением адъюнкту становилось все трудней приневоливать себя к чтению лекций. Равнодушие студентов заставляло и его смотреть на это дело не как на вдохновенный труд, а как на неприятную, тягостную обязанность. Уже в декабре 1834 года Гоголь жаловался в письме к Погодину: «Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более — желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю вдаль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народ бесцветный, как Петербург!»

Он с трудом довел до конца курс, принял экзамены и в начале апреля 1835 года подал прошение, чтобы ему разрешили «по весьма расстроенному здоровью» длительный отпуск для поездки на кавказские минеральные воды. Однако до Кавказа Гоголь так и не добрался: на это не хватило средств. Вместо того он отправился в Васильевку, а оттуда ненадолго съездил в Крым. В июле он вернулся в родные места и провел в Васильевке весь август.

---

* Известный немецкий историк.

В письме к Жуковскому от 15 июля Гоголь сообщал: «Все почти мною изведано и узнано, только на Кавказе не был, куда именно хотел направить путь. Проклятых денег не стало и на половину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральной грязи. Впрочем, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество, так что если б не жаркое лето, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьев; но жар вдыхает страшную лень, и только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною вам. Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, кряхтя от дюжей тетради».

По возвращении в Петербург Гоголь окончательно расстается с университетом. «Я расплевался с университетом, — писал он 6 декабря 1835 года Погодину, — и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня...»

Да, университет был школой и для самого Гоголя. Он со свойственной ему страстностью, с не знающей компромиссов и уступок прямолинейностью погрузился в мир истории. Он открыл там новый мир — мир народных судеб, беспрестанного движения, героических подвигов и событий. Это обогатило его как писателя. Но Гоголь-историк, Гоголь-ученый не смог оттеснить Гоголя-писателя. Результатом его занятий историей явился ряд блестящих статей: «О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», «Ал-Мамун», «Шлецер, Миллер и Гердер», «О движении народов в конце V века», «Взгляд на составление Малороссии». Эти статьи свидетельствуют и о многосторонней эрудиции Гоголя и о передовых по тому времени взглядах на историю как на процесс разви-

тия и прогресса народов. Но прежде всего они поэзия. Как и все, что писал Гоголь, его исторические статьи одушевлены блистательным, горящим слогом, исполнены того неугасимого поэтического пафоса, который и сейчас делает их образцом высокого словесного искусства.

«ТАРАС БУЛЬБА»

Он проснулся от какого-то безотчетного чувства тревоги. В голове, как сквозь сон, мелькали картины сражений, мчащиеся на конях всадники — среди степей, выжженных солнцем. Было еще рано, город только начал пробуждаться. Гоголь быстро накинул халат, встал за конторку и достал перо. Ему хотелось передать то упоение, тот восторг, который всегда охватывал его при слушании старинных украинских песен, «дум».

«О малороссийских песнях», — вывел он крупными буквами на листе грубой желтоватой бумаги. «Я не распространяюсь о важности народных песен, — писал он торопливо, взволнованно. — Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа... Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история, и отцовская могила!»

О, как не похожа вольная, бурная жизнь казака на ту тусклую, ничтожную жизнь, которую влачили окружающие! По сравнению с унылым, размеренным, как машина, прозябанием мелких чиновников, самодовольных обывателей, наглых карьеристов и праздных тунеядцев — жизнь, ратный подвиг казака, его раздольная, широкая натура казались Гоголю прекрасным и щедрым проявлением душевного богатства человека. В самом суровом воинском укладе казачьей вольницы он увидел ту свободу, ту высокую доблесть,

ту самозабвенную преданность отчизне, ту полноту жизни, которые так пленяли его в народных «думах».

«Везде проникает их, везде в них дышит, — писал он, — эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами... Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестер, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви».

Гоголь закончил статью. Но образы Запорожской Сечи, богатырские подвиги казаков, их удалое разгулье, их свободолюбие влекли его с неудержимой силой.

В памяти возникали имена казацких гетманов и полковников, чьи подвиги воспевали слепые бандуристы-лирники. Гетман Остраница, подло обманутый польской шляхтой и сожженный в медном быке, Сагайдачный, Тарас Трясило, Дорошенко, Нечай — все это были могучие, несгибаемые рыцари, смело бившиеся за свободу родной земли, заслужившие благодарную память своего народа.

Полковник Данило Нечай не согласился с договором, заключенным с польскими панами, разгадал их коварные намерения. Он бежал с пира, устроенного по случаю соглашения, и продолжал смертельную борьбу. Сложил о нем народ звонкие песни, прославил его мужество и смелость:

Не вспив козак, та не вспив Нечай на коника пасты,
Як став ляхив, як став панкив, як снопики, класты.
Не вспив козак, не вспив Нечай на коника систы,
Як взяв ляшкив, як став панкив, як капусту, сикты!

Перед Гоголем все нагляднее, осязаемее вставал образ такого героя, возникали картины привольной жизни Запорожской Сечи. Рождалась дивная героическая эпопея украинского народа «Тарас Бульба».

Гоголь не придерживался точной хронологии, не стремился дать в своей повести портрет какого-либо

гетмана или исторического лица. Обращаясь к песням, летописям, книгам по истории Украины, он находил в них все новые и новые свидетельства народного героизма, славных подвигов вольнолюбивого казачества. Глубокое понимание исторического смысла борьбы казачества за национальную независимость, роли его в защите Украины и России от набегов крымских татар, турецких султанов, польских феодалов дало возможность писателю создать подлинно народное произведение, величественный исторический эпос.

Во весь исполинский рост вставала в повести могучая фигура Тараса. «Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, — писал о нем Гоголь, — когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников...»

Корысти, себялюбию, мелкости чувств окружающего его столичного круга писатель противопоставил высокое чувство преданности родине, закон товарищества, казацкой чести — защищать собратьев своих и не покидать их в беде.

В «Тарасе Бульбе» Гоголя привлекают не столько судьбы отдельных героев, сколько судьбы народных масс. Сцены привольной казацкой жизни в Сечи, казачьих походов и битв занимают поэтому в повести центральное место. Резкими, контрастными чертами рисует писатель две исторически сложившиеся национальные культуры—народную, демократическую культуру казачества и утонченную, аристократическую «культуру» польского шляхетства, заядлых феодалов.

Особенно наглядно подчеркнут этот контраст в обрисовке двух станов во время осады Дубно. Эффектному и богатому по своему одеянию и оружию польскому войску, в котором каждый больше всего стремится проявить свою собственную отвагу, выпятить свою собственную персону, Гоголь противопоставляет скромно обмундированное, но спаянное внутренней дисциплиной и общностью патриотиче-

ского чувства казачество. Казаки побеждают этой внутренней собранностью, дисциплинированностью, преданностью общему делу, выручая друг друга в трудные моменты.

«Тарас Бульба» — одновременно и эпос и трагедия. Гоголь рассказывает о судьбах народа, о его героической борьбе за свою национальную независимость. Тарас, его сын Остап, как и остальные казаки, плоть от плоти народа. Самая Сечь представляется Гоголю своего рода демократической республикой, в которой господствует равенство и законы «товарищества». Он наделяет богатырскими чертами Тараса, Остапа и других казаков, самоотверженно отдающих свою жизнь общенародному делу. Это цельные, могучие характеры. Ни суровые лишения, ни жестокие пытки не могут поколебать их решимости, их верности «товариществу». Подобно героям «Слова о полку Игореве», героям былин и украинских дум, казаки наделены у Гоголя высоким патриотическим чувством, несгибаемым мужеством, душевным благородством и отвагой.

В то же время Гоголь понимает историческую слабость казачества, которое при всем своем героизме не может добиться окончательной победы над неизмеримо более сильным врагом — панской Польшей. Поэтому так отчетливо в поэме Гоголя трагическое начало. Переход на сторону польской шляхты Андрия, изменившего ради любви к прекрасной полячке своему народу, своей родине, вносит в поэму трагический мотив, драматическую напряженность. Сколько мужества потребовалось Тарасу, чтобы вырвать из своего сердца любовь к сыну и стать его судьей! В сцене казни Андрия изображение характера Тараса достигает шекспировской силы. Андрий изменил своему народу, он прельстился мишурной красотой панской жизни, нарушил самую священную обязанность человека. Тарас собственной рукою казнит сына во имя высшей справедливости, во имя счастья родины.

«Нет уз святее товарищества! — говорит Тарас.— Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя

любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей!»

Свой героический эпос Гоголь завершал сценой гибели Тараса. Во время неравного боя Тарас наклонился, чтобы поднять упавшую люльку с табаком, и был захвачен в плен. Враги обрекли его на страшную, мучительную казнь. Но даже распятый на дереве, под которым развели костер, Тарас находит силы предостеречь свой отряд от грозящей опасности. Он не страшится нечеловеческих мук и самой смерти, веря в правоту своего дела, в победу народа. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»

Создавая повесть, Гоголь чувствовал себя народным певцом, лирником, складывающим думу про сынов своего народа. Он весь был во власти песенных, былинных образов, он слышал тихий и мерный рокот бандуры, аккомпанировавшей его словам. Фразы вязались друг с другом, как слова песни, нарастали величественные, полные простора периоды, словно его рука не водила пером по бумаге, а перебирала упруго трепещущие струны бандуры. Вот рассказывает он о смертельной битве под Дубно, в которой погибло много казацких голов, и течет его рассказ, как песня, как былина, как дума бандуриста: «Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист — с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, — и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них».

* * *

Комната залита ярким солнечным светом. Гоголь стоит за конторкой в атласном вишневого цвета халате. За месяцы упорного труда повесть окончена. Но перед его глазами все еще стоит могучий образ Тараса, озаренного багровыми языками пламени, по речной глади между зарослей камыша плывут на узких челнах казаки, и ему кажется, что он слышит еще, как они говорят про своего атамана. Он ставит под рукописью свою тонкую, птичью подпись «Н. Гоголь». К черту все эти мелкие огорчения, интриги Брадке, неведомый ему немчик Цых, занявший его место в Киеве, завистливый Никитенко, тупые, привыкшие к зубрежке студенты, неприятности матери, разоренной пройдохой-«фабрикантом», назойливые напоминания хозяина, требующего уплаты за квартиру.

Все это ничто по сравнению с величием подвига! Создавая повесть, он слышал чистый и могучий голос народа, всем существом чувствовал холодные брызги днепровских вод и опьяняющие запахи степных трав, слышал яростные кличи битвы. Трудно было возвратиться к маленькой петербургской комнате, обитому рипсом дивану, ворчанию Якима, чистившего за перегородкой на кухне сапоги. А надо было одеваться, пить чай, идти в университет. Наступали будни.

Закончив повесть, он включил ее вместе со «Старосветскими помещиками», «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Вием» в сборник «Миргород», который вышел в начале 1835 года. Посылая его Максимовичу, он сообщал: «Посылаю тебе «Миргород». Авось либо он тебе придется по душе. По крайней мере я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа, которое, сколько я замечаю, иногда овладевает тобою и в Киеве. Ей-богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем... глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака?»

Свою повесть Гоголь читал еще до ее выхода в гостях у Прокоповича. Там были Панаев, его друг Кречетов и много другого народа. Когда Гоголь кончил читать, Кречетов вскочил со своего места и воскликнул:

— Да это шедевр... это сила... это мощь... это... это... такое явление, что сам старик Вальтер Скотт подписал бы охотно под ним свое имя!.. У-у-у! Это уж талант из ряду вон! Какая полновесность, сочность в каждом слове...

Когда «Миргород» вышел из печати, то Белинский сразу же откликнулся на его появление.

В статье, ставшей впоследствии знаменитой, «О русской повести и повестях г. Гоголя» он писал: «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизацией, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого: кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем... И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! Какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская Сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие,

как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!..»

Белинский исчерпывающе определил основную особенность творчества Гоголя: его верность жизни, реализм его творчества. Даже в таком во многом романтическом произведении, как «Тарас Бульба», сверкающем яркими, ослепительными красками народной поэзии, Гоголь оставался верен жизни, правдиво передал характеры и неукротимую внутреннюю силу своих героев. Глубокое проникновение в душу народа обеспечило образам, созданным писателем, цельность и художественную убедительность.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Накрапывал дождь. Гоголь возвращался домой, на Малую Морскую. Невский проспект был освещен синеватым светом газовых фонарей и керосиновых ламп в витринах магазинов. В неверных отблесках света он казался фантастически-необычным. Лишь скользящие силуэты прохожих, попадая в полосу света, приобретали реальные, трехмерные очертания. Гоголь был доволен тем, что в этот час ему не попадались те господа, которые останавливаются перед вами на улице для того, чтобы смерить снисходительным взглядом ваши сапоги, сюртук, шляпу, а затем долго смотрят вслед.

Перед ним бойко трусил по тротуару молодой человек с личиком, которое можно было бы упрятать в дамский ридикюль. Его новенький сюртучок обвис от моросящего дождя, но он, приятно наклоняя свой гибкий стан, заглядывал под шляпки встречавшихся на пути дам. За молодым человеком следовала какая-то чиновная крыса в виц-мундире с крестиком, выпучив зеленые, как его воротничок, глаза на полные, трясущиеся, как бланманже, выпуклости ног пышной дамы, которая приподняла свыше всякой меры подол нарядного платья. Навстречу попался и бородатый купец в синем сюртуке с талией у самой шеи, под руку со своей дородной супругой,

неуклюже держа над нею зонтик. Эта огромная масса мяса, обернутая в капот и чепчик, напоминала скорее огромного моллюска, чем позвоночное существо.

Гоголь свернул с Невского проспекта и, проходя мимо незанавешенного окна одного из домов, нечаянно заглянул в него. В глубине узкой, тускло освещенной комнаты неподвижно сидел бледный молодой человек с вьющимися белокурыми волосами. Его лицо выражало страдание, он задумчиво смотрел перед собой, словно не решаясь пошевелиться. На стенах висели какие-то картины, в углу темнел мольберт. «Наверное, бедняк художник», — подумал Гоголь. Ему показалось, что судьба этого молодого человека, вероятно приехавшего в сырую холодную столицу в жажде славы из какой-нибудь дальней стороны, напоминает его собственную судьбу. Ведь он так же одинок, как этот молодой художник. За годы, проведенные в Петербурге, ему пришлось столкнуться с горькой нуждой, унижениями, завистью, изведать много горя и недоброжелательства.

Взобравшись на свой четвертый этаж по узкой полутемной лестнице, Гоголь долго не мог отделаться от впечатлений этого вечера. В квартире было холодно и сыро. Окна выходили во двор, глубокий, мрачный, как колодец. Он надел теплый стеганый халат, но озноб не прекращался, болела голова, давило в груди. Вот так всегда, когда идет дождь в этом сумрачном, туманном городе, построенном на болоте самодержавною волею Петра. Петербург высасывает все соки из человека, отнимает у него здоровье и силы. Ему только 24 года, а он чувствует себя как старик! Солнца, горячего, ласкового солнца родной Украины не хватает ему. Он стал уже сторониться людей. Их эгоизм, равнодушие к страданиям и радостям других разочаровывали и отталкивали его. Он начал опасаться женщин. Их ласковые улыбки, обещающие взгляды, нежный аромат духов — все это лишь вывеска, лишь соблазнительная внешность, а за всем этим корысть, тайный расчет, желание отнять свободу и волю. Ему вспоминались здоровые, жизнера-

достные дивчины на родине, их бесхитростное кокетство, звонкие, волнующие голоса. Нет, петербургские женщины никак не походили на них. Ему нельзя терять свою свободу, свою волю — еще так много предстоит сделать: он лишь в начале пути!

Перед глазами вставала картина Невского проспекта, то необычайно оживленного, кишащего нарядно одетыми завсегдатаями, с проносящимися блестящими экипажами, запряженными горячими, стройными как стрела лошадьми, то погружающегося в неверный полумрак, в котором скрывалась нужда, страдания.

«Невский проспект» — это повесть о Петербурге, о жестоких контрастах большого города, о гибели честного, одаренного художника Пискарева и о благополучии пошлого и самодовольного поручика Пирогова. Гоголь сначала назвал своего художника Палитриным, но потом изменил его фамилию на Пискарева, подчеркнув этим его скромность, неприметное место его в жизни наподобие маленькой незаметной рыбки.

Этих полунищих чудаков Гоголь встречал во время своих посещений Академии художеств. Они обычно бывали добрыми и застенчивыми, любили свое искусство, наивно верили в справедливость и чистоту окружающих людей. Художники эти рисовали интерьеры: перспективу своей комнаты с гипсовыми слепками античных статуй, мужиков и крестьянок в их бедных, но живописных одеяниях. В повести Гоголь рассказал, как такой робкий, поглощенный своим искусством художник встретил в зыбкой мгле Невского проспекта ночную красавицу, «Перуджинову Бианку», которая оказалась уличной проституткой. Его вера в прекрасное, в девическую чистоту оказалась поругана и растоптана в этом обществе самодовольных пошляков, преуспевающих карьеристов, заботящихся лишь о собственном обогащении, чинах, карьере.

С душевной болью, взволнованно рассказывал Гоголь трагедию художника, ставшего жертвой своей всепоглощающей страсти. Его Перуджинова Бианка,

столь прекрасная в призрачном сиянии вечернего искусственного света, оказалась грубой, вульгарной мещанкой, погрязшей в пороке и праздности. Пискарев не находит выхода. Он не может преодолеть своего разочарования, он подавлен всеобщим лицемерием, унижением бедности и торжествующей наглостью хозяев жизни. В отчаянии художник кончает самоубийством. Гоголь нарисовал грустную и суровую в своей правде картину его похорон, похорон нищего, никому не нужного человека.

Город дворцов, великолепных проспектов, сияющих витрин роскошных магазинов — это город богачей и знати, чиновников-карьеристов и развращенных праздностью тунеядцев. Его внешность так же обманчива, как обманчива блестящая перспектива Невского проспекта, этой тщеславной выставки показного благолепия, фальшивого блеска и продажной добродетели. Гоголь не жалеет злых, сатирических красок, рисуя поручика Пирогова, одного из тех завсегдатаев Невского проспекта, которые успешно движутся по лестнице чинов и преуспеяния. Пирогов нагл, бесцеремонен, самодоволен. «Он имел множество талантов, — язвительно сообщает о нем автор, — в особенности искусно он пускал из трубки дым кольцами, так что мог нанизать до десяти колец одно на другое». Такие поручики пироговы легко скользили по жизни, как по Невскому проспекту, и довершали свое благополучие выгодной женитьбой на купеческой дочке, обзаводились кабриолетом с парою бойких лошадок, достигали чинов и солидного положения.

Гоголь поставил своего героя в весьма щекотливое положение. Влюбчивый поручик вздумал поухаживать за немочкой, женой жестяных дел мастера. Несмотря на все старания, Пирогов никак не мог добиться взаимности глупенькой немочки. Донжуанские похождения поручика, как известно, окончились весьма печально и позорно. Дюжий немец, муж немочки, вместе со своими приятелями высек поручика Пирогова, уже было торжествовавшего успех своих домогательств.

Высеченный поручик был этим весьма возмущен и долго не мог успокоиться: он собирался подать на непочтительных немцев жалобу не то в главный штаб, не то дальше, вплоть до самого государя. Но, зайдя по дороге в кондитерскую, съев там два слоеных пирожка и почитав булгаринскую «Северную пчелу» с ее занятными новостями, обиженный поручик успокоился и вечером того же дня направился в приятное собрание чиновников и офицеров. Там он так отличился в мазурке, что привел в восторг все общество.

Смешная и позорная история поручика Пирогова противостояла трагической судьбе художника Пискарева. Она раскрывала пошлость и пустоту тех, кто самодовольно фланировал по Невскому проспекту, вопиющее противоречие между их внешним великолепием и духовным ничтожеством. Гоголь закончил повесть горькими словами о фальши Невского проспекта, олицетворявшего в его глазах торжество пошлости и эгоизма господствующих классов:

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...»

Когда повесть Гоголя попала к цензору, тот взбеленился. Написать, как позорно высечен был офицер — да еще поручик! — какими-то немцами-ремесленниками. Это ниспровержение самых основ! Несомненно, что этого печатать нельзя.

Обеспокоенный судьбой своей повести, Гоголь обратился за советом к Пушкину. Пушкин ответил короткой запиской: «Прочел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось бог вынесет! С богом!» Однако бог не вынес, и Гоголю пришлось переделать конец повести, лишь прозрачно намекнув на постигшее поручика Пирогова наказание.

Но и так читатели догадывались о происшедшем. Белинский восторгался этой повестью, видя в поручике Пирогове социально важный, обобщенный, типический образ: «Пирогов! — восклицал он. — Святители! Да это целая каста, целый народ, целая нация!

О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов!.. Это символ... это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысяче человек!»

В Гоголе все более росла ненависть к этим наглым и пошлым хозяевам жизни, к этой касте поручиков пироговых, готовых задушить своим беспредельным эгоизмом и наглым самомнением любое проявление подлинно человеческого чувства. Он продолжает свою борьбу с пироговыми. Он пишет убийственную сатиру на этих людей, углубляя образ, намеченный им в «Невском проспекте». Такой сатирой явилась повесть «Нос». Эта повесть писалась весело, задорно. Гоголь издевался в ней над теми пошляками и карьеристами, которые слонялись по Невскому проспекту, выставляя напоказ свои безупречные носы, холеные бакенбарды или никакою кистью не изобразимые усы, как иронически он писал о подобных тунеядцах в «Невском проспекте».

Герой «Носа» майор Ковалев не менее пошл и самодоволен, чем поручик Пирогов, но в нем Гоголь изобразил еще более обобщенный типический образ. Он герой времени, вернее — безвременья, эпохи николаевской реакции, когда тупые и подлые исполнители предначертаний начальства, наглые карьеристы и бездарные подхалимы занимали командные посты, держали в страхе и унижении всю страну. За время своих поисков службы и пребывания в департаментских канцеляриях Гоголь хорошо изучил эту касту самодовольных чинуш. Его майор Ковалев получил чин коллежского асессора на Кавказе, где легче было выслужиться и безнаказаннее сходили с рук злоупотребления и взяточничество. В поисках доходного места и выгодной женитьбы на какой-нибудь купеческой дочке майор Ковалев прибыл в столицу, полагаясь прежде всего на свою видную, по его мнению, внешность.

Гоголь жестоко наказывает этого наглого проходимца и пошляка, заставив лишиться столь заметного атрибута его физиономии, как нос, которым майор Ковалев особенно гордился. С утратой носа

теряется и внешняя благопристойность этого карьериста, утрачивается надежда на осуществление его далеко идущих планов: получение вице-губернаторского места и выгодную женитьбу.

В то же время нос майора Ковалева, отделившийся от своего владельца, приобретает самостоятельное существование. В генеральском чине он пренебрежительно третирует своего безносого владельца. Эта смешная, гротескно-фантастическая нелепица в обстановке реально и точно изображенного быта приобретала широкое сатирическое значение. Гоголь в своей повести показал, что в мире чинов и карьеры имеет значение лишь чин и внешность, а отнюдь не подлинные достоинства человека.

Своего сатирического накала повесть достигает в сцене встречи майора Ковалева с его носом, одетым в расшитый золотом мундир, с большим стоячим воротником, в шляпе с плюмажем и шпагой при боку. Эта встреча, происшедшая в Казанском соборе, великолепно передавала дух чинопочитания и раболепства, определявший в николаевской России отношения между людьми.

Самое отнесение этой сцены в Казанский собор являлось неслыханной дерзостью, звучало как вызов и, конечно, было запрещено цензурой.

Да и неуважительное изображение лица значительного чина для властей являлось крайне одиозным. Ведь безносый майор Ковалев вызывал самые нелестные и даже позорящие чиновных особ ассоциации. Когда злополучный майор явился на квартиру к частному приставу пожаловаться на поведение своего носа, то и здесь он не нашел сочувствия. Гоголь зло высмеял и частного, который, согласно недвусмысленному описанию окружавшей его обстановки, являлся заядлым взяточником. Но и частный весьма неодобрительно отнесся к потере Ковалевым носа, заявив, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз!

Злоключения майора Ковалева окончились благополучно: нос был найден и вернулся на свое старое место, и майор смог по-прежнему как ни в чем не бывало разгуливать по Невскому проспекту и с презрением смотреть на тех, у кого нос был никак не больше жилетной пуговицы.

Белинский по прочтении повести писал: «Вы знакомы с майором Ковалевым? Отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием со своим злополучным носом? Оттого, что он есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы, так что после знакомства с ним, хотя бы вы зараз встретили целую сотню Ковалевых, — тотчас узнаете их, отличите среди тысячей». Белинский и здесь подчеркнул основную особенность творческого метода Гоголя — типизацию, великое умение создавать навсегда запоминающиеся, обобщенные общечеловеческие типы.

Та резкость, с которой Гоголь высмеял чиновничье-бюрократический мирок, лицемерие и мнимую значительность пошляков и карьеристов, являвшихся опорой правительства, испугала его московских друзей. Гоголь послал свою повесть в Москву в журнал «любомудров» — «Московский наблюдатель», который редактировали Погодин и Шевырев. Но они побоялись ее напечатать, найдя слишком «пошлой» и «грязной». Лишь Пушкин, начав в 1836 году издание «Современника», решился опубликовать «Нос», забракованный «друзьями» Гоголя. Он поместил повесть в третьем выпуске журнала со следующим предисловием: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись».

Печатание повести потребовало ее значительной переделки. Цензура ни за что не соглашалась пропустить встречу Ковалева с носом в Казанском соборе, и ее пришлось перенести в Гостиный двор. Гоголь, наученный горьким опытом, предвидел эти цензур-

ные трудности и, еще отправляя в Москву Погодину свою повесть, писал ему: «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума». Однако цензура выжила из ума именно до «такой степени», и во всех дореволюционных изданиях повесть печаталась в изуродованном виде.

ПОВЕСТЬ О ХУДОЖНИКЕ

На протяжении всей жизни Гоголя глубоко волновали вопросы искусства. Художник-творец являлся для него носителем того вдохновенного, облагораживающего жизнь начала, которое было утрачено в тусклом и ничтожном мире пироговых и ковалевых.

С детских лет Гоголь занимался живописью, любил находиться в обществе художников, с которыми неизменно поддерживал тесные отношения. Он был хорошо знаком с Венециановым, который в 1834 году сделал его портрет. Когда в Эрмитаже была выставлена знаменитая картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», Гоголь откликнулся на нее восторженной статьей. А впоследствии, в Италии, он сближается с Александром Ивановым, Моллером, Иорданом.

В статье «Скульптура, живопись и музыка», которой открывались «Арабески», Гоголь произнес гимн искусству и прежде всего живописи. В отличие от скульптуры — живопись, по словам писателя, «берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной». Поэтому и творец-художник должен быть наделен теми высокими человеческими качествами, которые делают его чуждым низменным меркантильным заботам, корысти, зависти. Он призван возвысить человека, показать ему идеал.

Свое понимание искусства, свои заветные мысли о роли художника Гоголь воплотил в повести «Портрет». В ней он показал судьбу художника, изменившего своему искусству во имя выгоды, корысти, роскошной жизни, и в то же время наметил тот идеал, которому должен следовать истинный художник.

Художник Чартков начинает свой путь как способный, одаренный труженик. Он рисует натуру, его картины изображают простые сюжеты окружающей его жизни, сюжеты, характерные для художников школы Венецианова. Но Чарткова не удовлетворяет эта подвижническая жизнь бедняка-художника. Он устал терпеть бедность, завидует успеху и заработкам модных живописцев, чья бойкая кисть доставляет им широкую известность и богатых заказчиков. «Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же, наконец, и терпенью конец! Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут».

Гоголь сам знал и тягость голодного существования и унизительность самодовольно-снисходительного отношения людей состоятельных к бедняку, будь он ничтожный чиновник или безызвестный художник. Но он никогда не кривил душой, никогда не шел на компромисс, не отдавал своего искусства на милость пироговых и ковалевых, не пытался написать произведения, которые могли бы им понравиться. Поэтому он с таким гневом и беспощадностью клеймит Чарткова за измену искусству, за то, что он поддался искушению богатства и роскоши и продал свой талант. Даже фамилия художника в первой редакции повести была Чертков; она как бы намекала, что художник продал свою душу дьяволу.

Падение художника началось тогда, когда он приобрел таинственный портрет ростовщика. Изображение ростовщика олицетворяло наиболее презренный вид власти золота, основанной на горе и несчастье людей. В первой редакции повести Гоголь придал образу ростовщика даже мистическое значение: ростовщик являлся зловещим воплощением анти-

христа. Нечаянное обогащение — находка свертка с тысячью червонных в раме портрета — и послужило тем толчком, который привел Чарткова на путь падения. Эти деньги позволили ему испробовать прежде недоступные удовольствия роскоши, золото развратило его: «Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том!» Правда, и раньше в Чарткове заметно было желание время от времени кутнуть, щегольнуть. Но теперь, неожиданно оказавшись владельцем горсти червонцев, Чартков поддался искушению, продал за золото свой талант, вступил на скользкий путь модного живописца. «В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету», — писал Гоголь. Чартков оделся с ног до головы у модного портного, снял роскошную квартиру, отправился к продажному журналисту, в описании которого легко можно было узнать Булгарина. За десяток червонцев тот поместил в своей газете восторженно-рекламную статью о вновь появившемся таланте.

Первое же посещение мастерской Чарткова светской дамой с дочерью знаменовало начало падения художника. Он изменил жизненной правде: угождая тщеславию заказчицы, изобразил ее дочь в виде Психеи! Но с этого и началась его известность модного художника. У Чарткова теперь не было отбоя от заказчиков. «Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду».

И Чартков, угождая пошлому и тщеславному вкусу богатых заказчиков, писал заученные, ремесленно-грамотные портреты, даже сам «начал дивить-

ся чудной быстроте и бойкости своей кисти». «Кисть его хладела и тупела, — пишет о нем Гоголь, — и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы».

Так мстило искусство художнику, ему изменившему. Чартков получил все: и богатство, и официальное признание, и льстивые хвалы подхалимов. Он уже готов был и сам уверовать в свою гениальность, когда на выставке в Академии художеств увидел подлинное, высокое произведение искусства, созданное одним из его бывших товарищей, который работал долгие годы в Италии, терпел там бедность, даже голод, но с редким самоотвержением презревши все, отдавал всё свои силы искусству.

Возможно, что Гоголь высказал в этом описании свое впечатление от картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». Ведь и картина Брюллова поразила его прежде всего своим гуманизмом, пафосом красоты человека. «Нет ни одной фигуры у него, — писал Гоголь в статье о Брюллове, — которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен». Такова цель искусства, призвание художника — показать красоту людям, раскрыть красоту человека! Чартков изменил этой цели, он профанировал искусство, сделал его доходным ремеслом. Понимая утрату своего таланта, он в своем ожесточении становится на путь страшного злодеяния: скупает картины талантливых молодых художников и уничтожает их. Трагический конец обрывает его жизнь, вызывавшую ужас и презрение окружающих.

Эта первая часть повести имела самостоятельное значение. В ней Гоголь высказал свою заветную мысль о высоком жребии художника, творца, о необходимости подвижнического, бескорыстного служения искусству. Этому служению обрек Гоголь прежде всего самого себя. Уже тогда все больше и больше он стал проникаться мыслью о своем писательском подвиге. Искусство призвано пробудить человека, вывести его из мертвенного равнодушия, духовной праздности, засилья мелких, эгоистических страстей.



Хлестаков.
Рисунок художника Боклевск



1836

ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ Воскресенье, 24 Мая, ИМПЕРАТОРСКИМИ Россійскими Актерами представлена будетъ:

въ первый разъ.

РЕВИЗОРЪ

Оригинальная комедія въ 5 дѣйствіяхъ, въ прозѣ соч. *И. Гоголя.*

ДѢЙСТВУЮЩІЕ.

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ Дмухановскій, Городничій,	*Г. Щепкинъ.*
Анна Андреевна, жена его,	*Г-жа Львова-Синецкая.*
Марья Антоновна, дочь его,	*Г-жа Самарина.*
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ,	*Г. Волковъ.*
Жена его,	*Г-жа Каменка.*
Аммосъ Ѳедоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, Судья,	*Г. Н. Степановъ.*
Артемій Филипповичъ Земляника, Попечитель Богоугодныхъ заведеній	*Г. Румяновъ.*
Иванъ Кузмичъ Шпекинъ, Почтмейстеръ,	*Г. Потапниковъ.*
Петръ Ивановичъ Добчинскій, Городскіе помѣщики,	*Г. Шумскій.*
Петръ Ивановичъ Бобчинскій,	*Г. Никифоровъ.*
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, чиновникъ изъ Петербурга,	*Г. Ленскій.*
Осипъ, слуга его,	*Г. Орловъ.*
Христіанъ Ивановичъ Гибнеръ, Уѣздный Лѣкарь,	*Г. Зеленинъ.*
Ѳедоръ Андреевичъ Люлюковъ,	*Г. Соловьевъ.*
Иванъ Лазаревичъ Ростановскій,	*Г. Бардинъ.*
Степанъ Ивановичъ Коробкинъ,	*Г. Богдановъ 2-й.*
Жена Коробкина,	*Г-жа Сорокина.*
Степанъ Ильичъ Уховертовъ, Частный Приставъ,	*Г. В. Степановъ.*
Самсуновъ,	*Г. Щеглова 2-й.*
Пуговицынъ, полицейскіе	*Г. Жаковскій 2-й.*
Держиморда,	*Г. Максимъ 1-й.*
Абдулинъ, купецъ,	*Г. Соколовъ 1-й.*
Ѳедоровна Пантелеймона, сахарша,	*Г-жа Бахановская.*
Мишка, слуга Городничаго,	*Г. Шубертъ.*
Слуга въ трактирѣ,	*Г. Максимъ 2-й.*
Жандармъ,	*Г. Калининъ.*

Гости, гостьи, купцы и прочіе.

НАЧАЛО ВЪ 7 ЧАСОВЪ.

Билеты для сего спектакля можно получить въ день представленія съ 10 часовъ утра въ Большомъ Театрѣ.

Афиша первого представле-



М. П. Погодин. Портрет.



С. Т. Аксаков.
Портрет работы художника
Э. Дмитриева-Мамонтова.

О высоком назначении искусства Гоголь говорит во второй части повести, в сущности слабо связанной с первой. В ней излагается история таинственного портрета и судьба художника, его написавшего. Этот художник пытался воплотить в портрете не только облик страшного ростовщика, но и самую душу его. Созданный им портрет стал источником бедствий и несчастий. Художник, по мнению Гоголя, согрешил против искусства: он слишком натуралистически перенес на полотно природу. Гоголь видит возможность искупления художника за совершенный им проступок лишь в отказе от мира, от светской живописи — в обращении к религии. Художник, написавший портрет антихриста-ростовщика, уходит в монастырь и там в посте и молитвах пишет образа святых. Лишь проникнувшись религиозным смирением, полностью посвятив себя искусству, художник достиг того спокойствия, которого ему не хватало в мирской жизни. Пришедшему на свидание сыну он говорит о служении искусству: «Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства».

Эта точка зрения на искусство во многом разделялась и самим Гоголем. Правда, приведенные слова взяты из второй редакции «Портрета», относящейся к 1842 году, но и первоначальная редакция повести утверждала ту же идею.

Лишь искусство возвращает человеку утраченную им душевную гармонию в мире, раздираемом противоречиями, отравленном властью бездушного чистогана и меркантильностью, — так полагал Гоголь. Он еще не склонился к религиозно-нравственному пониманию задач искусства, как это случилось в дальнейшем. Он полон сил и смело борется с господством пошлости, меркантильности, социального паразитизма, несправедливости и корысти, царящих вокруг него. Его могучее оружие—сатира, беспощад-

ный смех над уродствами жизни, над несправедливостью всего общественного порядка. Но отдельные ноты примирения, попытка подменить сатиру христианским нравоучением проскользнули в «Портрете». Этим объясняется настороженное отношение к повести Белинского, одобрительно отозвавшегося о ее первой части и осудившего вторую часть. «...Мысль повести была бы прекрасна, — писал Белинский, — если б поэт понял ее в современном духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно, и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета... не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным именно оттого, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство». Белинский был в своих упреках во многом прав. Он заблаговременно забил тревогу, так как идеи, которые Гоголь высказал во второй части «Портрета», были не только чужды требованиям действительности, но и ослабляли могучую силу таланта писателя, обескровливали создаваемые им художественные образы. Недаром художник — создатель портрета ростовщика — напоминает условный иконописный образ, а не человека из плоти и крови.

«Портрет» знаменовал мучительные искания Гоголя, противоречивость его взглядов. В то же время эта повесть свидетельствовала, насколько глубоко проник писатель в самую сущность искусства, какое огромное значение придавал он ему. Именно в искусстве видел Гоголь ту чудесную силу, которая может перевоспитать людей, направить их на путь красоты, человечности, правды.

ГЛАВА ПЯТАЯ



„Комический писатель"

— Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!..

Н. Гоголь, «Ревизор»

«ВЛАДИМИР 3-ЕЙ СТЕПЕНИ»

Творческий расцвет Гоголя совпадает с тем временем усиления реакции, правительственных репрессий и гонений на всякую свободную мысль, которое наступило вслед за разгромом Николаем I восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Об этом времени писал Герцен, сам испытавший на себе его зловещую тяжесть: «На поверхности официальной России, «фасадной империи», видны были только потери, жестокая реакция, бесчеловечные преследования, усиление деспотизма. В окружении посредственностей, солдат для парадов, балтийских немцев и диких консерваторов, виден был Николай, подозрительный, холодный, упрямый, без-

жалостный, лишенный величия души, — такая же посредственность, как и те, что его окружали... После 1825 года вся администрация, ранее аристократическая и невежественная, стала мелочной и искусной в крючкотворстве. Министерства превратились в конторы, их главы и высшие чиновники стали дельцами или писарями. По отношению к гражданской службе они являлись тем же, чем тупые служаки по отношению к гвардии. Большие знатоки всевозможных формальностей, холодные и нерассуждающие исполнители приказов свыше, они были преданы правительству из любви к лихоимству. Николаю нужны были такие офицеры и такие администраторы.

Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки. Слепая и лишенная здравого смысла дисциплина в сочетании с бездушным формализмом австрийских налоговых чиновников — таковы пружины знаменитого механизма сильной власти в России. Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия, какая жалкая пошлость!»

Гоголь воочию убедился в том, насколько бездушны и жестоки были пружины этого механизма, насколько губителен и развращен был весь бюрократический аппарат, мучительно и бесправно положение простого человека в этой «фасадной империи». Этим определился и выбор им пути «комического писателя», писателя-сатирика, обличителя вопиющих безобразий жизни.

Еще в феврале 1833 года Гоголь начал писать комедию «Владимир 3-ей степени». Это была комедия о столичных чиновниках-бюрократах, бессовестных хищниках и бесчестных карьеристах, с которыми Гоголь столкнулся, служа в департаментских канцеляриях. Герой комедии Барсуков — важный петербургский чиновник — одержим честолюбивым желанием получить орден Владимира 3-й степени. Он пытается этого добиться при протекции своего приятеля, такого же прожженного взяточника и подлеца, как и сам Барсуков. Приятель его, Александр Иванович, близко знаком с министром, и поэтому

Барсуков заискивает перед ним. Однако Александр Иванович вовсе не склонен ему помогать и, завидуя его карьере, замышляет против него интригу. Для этого он пользуется приездом брата Барсукова, степного помещика, который является с жалобой на подделку завещания, давая тем самым в руки Александра Ивановича оружие против Барсукова. В конце пьесы в результате всех этих интриг и неудовлетворенного честолюбия Барсуков сходит с ума и воображает себя Владимиром 3-ей степени.

Гоголь с увлечением работал над комедией, пока не убедился в том, что цензура не пропустит такого резкого разоблачения нравов столичной бюрократии. В феврале 1833 года он писал М. Погодину о том, что «помешался на комедии»: «Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: «Владимир 3-ей степени», и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться. Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу неконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что за комедия без правды и злости!»

Работу над комедией пришлось прекратить. А написанное Гоголь впоследствии переработал в отдельные драматические сцены: «Утро делового человека», напечатанное в пушкинском «Современнике», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывок», увидевшие свет лишь в 1842 году. Однако мысль о создании сатирической комедии, в которой было бы много правды и злости, теперь уже не покидает писателя.

Оставив работу над «Владимиром 3-ей степени», Гоголь принялся за новую пьесу — «Женихи», впоследствии переименованную в «Женитьбу». Первоначально действие этой комедии происходило не в купеческой среде, а в провинции; и невеста являлась небогатой помещицей, женихи интересовались коли-

чеством душ, даваемых за нею в приданое. Уже в марте 1835 года комедия в своем черновом варианте была готова, хотя Гоголь и дальше продолжал над ней работу.

Уезжая в мае в Васильевку, Гоголь по дороге остановился у Погодина. Обрадованный Погодин постарался использовать это короткое пребывание Гоголя в Москве и познакомить с ним московский литературный круг. Коротко остриженный, с крупными чертами лица, с манерами семинариста, Погодин любил разыгрывать мецената и хлебосола, хотя втайне жалел потраченных денег.

7 мая на квартире у Погодина состоялось чтение «Женитьбы», на котором присутствовала литературная и театральная Москва, в том числе Константин Аксаков, Щепкин. Большой кабинет хозяина был буквально битком набит. Гоголь сидел у стола, серьезный, сдержанный. Когда он начал чтение, то слушателям казалось, что они видят все происходящее на сцене. Так мастерски он читал или, лучше сказать, разыгрывал свою пьесу.

Дойдя до объяснения Подколесина с Агафьей Тихоновной, до его робкого вопроса: «Вы, сударыня, какой цветок больше любите?» — Гоголь перед ответом невесты: «Который покрепче пахнет-с; гвоздику-с», — выдержал паузу и сопроводил ее таким выражением лица, что все покатились со смеху. А сам Гоголь спокойно промолчал, делая вид, что ничего особенного не происходит.

Окончив чтение словами свахи: «...А уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут, просто мое почтение!» — Гоголь присвистнул. Щепкин пришел в полный восторг: «Подобного комика не видал и не увижу! — воскликнул он. — Вот высокий образец художника, вот у кого учитесь!»

Это был подлинный триумф! Гоголь остался доволен и ободрен. Он стал разговорчив, шутил, рассказывал смешные истории, комически перевирал газетные объявления.

Когда все стали расходиться, он задержался в углу кабинета со Щепкиным. Он любил потолко-

вать с земляком, черпая иногда из его рассказов целые эпизоды для своих повестей. На этот раз Михаил Семенович благодарил Гоголя за присылку «Миргорода», в котором ему особенно понравилась повесть про старосветских помещиков.

Он напомнил, как в одну из прежних встреч рассказал Гоголю про свою бабку, увидевшую в пропаже одичалой кошки предвестие своей близкой кончины.

— А кошка-то моя! — засмеялся Щепкин.

— Зато коты мои! — возразил, улыбаясь, Гоголь.

Несмотря на успех чтения и усиленные просьбы Щепкина, Гоголь, однако, не решился отдать пьесу, обещая вскоре ее доработать и прислать. В этот приезд он не задержался в Москве, сразу же уехав в Васильевку.

В Петербург Гоголь возвращался через Киев.

В Киеве Гоголь пробыл дней пять, поселившись у Максимовича, который жил около Печерской лавры. Похожий на деревенского дьячка, в очках в железной оправе, Максимович радостно принял гостя. Он тут же выложил перед ним свои сокровища. Собранные им песни Гоголь прочел запоем, восхищаясь их звуками, красками, драматизмом их содержания.

Но больше всего увлек Гоголя самый город. Целыми днями бродил он по Киеву, взбирался на Владимирскую горку, осмотрел знаменитые пещеры, любовался на широкий Днепр. Вместе с Максимовичем побывал у Андрея Первозванного. Особенно полюбился ему вид оттуда на Кожемяцкое ущелье и Кудрявец. Около них стояла дивчина в белой свите и намитке и пристально смотрела на Днепр.

— Чого ты глядишь так, голубко? — спросил Гоголь.

— Бо гарно дывиться, — отвечала она задумчиво.

Гоголь был в восторге от этого ответа и все говорил Максимовичу, что в народе сохранилось подлинное чувство прекрасного.

Однако дела призывали в столицу. И он вместе

с Данилевским и присоединившимся к ним в Киеве Пащенко отправился в путь.

В компании с друзьями-нежинцами Гоголь снова почувствовал себя легко и весело. Всю дорогу он подшучивал над ними, изображал в лицах общих приятелей, рассказывал забавные истории. Гоголь любил мистифицировать окружающих, сочинить и разыграть забавную сценку.

Он представлял ревизора, едущего инкогнито. Пащенко был отправлен вперед и распространял по дороге известие, что за ним следует таинственный ревизор, скрывающий свое звание и цель своей поездки. Поэтому, когда вслед за Пащенко приезжали Гоголь с Данилевским, то на станциях уже все было готово к их приему. Появляясь на почтовой станции, Гоголь держал себя со скромным достоинством и молча протягивал свою подорожную, в которой значилось непонятное для станционных смотрителей, но необыкновенно важно звучавшее звание «адъюнкт-профессор». Сбитый с толку смотритель принимал его чуть ли не за адъютанта самого государя императора и обслуживал с необычайной предупредительностью и трепетом.

Гоголь покровительственно справлялся о состоянии дел и как бы из простого любопытства спрашивал:

— Покажите, пожалуйста, какие здесь лошади, я бы хотел посмотреть их?

При этих словах смотритель приходил в полное смятение, и дело кончалось тем, что немедленно снаряжалась самая лучшая тройка, на которой друзья бойко катили в столицу.

РОЖДЕНИЕ КОМЕДИИ

Снова Петербург, величественный и бездушный. Стоял осенний, октябрьский день. Мелкий дождик беспрерывно сеялся как сквозь сито, почти бесшумно. Гоголь накинул шинель и вышел на улицу. Он не взял извозчика. Ему хотелось пройтись, да и до

Дворцовой набережной, на которой жил Пушкин, было недалеко. Свернув на Невский проспект, он прошел через величественную арку Главного штаба и направился на Дворцовую набережную. Пушкин только что возвратился из Болдино, и Гоголю необходимо было с ним посоветоваться. Дела его складывались неблагоприятно. Он ожидал, что «Миргород» и «Арабески» принесут ему приличный доход, но получилось как-то так, что книготорговцы, лицемерно жалуясь на трудные времена, выплачивали ему гроши. Денег даже на скромное существование не хватало, и неизвестно было, откуда их доставать. Здоровье тоже беспокоило Гоголя. В холодную и сырую погоду он чувствовал себя больным, кутался в теплый халат, прислушиваясь к каким-то томительным болям в желудке.

По Невскому проезжали блестящие лакированные кареты, запряженные четверней, на высоких колесах, с ливрейными лакеями на козлах, забрызгивая прохожих грязью и быстро исчезая в густой сетке дождя.

По совету Пушкина Гоголь начал работу над первыми главами своей поэмы «Мертвые души». Но пока что ее окончание представлялось еще очень отдаленным и неясным. Он недавно послал Пушкину для прочтения только что законченную комедию «Женитьба», имевшую такой успех на чтениях в Москве.

Пушкин занимал обширную квартиру во втором этаже с окнами, выходившими на Неву и Петропавловскую крепость. Он недавно переехал в этот дом, и комната его еще не была полностью обставлена. На полу лежали стопки книг, на диване и креслах бумаги, платье. Пушкин радостно приветствовал гостя и, крепко обняв его, сразу же спросил, что у него нового, как обстоят его дела.

— Мои «Арабески» и «Миргород» не идут совершенно! — пожаловался Гоголь. — Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, который без всякой совести можно повесить на первом дереве!

— Они вполне заслуживают этого, — охотно со-

гласился Пушкин. — Спасибо, великое спасибо вам за «Коляску», — продолжал он, — в ней наш альманах далеко может уехать. Но даром мы ее не возьмем, установим ей цену. Вам, наверное, нужны деньги?

Гоголь не отрицал своих стесненных обстоятельств. Но его прежде всего увлекала мысль о новой комедии, и он обратился к Пушкину с просьбой:

— Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот! Рука дрожит написать комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Сделайте милость, дайте сюжет, — духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта. Ради бога! Ум и желудок мой оба голодают.

Пушкин рассмеялся, а затем рассказал ему историю о Павле Петровиче Свиньине, которого Гоголь хорошо знал. Свиньин издавал журнал «Отечественные записки», в котором Гоголь напечатал свою первую повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Но Свиньин так самоуправно поступил с его рукописью, что Гоголь перестал поддерживать с ним отношения. В литературных кругах весьма насмешливо относились к почтенному Павлу Петровичу, зная его хвастливый характер и любовь к дешевой сенсации, ради которой он легко мог и прилгнуть. По словам Пушкина, Свиньин недавно побывал в Бессарабии и там выдавал себя за важного петербургского чиновника. Местные жители поверили в его высокое положение и стали подавать ему жалобы на городничего и городских чиновников.

— Вот вам и план комедии, — добавил Пушкин. — Свиньин, скажем Криспин, приезжает на ярмарку. Его принимают за ревизора. Губернатор — честный дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Криспин сватается за дочь.

Для Гоголя рассказ Пушкина явился как раз тем звеном, которого ему не хватало. Он припомнил мно-

жество случаев, когда ловкие пройдохи легко морочили доверчивых людей. Да и сам он в шутку недавно дурачил станционных смотрителей. Ведь в условиях полной безгласности, отсутствия общественного мнения и контроля правительство вынуждено было прибегать к системе внезапных, тайных ревизий, для того чтобы хоть сколько-нибудь пресечь неслыханное взяточничество, бесконечные злоупотребления и самоуправство административного аппарата на местах.

— Да и со мной произошла подобная история,— продолжал Пушкин. — Когда я ездил в Уральск собирать сведения о Пугачеве, то в Нижнем Новгороде остановился у губернатора Бутурлина. Он прекрасно меня принял и очень за мной ухаживал. Оттуда я поехал в Оренбург, где генерал-губернатором был мой давнишний приятель Василий Алексеевич Перовский. Как-то утром он будит меня и, заливаясь хохотом, читает письмо Бутурлина из Нижнего. Бутурлин там сообщал: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о пугачевском бунте, должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях».

Гоголь расхохотался:

— Так и вы тоже, Александр Сергеевич, оказались ревизором? — И он рассказал ему о своей шутливой мистификации во время поездки из Киева.

Пушкин поинтересовался, как идет у Гоголя работа над романом.

— Сюжет растянулся на предлинный роман,— признался Гоголь, — и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать, хотя с одного боку, всю Русь.

Впоследствии Гоголь отмечал, что именно Пушкин заставил его по-новому отнестись к своему творчеству: «Пушкин заставил меня взглянуть

на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение, и, наконец, один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мною прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!..»

В заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.)».

Пушкин пригласил Гоголя в гостиную. Туда вскоре вышла во всем блеске своей необыкновенной красоты Наталья Николаевна. Подали чай. Пушкин любил чай и пил его помногу. Наталья Николаевна была приветлива и очаровала Гоголя. Говорили о столичных новостях и сплетнях. Пушкин жаловался на то, что в публике бранят его «Историю Пугачева», только что вышедшую из печати.

— Уваров большой подлец, — говорил Пушкин.— Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дондуков преследует меня своим цензурным комитетом. Уваров большой негодяй и шарлатан. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты...

— «История Пугачева» будет у нас единственное в этом роде сочинение, — заметил Гоголь. — Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман.

Пушкин был обрадован словами Гоголя...

Наконец Гоголь собрался уходить и попрощался с хозяевами. Лишь только он ушел, Пушкин, смеясь, сказал Наталье Николаевне:

— С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя. Ну да на здоровье!

У СМИРНОВОЙ

Рано утром Жуковский прислал записку с приглашением отправиться на вечер к фрейлине Смирновой. Он добавлял также, что будет там и Пушкин.

«Черноокая Россети», как называл ее Пушкин, была всеобщей любимицей. Она покоряла сердца не только красотой, но и изящным и тонким умом, независимостью и живостью своих суждений. Француженка по отцу, служившему комендантом одесского порта, грузинка по матери, Александра Осиповна свое раннее детство провела в Одессе, а затем на Украине. После смерти отца и вторичного замужества матери она была отдана в Екатерининский институт. По окончании института Россети была назначена фрейлиной при императрице Марии Федоровне, а затем при дворе Александры Федоровны.

Небольшого роста, смуглая, похожая на цыганку, с прекрасными черными глазами, фрейлина Россети в душной атмосфере петербургского «света» привлекала многочисленных поклонников, в том числе Пушкина, Вяземского, Жуковского. Жуковский, часто встречавшийся с нею в дворцовом кругу, называл ее «всегдашней принцессой своего сердца». Пушкин и Вяземский посвятили ей стихи. Гоголь впервые встретился с нею в 1831 году в Царском Селе, гуляя по парку вместе с Жуковским и Пушкиным.

К огорчению своих поклонников, молодая фрейлина неожиданно вышла замуж за Николая Михайловича Смирнова, человека добродушного, богатого, но ограниченного и недалекого. В свете называли его un bon garçon *. Поселившись с мужем в небольшом доме с мезонином на Мойке, Александра Осиповна завела свой литературный салон, посещавшийся избранным кругом.

Жуковский заехал за Гоголем в придворной карете, и они вместе отправились к Смирновой. По дороге Жуковский рассказывал Гоголю, как года два тому назад в день рождения Смирновой Пуш-

* Добрым малым *(франц.)*.

кин купил на Невском альбом с большими листами. Принеся его Александре Осиповне, он на первой странице начертал: «Исторические записки А.О.С.»,— а дальше вписал посвященные ей стихи, сложенные как бы от ее имени:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

— Вот ей лучшая рекомендация! — заключил Жуковский. — Ну, а теперь мы уже приехали.

Александра Осиповна встретила их в небольшой, изящно обставленной гостиной. Там уже находились Вяземский и Пушкин.

— Александра Иосифовна, — смеясь, проговорил Жуковский, — так вас приличнее называть, нежели Осиповною, поскольку, будучи весьма прекрасною девицею, вы имеете неотъемлемое право на то, чтобы родитель ваш именовался Иосифом Прекрасным, как упоминается в библии, а не просто Осипом, словом несколько шероховатым, напоминающим об осиплости, неприятном недуге человеческого горла. А это, извольте любить и жаловать, уже известный вам земляк ваш Николай Васильевич Гоголь.

В гостиной царило веселое оживление. Пушкин и Вяземский сидели в креслах и состязались в острословии.

Даже здесь, в гостиной, залитой мягким светом люстр, дробящимся бриллиантовыми искрами в граненых висюльках хрусталя, в теплом воздухе, наполненном ароматом тонких парижских духов, турецкого табака, тающих от жара восковых свечей, ощутимо какое-то беспокойство, смутная тревога, неуверенность. Благополучие зыбко и непрочно. Царь подозрителен. Многочисленные агенты Бенкендорфа

терпеливо и неустанно собирают слухи, слушки, сплетни, факты и выдумки о каждом из здесь присутствующих. В особенности много сведений и донесений накопилось о Пушкине.

И, заглушая эту смутную тревогу, отгоняя липкий, упорный мрак за окнами, гости шутят и балагурят, острят и подсмеиваются над нелепостью окружающего, а нередко и сами над собою.

Когда Гоголь с Жуковским вошли в гостиную, Пушкин рассказывал подробности торжественного праздника во дворце в честь совершеннолетия наследника Александра Николаевича, который по этому случаю приносил присягу государю. Как камер-юнкер, Пушкин был обязан присутствовать при этой церемонии.

— Это было вместе торжество государственное и семейственное, — насмешливо говорил Пушкин. — Великий князь был чрезвычайно тронут. Присягу произнес он твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Присяга в Георгиевском зале под знаменами была повторением первой — и охолодила действие. Все были в восхищении от необыкновенного зрелища! Многие плакали,—лукаво улыбнулся Пушкин,—а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез. Митрополит Филарет сочинил службу на случай присяги. Он выбрал для паремии главу из «Книги царств», где, между прочим, сказано, что «царь собрал и тысячников, и сотников, и евнухов своих». Князь Нарышкин заметил, что это искусное применение к камергерам. А в городе стали говорить, что во время службы будут молиться за евнухов. Принуждены были слово «евнух» заменить другим.

Все невесело рассмеялись рассказу Пушкина, который был раздражен своим недавним назначением в камер-юнкеры и зло острил по адресу государя и дворцовых кругов.

Подали чай. Тонкие фарфоровые чашечки украшены были картинками из священного писания. Гоголь оказался по соседству с хозяйкой. В своем бе-

лом платье с открытыми плечами и руками, Александра Осиповна казалась особенно смуглой. Ее большие черные глаза смотрели насмешливо и ласково. Она вполголоса говорила Гоголю о впечатлении, какое произвели на нее «Вечера на хуторе».

— Я ведь провела детство в Малороссии. Я люблю ее тихие вечера, ее чудесные песни, ее ласковую природу: высокий камыш и бурьян, журавлей, которые прилетают на кровлю знакомых хат, серенький дымок из труб...

Гоголь воодушевился и начал рассказывать про украинский вечер, когда садится солнце и табуны гонят с поля, отставшие лошади несутся, подымая пыль копытами, а за ними с нагайкой в руке спешит пожилой дядько с длинным чубом... А где-то за селом раздается песня...

— Но лучшие песни и голоса, — закончил Гоголь, — слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами!

Александра Осиповна молча встала и подошла к клавесинам. Аккомпанируя себе, она запела приятным, несильным голосом.

Ой не ходы, Грыцю,
Тай на вечерныци!
Там на вечерныцах
Дивкы чаровныци!

Окружающие умолкли. С песней в гостиную проник молодой задорный голос украинской дивчины, свежее дыхание благодатного деревенского вечера.

Разговор вновь сделался общим. Все стали дружно нападать на «барона Брамбеуса», который своей «Библиотекой для чтения» сумел приманить читателей. Пушкин, горячась, доказывал, что следует не потрафлять нетребовательным вкусам, а приучать публику к произведениям лучших наших писателей.

— Сословие, стоящее выше Брамбеусины, — добавил Гоголь, — негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки. Сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директора департаментов читают и надрывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: «Сукин сын, как хорошо пишет!» Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать. Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства.

Пушкин расхохотался.

— Потому-то и надо с ним бороться. Мы будем издавать свой журнал, в котором и Гоголь и Вяземский смогут печатать все, что захотят.

Вечер затянулся. Пора уже было и расходиться, и Гоголь вместе с Пушкиным, Жуковским и Вяземским попрощался с хозяйкой и вышел на темную набережную Мойки. Смуглая красота Смирновой, ее быстрые легкие движения, задумчиво-бездонные глаза не раз вспоминались ему в дальнейшем. Он сердился на себя за то безотчетное чувство грусти, которое они у него вызывали.

«РЕВИЗОР»

Теперь Гоголь вплотную засел за новую комедию. Он оставил все прежние работы, даже уже почти законченную «Женитьбу», и погрузился в трагикомический мир «Ревизора». Здесь пригодился весь жизненный опыт писателя. Вспомнились и остановки проездом в небольших провинциальных городках, встречи с местными чиновниками, беседы со станционными смотрителями и случайными попутчиками, выкладывавшими неприкрашенную правду проезжему человеку об «отцах города». Вспомнились и рассказы, слышанные им еще в Васильевке, про миргородского городничего, беззастенчиво обиравшего население, и пушкинский анекдот о Свиньине, принятом за важную фигуру, и многие подобные рассказы о ловких аферистах и самозванцах, легко дурачивших легковерных обывателей и местных чиновников. Но ос-

новное, что хотелось передать Гоголю в комедии, — широкую картину несправедливостей, взяточничества и самоуправства, отличавшую всю тогдашнюю Россию. «В «Ревизоре», — писал впоследствии Гоголь, — я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».

Результат превзошел чаяния писателя. Обличительная сила комедии оказалась во много раз резче и разрушительнее, чем предполагал сам Гоголь, не покушавшийся на ниспровержение всего государственного порядка. Типическая, обобщающая значимость созданных им образов оказалась такова, что в своей комедии он показал не только местных чиновников маленького захолустного городка, но и весь бюрократический аппарат старой России, создал навсегда сохранившие свое типическое значение образы архиплутов и притеснителей народа, взяточников и карьеристов.

Городничий Сквозник-Дмухановский — монументальная фигура «значительного лица», опора насквозь прогнившего самодержавно-крепостнического режима. Искушенный бюрократ, Сквозник-Дмухановский держит в руках весь «вверенный» его управлению город. Он выслужился из низов, превзошел сложную «науку» бюрократических канцелярий, взяточничества, угодничества. Грубый и невежественный самодур, городничий не лишен природной смекалки и прекрасно знает, как надо устраивать свои делишки. Гоголь на протяжении всей пьесы раскрывает его лицемерие, его начальственное честолюбие, грубость и алчность.

«Городничий, — как пояснял созданный им образ сам Гоголь, — не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная действительность, и в то же время нисколько не дурак, но по-своему очень и очень умный человек, который в своей сфере очень действенен, умеет ловко взяться за дело, — сворovать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опас-

ного ему человека». Гоголь создавал живых людей, с плотью и кровью, людей, которые повсюду встречались, и в то же время он умел показать в них типические черты, запечатлеть их общечеловеческую сущность.

В своих комедиях Гоголь выступил как замечательный художник-новатор. Он высоко ценил комедии Мольера, Гольдони, Фонвизина, своего земляка Капниста. Но в пьесах его предшественников очень многое являлось данью традиции, двигалось по знакомым шаблонам. Действующие лица в этих комедиях слишком отчетливо подразделялись на плохих и хороших, причем первые являлись олицетворением какой-нибудь одной отрицательной черты характера, а вторые — средоточием добродетели. Гоголь мечтал о создании реальных, жизненно правдивых характеров. «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам...» — писал Гоголь. Его городничий, Хлестаков, Анна Андреевна — жена городничего, смотритель богоугодных заведений Земляника и прочие чиновники — полнокровные, живые люди, а не отвлеченные олицетворения.

Центральным образом комедии оказался Хлестаков. Сам по себе он полное ничтожество: «даже пустые люди называют его пустейшим», — говорит о нем Гоголь. «Но сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивши глаза всех, дал ему поприще для комической роли». Хлестаков не просто безобидный враль и легкомысленная «фитюлька». Это столичная штучка, «трактирный денди», сочетающий легкомыслие с бездной нахальства и пошлости. Он типический представитель паразитического общества, живущий лишь для того, чтобы срывать «цветы удовольствия». Типичность Хлестакова не ограничивалась лишь эпохой, современной Гоголю. Писатель воплотил в нем черты общечеловеческой пошлости, присущие очень многим людям, желание сыграть роль значительнее ему свойственной, показаться чином повыше. «Всякий хоть на минуту, — писал Гоголь, — если не на несколько минут, делался или делается Хлестако-

вым... И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым».

В своей комедии Гоголь не показал ни одного честного человека, ни одного положительного героя, нарушив этим драматургическую традицию. Уродливая и безобразная действительность царской крепостной России не давала материала для положительных образов. Но это не означало, что «Ревизор» был лишен положительного начала. Этим положительным началом являлся «смех», то отрицательное, сатирическое отношение автора к действительности, которое утверждало высокий и благородный нравственный идеал. Гоголь отступил от традиции и еще в одном отношении: его комедия основана на общественном конфликте, на столкновениях социального порядка, а любовная интрига в ней не играет сколько-нибудь значительной роли.

Жизненность, реальность комедии усиливалась и замечательной выразительностью языка: каждый персонаж говорил ему лишь одному присущим языком, наглядно передававшим его характер, его жизненный облик.

Гоголь писал свою комедию с невиданной быстротою. За два месяца она была готова. 6 декабря 1835 года он сообщал Погодину в Москву, что окончил комедию «третьего дни», то есть 4 декабря. Эта стремительность в написании «Ревизора» сочеталась с большой, упорной работой над текстом комедии. Писатель в корне переделал первый ее вариант, решительно удалив из комедии длинноты, излишне водевильные ситуации, отшлифовав ее язык, выверив каждое слово в речи персонажей.

18 января 1836 года Гоголь читал «Ревизора» на квартире у Жуковского. Но работа над пьесой продолжалась. В письме к Погодину от 21 февраля Гоголь сообщал: «Я теперь занят постановкою комедии. Не посылаю тебе экземпляра потому, что беспрестанно переправляю».

Поставить комедию на сцене, провести ее через

цензуру было далеко не просто, это требовало многих хлопот и усилий.

С первых же шагов стало ясно, сколько труда понадобится для осуществления постановки. Лишь при содействии Жуковского и графа Вьельгорского удалось добиться разрешения. Жуковскому пришлось обратиться к самому императору Николаю I, охарактеризовав комедию как безобидную шутку. Это решило участь комедии. Цензор Ольдекоп в своем докладе шефу жандармов Дубельту также пересказал содержание «Ревизора» как смешные и невинные похождения Хлестакова, закончив свой пересказ выводом: «Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного». Несомненно, что в этом выводе сказалось воздействие хлопот Жуковского, но и независимо от этого многие из читавших не поняли сразу всю глубину комедии Гоголя, ее сатирическую обобщенность. Наконец 2 марта 1836 года Дубельт наложил резолюцию на докладе Ольдекопа: «Позволить».

Согласно тогдашнему обыкновению к постановке пьес нередко привлекался и сам автор. Гоголь воспользовался этой возможностью, он посещал репетиции, давал исполнителям указания и советы. Он сильно волновался, проявлял необычайную энергию и настойчивость.

На главные роли были привлечены лучшие артистические силы столицы: городничего должен был играть Сосницкий, Хлестакова — Дюр, Осипа — Афанасьев.

Перед началом репетиций Гоголь собрал всех актеров и прочел им свою пьесу. В золотых очках на длинном птичьем носу, с плотно сжатыми губами и подбородком, подпертым острыми концами крахмального воротничка, в зеленом франтовском фраке с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, в коричневых узких брюках Гоголь был торжествен и сосредоточен. В руках он держал цилиндр, который непрерывно вертел. Читал Гоголь очень просто, естественно, но так, что каждый персонаж делался понятен, словно живой вставал перед глазами.

По прочтении пьесы создалась какая-то заминка. Актеры, привыкшие к неправдоподобным, забавным комедиям и переводным водевилям, не могли понять именно естественности пьесы Гоголя. Пока он беседовал с Сосницким и начальником театра А. И. Храповицким, остальные разбрелись по комнате и шептались друг с другом.

— Что же это такое? — недоуменно спрашивал пожилой актер своего более молодого собеседника. — Разве это комедия?

— Читает-то он хорошо, но что же это за язык? — вторил ему другой. — Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина — как есть простая баба, взятая с Сенной площади! Чем же тут наш Сосницкий восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?

Эти толки, видимо, дошли и до Гоголя, который заметно нервничал и все быстрее крутил в пальцах свой новенький цилиндр.

Гоголь составил особые, письменные указания актерам, в которых подчеркивал необходимость жизненной достоверности в исполнении ими ролей. «Больше всего надобно опасаться, — указывал он, — чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях. Напротив, нужно особенно стараться актеру быть скромней, проще и как бы благородней, чем как в самом деле есть то лицо, которое представляется. Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той серьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии».

Однако советы и указания Гоголя неохотно принимались артистами, плохо уяснившими глубину замысла комедии, жизненную правду играемых ими персонажей, сложность их характеров. Гоголю трудно было добиться даже такой элементарной вещи, как репетиции в костюмах. «Мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уже

знают свое дело. Заметивши, что цены моим словам давали немного, я оставил их в покое», — жаловался Гоголь после спектакля Пушкину.

Даже на репетициях Гоголь вносил в свою пьесу дополнительные штрихи, нередко рождавшиеся тут же на сцене. На оклик Сосницкого, игравшего городничего: «Эй, Свистунов!» — вбежал какой-то выходной актер и стал читать роль квартального.

— А Прохоров где? — спросил Сосницкий.

— Опять запьянствовал! — ответил кто-то из-за кулис.

Этот разговор так понравился Гоголю, что он тут же вставил в пьесу диалог между городничим и частным приставом.

Особенно много внимания уделил Гоголь декорациям и монтировке спектакля. Пьеса должна была идти по обычаям того времени в декорациях, взятых большей частью из других спектаклей. Он же распорядился дать декорации попроще, вынести роскошную мебель, поставленную было в комнате городничего, и заменить ее простой мебелью, прибавив клетки с канарейками и большую бутыль с наливкой на окне.

Подготовка спектакля отнимала много сил и времени. Гоголю приходилось тем более трудно, что Пушкин приступил к изданию журнала «Современник», к которому привлек и его. В «Современнике» печатались «Коляска», «Утро делового человека» (сцена из комедии «Владимир 3-ей степени»), «Нос», а для первого тома журнала Гоголем была написана программная статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году».

СПЕКТАКЛЬ

В самом начале 1836 года Петербург был взволнован происшествиями, которые занимали долгое время столичных жителей и служили неистощимой темой разговоров. В феврале произошел пожар масленичного балагана Лемана. При пожаре погибло

много зрителей. Дощатые стены, пропитанные смолой, мгновенно загорелись от лампы, стоявшей слишком близко, и люди заживо сгорели, не успев выбежать из балагана. Полиция же запретила народу разобрать балаган, считая, что это дело пожарных, которые приехали слишком поздно. Зато «Северная пчела», извещая о пожаре, сообщала, что люди горели в удивительном порядке и что при этом все надлежащие меры были приняты.

Другим событием явилась постановка «Ревизора», состоявшаяся 19 апреля на сцене Александринского театра. Билеты были разобраны задолго до спектакля самым аристократическим кругом зрителей. Зал заполнился блистательнейшею публикою, вся аристократия была налицо, зная, что государь обещал быть в театре. Государь сидел в своей ложе в эполетах, в ловко скроенном мундире, подчеркивавшем его военную выправку. Партер ослеплял обилием звезд и орденов. Министры расположились в первом ряду и напряженно смотрели на ложу государя, с тем чтобы аплодировать при его аплодисментах, но никак не ранее.

Среди зрителей находились и маститый баснописец дедушка Крылов, обычно не посещавший театральных представлений, Пушкин с женою, Жуковский, Вяземский.

Лишь только поднялся занавес, зрители были поражены и приведены в недоумение. Все в этом спектакле казалось необычным. Городничий, столь откровенно и цинично признающийся в своих «грешках» — в том, что он купечеству и гражданству «солоно пришелся»! Весь синклит чиновников, взяточников, плутов и бездельников, которые ничего общего не имели со смешными героями водевилей. Однако, привыкнув к смешным, фарсовым положениям тогдашних пьес, зрители и «Ревизора» первоначально приняли за комический безобидный фарс. Когда городничий в конце первого действия, обескураженный приездом ревизора и неполадками в городе, выходил, надев вместо шляпы картонный футляр, в зале раздался громкий смех. Но когда городничий сообщил частному приста-

ву о положении дел, то смех прекратился, и зрители, сверкающие орденами и звездами, с удивлением выслушали горькую правду о порядках, царивших в городе: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он для порядка всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому...» Здесь речь шла не только о захолустном провинциальном городке. Подобные порядки — и чудовищное казнокрадство, и безудержное самоуправство властей — невозбранно существовали повсюду, по всей России. Поэтому-то все эти господа, присутствовавшие на спектакле во фраках и мундирах, и были так задеты бесцеремонностью автора, выставившего на свет то, что всячески стремились сохранить в тайне.

Поскольку государь, видимо, был доволен спектаклем, смеялся и изволил даже раза два похлопать по окончании первого действия, то и министры и прочие сановники вынуждены были, скрепя сердце, хлопать в ладоши и улыбаться. Но чем дальше развивалось действие пьесы, чем все явственнее и язвительнее становилась насмешка автора над городничим и чиновниками, тем больше вытягивались и хмурились лица зрителей.

В сцене, когда Хлестаков, воодушевленный своим успехом, вымогает взятки у чиновников города, а они охотно дают ему «взаймы» деньги, и многоопытный жулик — смотритель богоугодных заведений Земляника поучает, что именно так в «обществе благоустроенном делается», зрители уже не аплодировали, а негодовали. Это негодование довершено было заключительным пятым актом, в котором городничий дает простор своим честолюбивым мечтам — «влезть в генералы».

Гоголь сидел в глубине ложи, сгорбившись, при-

крывая глаза тонкими, сжатыми пальцами. Его пьеса казалась ему чужой, актеры не поняли его замысла, не увидели в своих ролях того, что шло от жизни.

«Разве таким должен быть Хлестаков? — думалось ему. — Дюр делает его смешным хвастуном, паркетным шаркуном, наподобие ничтожных героев французских водевилей. Нет, его Хлестаков не таков. Его можно увидеть всюду, даже в этом переполненном зале. Вон в первых рядах сидит гвардейский офицер, затянутый в щегольской мундир и как-то особенно ловко перегнувшийся в своем кресле. В его лихой позе чувствуется тот же Хлестаков. Или рядом с ним солидный государственный муж во фраке со звездою. Ведь и он, тщеславно выставляющий напоказ свою звезду, с негодующим презрением поглядывая на сцену, тоже сродни его Хлестакову.

А вот сидит низенький, толстый Булгарин, пытающийся уловить настроение зрительного зала. Он любит представляться добродушным, беззаботным болтуном, и лишь маленькие блудливо бегающие глазки выдают в нем трусливого прохвоста и доносчика.

Видимость, внешность, стремление показаться чином повыше, чем есть на самом деле, — вот что владеет всеми этими господами. И так всюду царит лишь видимость, мундир, тщеславное желание блеснуть несуществующими достоинствами. А под всем этим — низость, корысть, ложь, внутренняя пустота.

Этим господам полезно будет посмотреть, каковы они на самом деле, если только все эти господа поймут смысл комедии».

Постепенно в зале нарастало какое-то смутное недовольство. Зрители почувствовали за смешными похождениями столичной «фитюльки» гримасы жизни, отзвуки подлинной действительности, испугавшие их.

Особенно велико было возмущение чиновных зрителей, когда городничий, узнав об обмане, «жертвой» которого он стал, в исступлении обращался к зрительному залу: «Мало того, что пойдешь в посмешище, — найдется щелкопер, бумагомарака, в коме-

дию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх, вы!..»

Эти слова своей неожиданной резкостью переносили действие прямо в зал, относились уже непосредственно к городничим и земляникам, которые, сияя звездами и крестами, сидели в мягких удобных креслах.

Занавес опустился. В партере раздалось несколько разрозненных хлопков и быстро угасло. Зато галерка неистовствовала. Николай I, оценив положение, решил сделать вид, что комедия ему понравилась, и, выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне более всех!» Эти слова предотвратили неминуемую расправу и запрещение комедии.

Гоголь не появился на вызовы. Он стоял за кулисами и мучительно переживал неудачу спектакля.

Расходившаяся чиновная публика громко выражала свое неудовольствие.

— Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу! — раздраженно говорил министр финансов граф Канкрин, обращаясь к военному министру князю Чернышеву.

Нестор Кукольник, снисходительно улыбаясь, толковал своим поклонникам, окружившим его плотной группой:

— Конечно, нельзя отрицать талант автора, но все-таки это фарс, недостойный искусства!

А известный бреттер, дуэлянт, шулер и авантюрист граф Федор Толстой, прозванный «Американцем» за свои похождения на Алеутских островах, громогласно заявил:

— Этот Гоголь — враг России. Его следует в кандалах отправить в Сибирь!

Прислонившись при выходе из зала к колонне в фойе, Гоголь взволнованно прислушивался к разговорам публики. В этих разговорах чаще всего слышалось раздражение, недовольство людей, задетых и обиженных его комедией.

— Зачем эти представления? Какая польза от них? — разглагольствовал почтенный, весьма при-

лично одетый человек. — Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто... я не понимаю подобных представлений.

— Нет, это не осмеяние пороков, — сердито отвечал важный и чиновный толстяк, — это отвратительная насмешка над Россиею — вот что! Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит выставлять само правительство. Просто даже не следует дозволять таких представлений!

Изящная кокетливая молодая дама, смеясь, говорила своему собеседнику:

— Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного человека!

Чиновник важной наружности басил сиплым голосом:

— Я бы все запретил. Ничего не нужно печатать! Просвещением пользуйся, читай, а не пиши.

Эти разговоры прорезал резкий голос в толпе спускавшихся по лестнице:

— Все это вздор! Где могло случиться такое происшествие? Этакое происшествие могло случиться только на Чукотском острову!

Гоголь еще острее приподнял плечи, сжался, прирос к колонне. Неужели это говорят о нем, о его комедии? Ведь он хотел показать людям ту ложь, те безобразия, которые отравляют их жизнь. Он не собирался призывать к ниспровержению существующего порядка, к бунту против властей!

В ответ на восторженные поздравления подошедшего Пушкина Гоголь с горечью стал жаловаться:

— «Ревизор» сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое.

Пушкин пытался разуверить Гоголя, а подошедший П. А. Вяземский, горячо поздравляя автора, сказал:

— «Ревизор» имел полный успех на сцене. А что касается толков чиновной публики, то все стараются быть более монархистами, чем царь!.. Неимоверно что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества!

Однако Гоголя не успокоили слова Вяземского. Недовольство и волнение, вызванные спектаклем, не проходили.

— С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный, — признавался он Пушкину. — О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила, по причинам, однако ж, не относящимся к искусству...

Пушкин убеждал Гоголя пренебречь ругательствами той части публики, которая была задета пьесой. Но Гоголь был расстроен и безутешен. Попрощавшись с Пушкиным, он уехал из театра и отправился к Прокоповичу.

Прокопович встретил его радостными возгласами и, желая порадовать, преподнес только что вышедший из печати экземпляр «Ревизора»:

— Полюбуйтесь на сынку!

Взволнованный Гоголь швырнул книгу на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво:

— Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними! А то все, все!..

ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

«Ревизор» продолжал идти на петербургской сцене, вызывая возмущенные суждения привилегированных зрителей партера и бурное одобрение демократических зрителей галерки. Цензор А. В. Никитенко, принадлежавший к числу тех чиновников, которые

позволяли себе втайне сомневаться в непогрешимости правительственных мероприятий, записал в своем дневнике: «Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, производимое его комедией, многое прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей».

«Ревизор» вызвал резкие нападки реакционной критики. На страницах булгаринской «Северной пчелы» появились ругательные статьи, в которых заявлялось, что «на злоупотреблениях административных нельзя основывать настоящей комедии. Надобны противоположности и завязка, нужны правдоподобие, натура, а ничего этого нет в «Ревизоре». Этой газетенке, которую так любил читать высеченный поручик Пирогов, вторил на страницах «Библиотеки для чтения» О. Сенковский, известный своей беспринципностью. Бывший арзамасец, ставший правительственным чиновником и воинствующим реакционером, Ф. Вигель, даже не повидав и не прочитав пьесы, в письме к М. Загоскину дал волю своей злобе: «Читали ли вы сию комедию? Видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил плутней, подлостей, невежества!»

Лишь молодой Белинский, редактировавший в это время в Москве журнал «Молва», выступил на защиту «Ревизора», поместив в «Молве» статью, в которой дана была верная оценка комедии. В статье указывалось, что публика делится на два разряда и что «так называемой лучшей публикой «высшего тона», «богатой, чиновной, выросшей в будуарах», «Ревизор» мог быть принят только враждебно. «Мы невольно думали, — писал критик, — вряд ли

«Ревизор» им понравится, вряд ли они поверят ему, вряд ли почувствуют наслаждение видеть в натуре эти лица, так для нас страшные, которые вредны не потому, что сами дурно свое дело делают, а потому, что лишают надежды видеть на местах своих достойных исполнителей распоряжений, направленных к благу общему».

Гоголь не услышал этих сочувственных голосов, принадлежавших молодым, демократическим силам, только-только появлявшимся в тогдашнем обществе. Круг его знакомств и наблюдений был ограничен. На него произвели тяжелое, угнетающее впечатление злобные выпады против его пьесы всяческих тряпичкиных и держиморд. Он не предполагал, что его сочтут разрушителем основ, а комедию воспримут как разоблачение всей общественной системы. Ведь он вовсе не покушался на ниспровержение этого прогнившего строя, он думал, что его комедия поможет правительству в борьбе с злоупотреблениями, будет способствовать улучшению общества без насильственных изменений и потрясений!

«Ревизор» должен был пойти и на московской сцене. Щепкин, узнав о премьере в Петербурге, горячо принялся за осуществление постановки в Москве, взяв на себя роль городничего. Он написал Гоголю, прося его приехать в Москву и самому дать указания актерам. Однако Гоголь, оскорбленный и измученный встречей, оказанной «Ревизору» в Петербурге, отказался приехать и в взволнованном письме к Щепкину излил накипевшую на душе горечь. «Делайте, что хотите, с моей пьесой, — писал он, — но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня... Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было

бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели провинциальная».

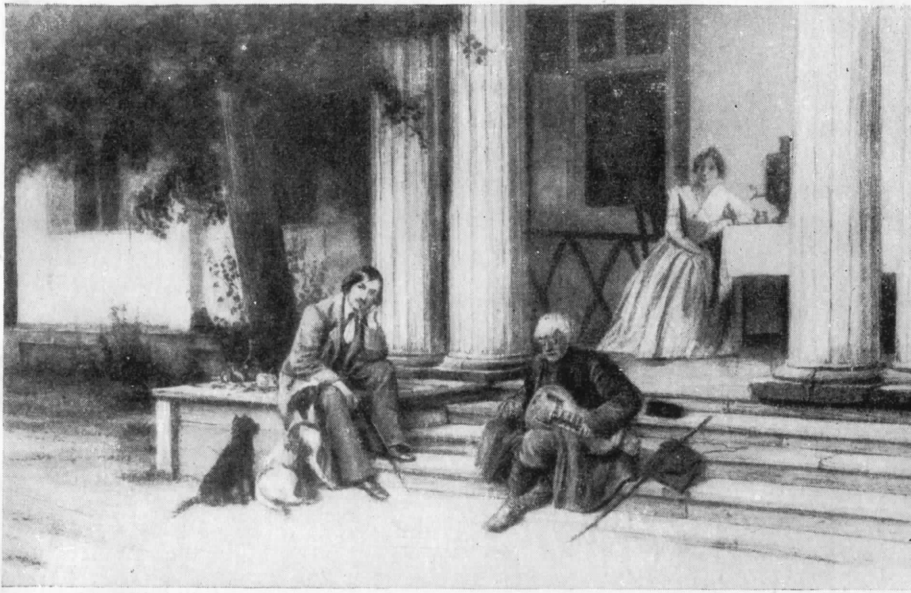
25 мая 1836 года в Москве состоялось первое представление «Ревизора», и Щепкин в роли городничего создал убедительный и правдивый образ гоголевского персонажа.

Постановка «Ревизора» в Москве со Щепкиным в роли городничего вызвала восторженный отклик в «Молве». Критик, скорее всего сам Белинский, писал о том, что на Гоголя возлагаются большие надежды: «Его оригинальный взгляд на вещи, его уменье схватывать черты характеров, налагать на них печать типизма, его неистощимый юмор — все это дает нам право надеяться, что театр наш скоро воскреснет, скажем более — что мы будем иметь свой национальный театр, который будет нас угощать не насильственными кривляньями на чужой манер, не заемным остроумием, не уродливыми переделками, а художественным представлением нашей общественной жизни; что мы будем хлопать не восковым фигурам с размалеванными лицами, а живым созданиям с лицами оригинальными, которых, увидевши раз, никогда нельзя забыть. Да, г. Гоголю предлежит этот подвиг, и мы уверены, что он в силах его выполнить. Посмотрите, какие толпы хлынули на его комедию, посмотрите, какая давка у театра, какое ожидание на лицах!»

За билеты платили вдвое и втрое, народ толпился возле театра, ждали, что приедет автор, но Гоголь в это время уже собирался за границу и в Москву не приехал.

Он никуда не показывался, заперся у себя в квартире, пытаясь разобраться в случившемся. Ведь он честно выполнил свой долг писателя, а его травят и поносят на каждом углу?

Свои раздумья Гоголь поведал в письме к Погодину: «Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, — писал он ему через месяц после премьеры, — продажные таланты, но грустно мне это все-



Дом в Яновщине. Гоголь и его сестра Е. В. Быкова слушают бандуриста. Картина художника В. А. Волкова.

«Ревизор». Рисунок художника Савицкого.





Дом, где в Риме жил Гоголь



Гоголь на вилле
З. Волконской. Рим.
Рисунок В. Жуковского.

общее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде... Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит в переводе опозорить все сословие...» Гоголь не понимал, что страх и ненависть реакционных кругов были вполне обоснованы, так как его комедия действительно подрывала государственную машину. Он сам не сознавал подлинного значения своего творчества, всей его разрушительной, революционной силы.

У Гоголя созрела мысль оставить Петербург, уехать за границу и там спокойно, не волнуясь, продумать случившееся и продолжить работу над «Мертвыми душами», которая в обстановке поднявшегося шума не продвигалась. «Прощай, — заканчивал он письмо к Погодину. — Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный».

Надо было все подготовить к отъезду. Устроить запущенные дела. 2500 рублей, полученные за «Ревизора», пошли на уплату долгов и покупку подарков матери и сестрам. Приходилось опять обращаться к займам, просить в долг у Жуковского. В письме к матери он сообщал, что предполагает пробыть за границей не более года. Он щедро оделил Якима и даже предложил дать ему вольную и отправил в Васильевку с подарками матери и сестрам. Здесь были и витепажеский ситец на платье матери, и шляпки, и платья для сестер, и книги, в том числе «Ревизор», и виды Невского проспекта.

В комнатах стало как-то особенно неуютно и пусто. Хорошо еще, что наведывались друзья. Ему удалось уговорить ехать вместе с ним за границу Данилевского, с которым он почти семь лет тому назад приехал в Петербург.

Высокий и стройный Саша Данилевский в свои двадцать шесть лет был по-прежнему легкомыслен и ни о чем не задумывался. Он уже сменил немало специальностей и должностей. Приехав с Гоголем в Петербург, Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, через год он бросил школу и отправился служить на Кавказ. Но и Кавказ скоро ему надоел, и он возвратился в столицу, поступив на службу в канцелярию министерства внутренних дел. Однако теперь и канцелярия уже успела ему наскучить, и он с превеликой охотой согласился поехать с Гоголем за границу.

Незадолго перед отъездом зашел попрощаться Пушкин. Семья его была на даче на Каменном острове, и он появлялся в городе редко. Жизнь его была омрачена сплетнями, ходившими по городу. Говорили, что за его женой ухаживает красавец кавалергард, французский эмигрант Дантес. Эти слухи волновали и ожесточали Пушкина, оскорбленного недостойными подозрениями. Войдя в маленькую, разделенную перегородкою переднюю, Пушкин снял перчатки и положил цилиндр на край комода. Гоголь радостно приветствовал друга и сразу стал рассказывать о своих делах, о предполагаемой поездке за границу.

Уже темнело. Пушкин сел на диван, Гоголь — около него на стуле.

— Я устал душой и телом, — жаловался Гоголь. — Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми; мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня.

Пушкин внимательно слушал. Он не останавливал жалоб, не уговаривал его, понимая ту внутреннюю муку и душевное смятение, которые охватили Гоголя.

Ему самому были близки эти чувства. Конфликт со светским кругом становился все острее и напряженнее. Он собирался покинуть Петербург и поселиться в деревне, разделяя отвращение к обществу столицы, охватившее Гоголя.

На прощание он попросил прочесть законченные главы «Мертвых душ». Гоголь сначала отказывался, но, наконец, сдался на его просьбы. Он достал из конторки большую тетрадь и начал: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян,— словом, все те, которых называют господами средней руки...» Дальше Гоголь читал, как Чичиков въехал в гостиницу губернского города, как пленил он своими манерами губернский чиновничий Олимп, как отправился он в объезд окрестных помещиков, рассчитывая приобрести за сходную цену «мертвые души»... Закончены были уже две первые главы, и чтение затянулось далеко за полночь. Свечи догорали и оплывали в медных шандалах, за окном уже начинало светлеть, когда Гоголь прекратил чтение.

Пушкин молчал. Он неподвижно сидел на диване и становился все сумрачнее и сумрачнее, а под конец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом, полным тоски:

— Боже, как грустна наша Россия!

Гоголь попробовал его разуверить. Говорил, что это все карикатура, его собственная выдумка. Пушкин молча обнял его и попрощался. Гоголь вышел на лестницу и в предрассветной мгле смотрел, как медленно, задумавшись, сходил вниз Пушкин, опираясь на палку. Это была их последняя встреча.

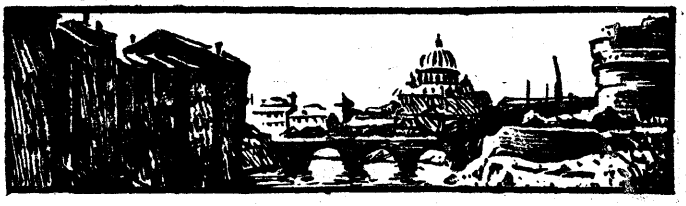
Пушкин не смог прийти проводить Гоголя в гавань. Вместо него пришел его ближайший друг Петр Андреевич Вяземский. С сестрами Гоголь уже простился в Патриотическом институте. Вяземский привез рекомендательные письма и приветы от Пушкина и Жуковского. На пирсе было много народу. Даниловского провожали какие-то веселые офицеры и

нарядные и не менее веселые дамы. Вокруг него звенели шпоры, раздавался смех, выкрикивались дружеские и смешные пожелания. Гоголь отошел на край пристани и вполголоса разговаривал с Вяземским. Он просил его передать привет и добрые пожелания Пушкину и Жуковскому.

— Нынешнее удаление мое из отечества, — с торжественной значительностью сказал он, — послано свыше... Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что на свете не возвращусь скоро.

Пароходный гудок возвестил приготовление к отплытию. Гоголь, обнявшись с Вяземским, по трапу перешел на пароход. Долго еще на палубе виднелась его тонкая, птичья фигура, обращенная к скрывавшемуся за кормой, призрачному в дымке морского тумана Петербургу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ



За границей

И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее.

Н. Гоголь.
Письмо В. Жуковскому 1836

В ПУТИ

Пароход направлялся до Гамбурга. Позади остались Россия, Пушкин, мать, друзья. Но не только друзья. Злобное шипенье, угрозы и ругань сиятельных и чиновных сквозник-дмухановских, ляпкиных-тяпкиных и хлестаковых. Враждебные и надменные лица столичных вельмож и бюрократов.

Теперь Гоголь чувствовал в душе своей новые силы. Сделанное им до сих пор — лишь небольшая часть того, что предстоит сделать. «...Кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, — думалось ему, — в которой на одной странице вид-

ны нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которые бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом!»

Он всегда относился к себе с непомерной, даже несправедливой требовательностью. Ему казалось, что он все еще лишь выбирается на путь, которым следует идти.

Плавание оказалось утомительным и трудным. Из-за штормовой погоды машина много раз портилась, волны заливали палубу, и пароход шел до Гамбурга вместо четырех дней полторы недели. Лишь неунывающий Саша Данилевский шутками и болтовней отвлекал Гоголя от печальных мыслей. Плыли в сероватом, как дым, тумане. Берегов не было видно. Состав пассажиров подобрался случайный, и Гоголь держался от них в стороне.

Наконец добрались до Гамбурга. Настроение Гоголя улучшилось. Гамбург встретил путешественников суетой людных улиц, павильонами, в которых играли военные оркестры, и высокими, узкими готическими церквами и зданиями.

По приезде Гоголь заказал себе платье из тика, дешевого бумажного материала. Франтоватый Саша Данилевский ужаснулся этому костюму.

— Да ты же смешон в этом тике! Уничтожь его тут же! — кричал он другу.

Но Гоголь настоял на своем, уверяя, что для дороги это очень удобное платье.

— Что ж тут смешного? Дешево, моется и удобно!

Надев тиковый костюм, он сочинил тут же смешные стишки, которые они дорогой распевали с Данилевским:

Счастлив тот, кто сшил себе
В Гамбурге штанишки.
Благодарен он судьбе
За свои делишки!

Обедая вместе с Данилевским в гостинице, Гоголь неожиданно сказал торжественным тоном:

— Потребуем старого-старого рейнвейна!

Однако вино им не понравилось, и Гоголь с грустью заплатил за него наполеондор. Ведь денег было в обрез, а за спиною оставалась куча долгов.

В Ахене они с Данилевским расстались: Данилевский предпочел скитаться по немецким курортам, тогда как Гоголю хотелось на юг, к солнцу, в Швейцарию и Италию.

Дорога из Ахена до Майнца шла по Рейну. Путешествие на пароходе осталось в памяти Гоголя. По пути встречались многочисленные городки с кирхами и черепичными остроконечными крышами домов. Глаза уставали, словно как в панораме. Перед окнами каюты один за другим проходили города, утесы, горы, развалины рыцарских замков. Горы из голого камня покрыты были зелеными виноградниками. Из Майнца дилижансом Гоголь прибыл во Франкфурт и оттуда направился в Швейцарию.

По дороге он остановился в Баден-Бадене, встретив петербургских знакомых Балабиных. Баден-Баден — это дача всей Европы, как назвал его Гоголь. На знаменитых баден-баденских водах он вместо трех дней, как предполагал, пробыл около месяца. Ему понравился городок, расположенный на склоне горы и сдавленный со всех сторон горами. Магазины, кафе, зал для балов, театр — все находилось в саду. Горы даже вблизи казались почти лиловыми.

Свидание с Балабиными — матерью и дочерью — обрадовало Гоголя. Он подружился с этой семьей еще в Петербурге, когда Плетнев устроил ему урок с Машей Балабиной. Тогда ей было всего одиннадцать лет. Ее мать, Варвара Осиповна, француженка по происхождению, приняла в нем сердечное участие. Маша, его бывшая ученица, из подростка превратилась в миловидную барышню, еще очень юную, наивную и смешливую. С нею приятно было поболтать, пошутить, посмеяться. Варвара Осиповна

и Маша ездили в Брюссель к Машиному деду и поселились в Баден-Бадене не столько для лечения, сколько для развлечения.

В Бадене Гоголь увиделся и с другой своей ученицей — княжной Варварой Николаевной Репниной, родственницей Балабиных. Он часто заходил к Балабиным и Репниным, и, зная его пристрастие к сладкому, Варвара Николаевна к его приходу собственноручно готовила вкусный компот из фруктов, который Гоголь, смеясь, называл «главнокомандующим всех компотов». По просьбе друзей Гоголь читал им свои произведения: «Ревизора», «Записки сумасшедшего». Когда он читал жалобы Поприщина, его обращение к матери, слушатели не выдержали и расплакались.

Веселая и беззаботная жизнь в Бадене не прельщала Гоголя. Его неустанно гнала вперед внутренняя тревога, стремление забыться в непрерывном движении, в смене впечатлений. Неожиданно он попрощался с друзьями, сел в дилижанс и отправился в Женеву.

Швейцария поразила его. Из-за синих гор вдали виднелись ледяные и снеговые вершины Альп. Во время захождения солнца снега на Альпах покрывались тонким розовым и огненным светом. Часто, бывало, солнце совсем скроется и кругом станет темно, все блестит, горы покрыты темным светом, одни Альпы сияют на небе, как будто транспарант.

На берегу ярко-голубого озера расположилась Женева — столица Швейцарии, с ее памятником Руссо и бесчисленными часовыми мастерскими, бесшумно стучащая маятниками бесчисленных часов. Гоголь провел в Женеве осень 1836 года. Швейцария успокоительно подействовала на него. Снова хотелось работать, писать.

Швейцарские горы не заслонили перед ним пустынных, бескрайных равнин России. В письме к Погодину от 10 сентября он сообщал: «Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут... Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож,

что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, а одна только прекрасная Русь...»

Боль от враждебной встречи его комедии понемногу проходила. Вместе с тем нарастала тоска по родине, чувство одиночества. Друзья его раскинуты по всему свету: Пушкин, Жуковский, Плетнев в Петербурге, Погодин и Аксаков в Москве, Балабины в Баден-Бадене, Данилевский вообще исчез неизвестно куда — вероятно, бродит по Германии.

Гоголь совершил короткую поездку в Ферней, где жил свои последние годы и умер Вольтер. «Был в Фернее, — сообщал он Прокоповичу. — Старик хорошо жил. К нему идет длинная прекрасная аллея, в три ряда каштаны. Дом в два этажа из серенького камня, еще довольно крепок. Я прошел в его зал, где он обедал и принимал; все в том же порядке, те же картины висят. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей: Дидеро, Фридриха, Екатерины. Постель перестланная, одеяло старинное кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворятся двери, и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом, как старый Кромида, и спросит: что вам угодно?» Посетил Гоголь и Шильонский замок, памятный ему по поэме Байрона, которую в переводе Жуковского он с восхищением читал в гимназические годы. Там на камне он начертал свое имя. Он устал от этих странствований, переездов, мелькающих, как в калейдоскопе, картин природы. Наступал октябрь; в Женеве становилось все холоднее, и Гоголь переехал в тихий маленький городок Веве, расположенный по соседству, в котором и прожил месяц.

По старой каштановой аллее Гоголь каждый день сходил к озеру и сидел на берегу. В три часа дня являлся встречать вместе с немноголюдными обитателями Веве приставший в это время к берегу пароход, надеясь встретить кого-либо из знакомых.

Однако на берег выходили лишь долговязые англичане-туристы, и городок вновь погружался в оцепенение и скуку.

Осень в Веве стояла теплая, как лето, и Гоголь вновь вернулся к работе над своей поэмой. В письме к Жуковскому он сообщал: «У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых душ», которые было начал в Петербурге... Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-синерозовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день».

В Женеве и Веве Гоголь перечитывал своих любимых писателей: Мольера, Шекспира и Вальтера Скотта. Но постепенно одиночество, однообразие и скука начинают его угнетать. Погода тоже испортилась, наступило похолодание, и для Гоголя, привыкшего к русским домам с отоплением, жизнь в Веве стала малопривлекательной. Он хотел было отправиться в Италию, но там бушевала холера, и он решил ехать в Париж. Париж привлекал его еще и тем, что он рассчитывал там встретить Данилевского. Тот, наконец, прислал Гоголю письмо и приглашал вновь съехаться вместе.

Итак, снова в путь, снова в дорогу, которая одна лишь способна рассеять, успокоить его мятущуюся душу, хотя бы на время отвлечь от дум и забот. Кажется, что в этой страннической жизни он хочет забыться, отделаться от самого себя, от непосильного груза дум и сомнений. Германия, Швейцария, а затем Франция и Италия следуют друг за другом в беспокойной спешке.

Париж поразил Гоголя исполинским, непрерывным потоком людей, бесчисленными надписями и вывесками, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы; зеркальными витринами магазинов, заставленными массой дорогих вещей. «Вот он, Париж, — думал Гоголь, — это вечное волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещенья, мод, изысканного вкуса, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, размен и ярмарка Европы!»

Ошеломленный, направился он по улицам, поражаясь обилием прохожих, роскошным видом магазинов, вспыхивавшими огнями газовых фонарей, которые делали улицы необычайно живописными. Гоголь решил поселиться не в гостинице, а на квартире, где жил Данилевский. Хорошенькая кокетливая горничная провела его в комнату постояльца. Данилевский радостно вскрикнул и бросился обнимать друга.

— Ну, не стыдно ли, не совестно ли тебе? — укорял приятеля Гоголь. — Как можно не дать совершенно о себе никакой вести! Я разослал к тебе письма во все немецкие дорожные города, оставлял письма во всех гостиницах, писал к трактирщикам, чтобы они расспрашивали о тебе путешественников... И все напрасно!

Данилевский шутливо каялся и уверял, что лишь состояние здоровья и беспрестанные переезды помешали ему своевременно написать о себе. С Данилевским вспомнились Васильевка, Нежинская гимназия, веселые сборища на «чердаке» петербургской квартиры. Данилевский под величайшим секретом прочитал ему свои стихи, которые он писал втайне от всех. Он затворил даже двери, чтобы и французы не услышали.

Они вместе сняли квартиру на углу Place de la Bourse, и Гоголь приступил к продолжению работы над поэмой. Он сидел в своей комнате по утрам, а вечерами они с Данилевским отправлялись бродить по Парижу или же шли в театр. В письме к Жуков-

скому от 12 ноября 1836 года Гоголь сообщал: «Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество — одного сада Тюильри и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо. Бог простер здесь надо мной свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. ...Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками».

Великость начатого им труда, который должен дать ответ на вопросы современности, все более и более захватывает Гоголя. Он смотрит теперь на поэму как на подвиг всей своей жизни.

В свободные от работы часы Гоголь становился весел и оживлен. Особенно любил он бывать в Тюильри. Огромный парк из высоких широколиственных каштанов был всегда полон детьми, их матерями и няньками, сидевшими на стульях со своим рукодельем. За рощей темнело здание Тюильрийского дворца. Гоголь уходил в самый конец парка и садился на скамеечке у просеки, откуда видны были и дворец, и Елисейские поля, и площадь Согласия (Place de la Concorde), на которой был казнен Людовик XVI. По сторонам этой гладкой, как паркет, площади стояли колоссальные статуи — эмблемы главных городов Франции. Ему полюбились и парижские кафе с их зеркальными стенами, уютными кушетками, столами с мраморными досками и наваленными на них кипами газет и журналов.

— Славный собака Париж! — шутливо говорил Гоголь Данилевскому.

Побывали они и в Версале. Прохаживаясь с Данилевским по аллеям великолепного парка, с деревьями, подстриженными почти с геометрической точностью, со все время открывающимися за поворотами красивыми перспективами, фонтанами и статуями, он вспоминал Царское Село. Народу в этот день в Версале было видимо-невидимо, и тем не менее казалось, что вот сейчас по этим аккуратным аллеям пройдут нарумяненные маркизы в фижмах и напудренные придворные Людовика XVI. К трем часам вся гуляющая публика собралась к главному пруду, посреди которого возвышался Нептун, окруженный наядами. Внезапно брызнули из тысячи отверстий тонкие, словно бриллиантовые, струи воды; пересекаясь друг с другом, они образовали сверкающую на солнце радугу.

Гоголя мало привлекала та напряженная, взбудораженная политическая атмосфера, которою жил тогда Париж, так и кипевший страстями и спорами, не унимавшимися после июльской революции 1830 года. Он чуждался споров и разговоров, которые затевались в кафе, на улицах. Равнодушно просматривал парижские газеты с подробными отчетами о заседаниях парламента. «Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, — писал он Прокоповичу, — не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, чем о своих собственных».

Постепенно он разочаровывается в Париже. Его утомляет парадный блеск парижских улиц и магазинов, ему претят эти политические страсти, то напряжение, в котором живет этот большой город. Говоря впоследствии в незаконченной повести «Рим» о переживаниях своего героя, Гоголь, несомненно, имел в виду самого себя: «Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался

ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. ...В движеньи торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился перед другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание».

Гоголь зорко отметил здесь лицемерие, фальшь буржуазной культуры, ее уродливые проявления. Но он не смог и не захотел разобраться в подлинных причинах этого, увидев лишь всеобщую продажность и всеобщий эгоизм.

Париж со своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней.

Лишь театральная жизнь Парижа нашла ответный отклик в душе Гоголя. Он восхищается итальянской оперой, посещает Thêatre Français. Гоголь присутствовал там на торжестве в день рождения Мольера. Шли «Тартюф» и «Мнимый больной». Игра актеров ему понравилась. По окончании спектакля поднялся занавес: все актеры под музыку подходили и увенчивали цветами бюст Мольера. Гоголь был глубоко тронут этой любовью французского народа к своему гению.

Из актеров ему больше всего понравилась Марс. Хотя актрисе уже исполнилось 60 лет, она продолжала покорять зрителей жизненной верностью и обаянием своей игры. В пьесе она играла 18-летнюю девушку. Первоначально разница лет несколько смущала Гоголя, но затем, когда она в других действиях исполняла роль замужней женщины, он невольно простил ей годы. Большое впечатление произвела на него и знаменитая танцовщица Тальони, про кото-

рую Гоголь сказал Данилевскому, что воздушнее ее еще ничего не было на сцене!

В Париже Гоголь застал свою петербургскую знакомую А. О. Смирнову, которая путешествовала по заграницe и недавно переехала в Париж. Вокруг нее группировалось русское общество: А. Н. Карамзин, сын знаменитого историка, С. А. Соболевский, близкий друг Пушкина.

Гоголь часто посещал Смирнову, выказывавшую ему внимание. На вечерах у нее толковали о политических новостях, о спектаклях, музыкальных концертах и картинах. Александра Осиповна считала себя знатоком политики и искусства и могла подолгу говорить о событиях в Польше, о выборах во французский парламент. Ее добродушный, но недалекий супруг обычно невпопад вставлял свои замечания, часто столь нелепые, что они становились предметом веселых шуток собравшихся.

Молодой Карамзин обычно сопровождал ее в прогулках по Парижу, на концерты и в театры. Непринужденная атмосфера гостиной Смирновой, остроумные замечания хозяйки, рассказы А. Н. Карамзина, который успевал всюду побывать, скрашивали для Гоголя пребывание в Париже, напоминали ему петербургскую жизнь.

В Смирновой Гоголю нравились ее острый, насмешливый ум, легкая, изящная грация, огромные черные глаза, то задумчиво, то насмешливо на него смотревшие. И, превозмогая свою всегдашнюю застенчивость и нелюбовь к светскому обществу, он появлялся в ее изящной гостиной и молча слушал ее игру на фортепьяно или весело рассказывал ей какие-нибудь смешные истории.

Стояли теплые последние дни февраля 1837 года. Гоголь пришел веселый, в приподнятом, шутливом настроении и стал рассказывать, как попадают в театр a la file (гуськом), покупая право «на хвост». Задние, пришедшие позже, сговариваются с кем-либо из стоящих впереди, обычно профессиональными барышниками. За вознаграждение они уступают свою очередь и меняются местами, но внезапно в рядах

желающих проникнуть в театр начинается волнение: купленное место захватывается кем-нибудь другим. Гоголь в лицах очень смешно показывал перебранки, возникавшие в таких «хвостах», представлял сценки при покупке права «на хвост». Александра Осиповна и гости весело смеялись.

Андрей Карамзин носил маленькие усики и сохранял в штатском костюме военную выправку офицера гвардейской артиллерии. Обратясь к Александре Осиповне и несколько рисуясь, он небрежно рассказывал о своих парижских впечатлениях, об итальянской опере.

В заключение Карамзин упомянул, что при выходе из оперы он видел писателя Бальзака:

— Коротенький, толстый, краснощекий, в белом галстуке и шелковой donillette, il a l'air ridicule trés peu comme il faut *.

Заговорили о парижских новостях, о маскарадном бале в Opèra, во время которого перила на лестнице сломались от давки, — Карамзину еле удалось удержаться, схватившись за канделябр; о концерте Листа, на котором была Александра Осиповна. Разговор принял светский характер, и Гоголь равнодушно к нему прислушивался.

Из посольства пришел взволнованный Николай Михайлович Смирнов и передал Карамзину письмо, пришедшее на его имя. Андрей Николаевич, извинившись, вскрыл письмо и начал его молча читать. Вдруг он вскрикнул и побледнел, опустив дрожащую руку с письмом. Все встревоженно на него глядели.

— Пушкин убит! — негромко сказал Карамзин. — Пуля Дантеса его сразила.

Александра Осиповна громко и горько заплакала. Гоголь онемел, едва чувствуя, как у него холодеют руки и ноги.

Карамзин тихо, прерывающимся голосом читал письмо Вяземского. Вяземский обвинял в трагической гибели поэта светское общество: «Что скажете

---

* «Неженке» (рубашке), он имел смешной вид, мало приличный *(франц.)*.

вы о страшном несчастье, обрушившемся на наши головы, как громовой удар, когда мы всего менее того ожидали...»

— Петербургское общество сработало славное дело! — с возмущением сказал Карамзин. — Пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке!

Насмешливый, скептический Соболевский плакал в углу как ребенок, утирая глаза платком. Только Николай Михайлович многословно рассказывал, что он едва не поссорился с членами посольства, которые также получили известие о гибели Пушкина. Один из них чуть не выцарапал ему глаза за то, что Смирнов назвал Пушкина самым замечательным человеком в России. Гоголь по-прежнему сидел, как мертвый, не произнося ни звука.

Но вот он тяжело поднялся с места и, обратившись к присутствовавшим, произнес:

— Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждения моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... Я не в силах продолжать его...

Гоголь скорбно замолчал и направился, не прощаясь, домой. Дома он слег тяжелобольным. Данилевский вызвал врача и больше недели ухаживал за ним, пока Гоголь несколько оправился от перенесенного удара.

— Ты знаешь, как я люблю свою мать, — жаловался Гоголь Данилевскому, — но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь. Пушкин в этом мире не существует больше!

Со смертью Пушкина в душе Гоголя что-то оборвалось, ему стало казаться, что писать уже больше не для кого и не для чего!

Карамзин в письме к матери, рассказывая о впечатлении, произведенном вестью о смерти Пушкина, сообщал: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает

о возвращении в Петербург, который опустел для него».

Жизнь в Париже стала для Гоголя нестерпимой. Он решил не медлить с отъездом в Италию.

Перед отъездом он хотел еще навестить Адама Мицкевича. Мицкевич жил в отдаленной части города — Palais de Luxembourg. Годы изгнания, разгрома революции тяжело дались поэту. Он постарел, поседел. Но по-прежнему прекрасно было его одухотворенное лицо с высоким лбом и скульптурно правильными чертами. Мицкевич принял Гоголя в большой, почти пустой комнате. На нем был старый, поношенный халат. Он собирался ехать в Швейцарию преподавать в Лозанне, но из-за болезни жены задержался. Радушно поздоровавшись, он усадил посетителя в высокое кресло. Разговор сразу же зашел о гибели Пушкина — Мицкевич во время пребывания в России близко с ним познакомился и высоко ценил его гений.

— Я ожидал, — сказал Мицкевич, — что вскоре он появится на сцене новым человеком, во всей силе своего таланта, созревшего благодаря жизненному опыту. Все знавшие его разделяли мои страстные желания.

— Да, мне писали из России, — добавил Гоголь, — что все люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких-горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? О! Когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрогается при одной мысли!

— Пуля, поразившая Пушкина, нанесла мыслящей России страшный удар! — произнес задумчиво Мицкевич.

Обратились и к рассуждениям о парижской жизни. Мицкевич жаловался на свою вынужденную эмиграцию, на необходимость жить вне родины.

— Люди здесь, в Париже, — говорил он, — расцветают скоро, но и скоро вянут, увлекаясь внешней стороной жизни. Простота здесь теперь новость и

производит эффект. Так отвыкли от нее. В Париже я не хотел бы жить, разве в Италии. Там можно еще творить!

Гоголь с этим охотно согласился, он сам на днях как раз уезжал в Рим.

Сборы были недолгими. Скромный чемодан с бельем и книгами, большой портфель с рукописями — вот, в сущности, и весь багаж. Труднее всего было расставание с Данилевским, несмотря на его клятвенное обещание не забывать о письмах, а затем и самому приехать в Рим.

На улицах было по-праздничному шумно, на бульварах толпился народ, разряженный в яркие и пестрые костюмы, в масках, с цветами и конфетти. Шел карнавал. Усаживаясь в объемистый дилижанс на Монмартре, Гоголь прощался с Парижем. В последний раз они обнялись с Данилевским, кучер важно уселся на козлы, и лошади повезли дилижанс по парижским улицам, кишевшим праздничной толпой.

РИМ

Переезд в Италию затянулся почти на три недели. Пришлось ехать до Генуи морем, затем через Флоренцию. Лишь 26 марта 1837 года Гоголь вместе со случайным попутчиком Золоторевым прибыл в Рим.

Необычайным казалось и сочетание стройности античной архитектуры, хранящей память далекой древности, великолепия императорского Рима с суровым христианским средневековьем и жизнерадостностью Ренессанса. Это впечатление от города Гоголь передал затем в повести «Рим», с такой полнотой и взволнованностью отразившей его восхищение Вечным городом.

Подъезжая к Риму, Гоголь увидел чудную, сияющую панораму: «Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрыва-

лась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее, над блещущей толпой домов и крыш, величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали зеленью верхушки дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом».

Гоголь попал в Италию, когда там начиналось патриотическое движение, направленное против власти австрийского императора. Продажность администрации, свирепые полицейские расправы с населением, обнищание народа — вот что принесло австрийское владычество. Черная тень католической церкви и папской сутаны нависла над страной. Папа Григорий XVI усугублял угнетение и жестокий террор, помогая иноземным угнетателям. Но ни преследования печати, ни подавление всякой общественной жизни не могли сломить нараставшего недовольства народа. Итальянский народ не хотел примириться со своим угнетенным положением. В 1831 году возникло общество «Молодая Италия», его возглавили Мадзини и молодой Гарибальди. По Италии прокатывается волна восстаний. Однако эти разрозненные выступления не смогли опрокинуть власти реакции.

Гоголь остался в стороне от этого движения. Ему чужда и враждебна была всякая политическая деятельность, отпугнувшая его еще в Париже. Более того, в Италии вопреки действительному положению вещей он увидел умиротворяющее спокойствие, патриархальную неподвижность.

И несмотря на это, Гоголь не замкнулся в кругу русской колонии, не ограничился поверхностным ознакомлением с Италией, как большинство его знакомых и друзей.

Скромная, почти подвижническая жизнь Гоголя в Италии ничем не напоминала жизни богатых иностранцев-туристов. Он постоянно находился среди толпы, посещал простые, дешевые траттории, бродил по бедным кварталам Рима. «Ему нравилась самая невзрачность улиц, — писал Гоголь о своем герое в повести «Рим», — темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхающее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека».

Гоголь почувствовал и высоко оценил прекрасные душевные качества итальянского народа, своеобразие его национального характера. Для него это народ, в котором живет чувство собственного достоинства: «здесь он il popolo *, а не чернь и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов **; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе».

Мирная тишина римской жизни, столь несхожей с бурными политическими страстями Парижа, с его бешеной погоней за наживой кажется Гоголю схожей с его родной Малороссией. Он сообщает Саше Данилевскому в письме из Рима: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; странные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне кар-

---

* Народ (*итал.*).

** Название граждан древнего Рима.

тина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».

Он все больше влюблялся в эту жизнь, в красоту Рима. «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить», — говорил он друзьям.

В Риме он зажил скромной, экономной жизнью. Дешевая комната за 30 франков в месяц, стакан шоколада утром, длительные прогулки по Риму. Лишь в обед Гоголь позволял себе некоторое роскошество. Он стал ценителем итальянской кухни, ее острых приправ, тонких, бесконечно длинных макарон, которые научился в совершенстве приготовлять. Да еще он был большим любителем мороженого и съедал его на 4—5 су в день, хотя и считал это непростительной слабостью и расточительством.

Гоголь быстро свыкся с уличной повседневной жизнью Рима, изучил итальянский язык, узнал итальянские обычаи и нравы простого народа. «Синьор Николо», — так его звали служанки, изредка наводившие порядок и относительную чистоту в его неуютной комнате, трактирщики и гарсоны в остерии.

Целыми днями он бродил по Риму, по заросшему травой Форуму, по узеньким и грязным улочкам около Пантеона, то подымаясь на окружавшие город холмы, на которых раскинулись роскошные виллы, то переходя через мутный Тибр на транстверинскую часть древнего города. Часами он ходил по Корсо, с любопытством разглядывая необычные одеяния проходящих: верблюжьи мантии капуцинов, подпоясанных ремнем, остриженных в кружок, с розовой лысиной тонзуры, прелатов в лиловых чулках и шелковых рясах, молодых монахов в круглых черных шляпах и длинных сутанах. Иногда по улице проезжали щегольские кареты с лакеями в красных ливреях. Это кареты князей церкви — кардиналов. Иногда ему казалось, что в Риме только и есть, что духовенство и пестрый, бедно одетый народ, щеголявший в живописных лохмотьях.

Гоголь ютился на третьем этаже в доме на тихой улице Страда Феличе. Квартирка была вся на солнце. Комната, в которой он спал и работал, была простор-

на, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни, которые закрывались с внутренней стороны. Около двери стояла кровать, посередине большой круглый стол. Узкий соломенный диван занимал вместе с книжным шкафом смежную стену, в которой пробита была дверь в соседнюю комнату. Напротив помещалось высокое письменное бюро, за которым обычно писал Гоголь, а по бокам сгрудились в полном беспорядке стулья с книгами, бельем, платьем. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро и около кровати разостланы были небольшие коврики. В комнате не было никаких украшений, за исключением ночника античной формы на тонкой ножке с желобком, куда наливалось масло.

В Рим Гоголь попал накануне пасхальных праздников. Встретившись с Андреем Николаевичем Карамзиным, он вместе с ним отправился на торжественное богослужение в собор Святого Петра. В огромном здании собора, напоминавшем скорее биржу или цирк, обедню служил папа Григорий XVI. Его внесли на великолепных носилках с балдахином. Несколько раз носильщики останавливались посредине церкви, потому что папа боялся головокружения. Он был похож на искусно раскрашенную куклу. Сам папа не двигался: с него снимали и надевали митру, его кутали в мантию. Длинноносый, худой старик безучастно смотрел на окружающих слезящимися глазами, лишенными ресниц. Кругом золоченые мундиры, фраки, дамы в роскошных нарядах, позади теснился простой народ. По выходе из собора папа на паперти простер руки. Толпа всколыхнулась и стала на колени. Заиграла музыка, раздались колокольный звон и пушечная пальба.

После благословения папа бросил в народ индульгенции: бумажки легко закружились в воздухе, и мальчишки самозабвенно бросились их ловить. Процессия направилась в Ватикан. Вслед за носилками с папой следовали кардиналы в красных мантиях и монсиньоры в лиловых, затем папские телохранители в красных мундирах с белыми султанами, а за ними толпа народа.

— Вы знаете, что нынешнего папу из-за его большого носа называют Пульчинеллой? — смеясь, обратился Гоголь к Карамзину. — Вот стихи на него, которые ходят в народе, не любящем папу за то, что он в прошлом году запретил карнавал:

Oh! questa si ch'é bella!
Proibisce il carnavale Pulcinella! *

Но ни красочная сутолока уличной жизни Рима, ни красота Вечного города, ни ласковое весеннее тепло не сгладили боли утраты, не смягчили того омертвения, которое охватило Гоголя со смертью Пушкина. В конце марта он получил письмо Погодина, наполненное скорбными подробностями, печалью утраты и призывом вернуться в Россию. Оно вновь возбудило острую боль, вызвало прилив отчаяния и тоски: «Моя утрата всех больше, — отвечал он Погодину. — Ты скорбишь, как русский, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Самые светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине! ...Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных не-

* Вот так здорово!
Пульчинелла запрещает карнавал! *(итал.)*.

вежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных?..»

Эта горечь утраты мешала работать. Поэма не двигалась. Самое обращение к ней казалось невозможным. Не напрасно ли он размахнулся? Не будет ли новым болезненным ударом ее окончание, как это получилось с его комедией?

Да, он болен, болен тяжело, болезнью, которую не могут установить доктора, но тем не менее мучительною и серьезной. То его охватывает испарина, слабость, находит какое-то остолбенение, то он чувствует острые боли в желудке, в кишечнике. Доктора говорят, что это все геморроиды! Что нужно лечиться минеральными водами! Но он знает, что геморроиды не такая болезнь, как другие. Для нее не нужны лекарства, следует обращать внимание только на климат и образ жизни. В России и даже в Париже ему все время было холодно, сыро. Лишь благодетельный климат Италии ему полезен и спасителен!

В Риме жизнь стоила недорого. Но и для нее нужны были средства. А у Гоголя они кончались. Длительные переезды, пребывание в Париже, ссуды Саше Данилевскому, порхавшему по европейским столицам и курортам, — привели к полному оскудению и без того тощий кошелек писателя. Гоголь привык к нужде, привык к всегдашней нехватке денег. Но сейчас безденежье означало возвращение в Россию или новое обращение к помощи друзей... Главное же — оно прерывало его работу над поэмой. А тут еще болезнь, необходимость лечения и, следовательно, новых расходов.

Он вспомнил о друге, своем и друге Пушкина, — Василии Андреевиче, который не раз его уже выручал. Может, он добьется субсидии, пенсии, единовременного пособия? И Гоголь написал Жуковскому сразу же по приезде в Рим: «Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими

деньгами, и больше ни копейки, впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен: здесь в Риме около 15 человек наших художников, из которых иные рисуют хуже моего, они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры — я бы был обеспечен, актеры получают по десять тысяч серебром и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель — и потому должен умереть с голоду».

Жуковский и на этот раз помог. Он обратился к царю с просьбой о единовременной субсидии, и через несколько месяцев Гоголь получил деньги. Это была подачка, но в его обстоятельствах и от подачки невозможно отказываться. Деньги пришли вовремя. На них можно было еще год прожить в Риме и поехать лечиться в Баден-Баден, как советовали врачи.

СЕВЕРНАЯ КОРИННА

Притягательным центром для русских путешественников и постоянных обитателей Рима являлась вилла княгини Зинаиды Волконской. Княгиня Зинаида — «Северная Коринна» *, как ее называли восторженные поклонники, обосновалась в Риме с 1829 года. Блистательная красавица, щедро наделенная талантами: поэтесса, певица, музыкантша, она вышла замуж за

* Коринна — героиня одноименного романа де Сталь, поклонница Рима.

князя Н. Г. Волконского, брата декабриста, но вскоре разошлась с мужем и стала вести самостоятельную жизнь. Княгиня Зинаида блистала на международных конгрессах, где решались судьбы Европы после свержения Наполеона. Она пользовалась интимной благосклонностью императора Александра I. В двадцатые годы княгиня поселилась в Москве, и в ее салоне собирался цвет московской интеллигенции и знаменитости со всего света. Княгиня пела, играла на фортепьяно, писала стихи.

«Северная Коринна» не удовлетворилась светскими успехами. Экзальтированное воображение влекло ее к религии, к религии, как ей представлялось, наиболее поэтической — к католицизму. Ловкие папские агенты — иезуиты сделали из нее фанатичную католичку, и княгиня, распростившись со своими московскими друзьями, переехала в Италию. Она приобрела роскошную виллу — Палаццо Поджи — и окончательно обосновалась там под сенью папского престола. Княгиня превратила свой салон в один из филиалов Ватикана, где католические патеры и кардиналы встречались с русскими аристократами, стремясь завербовать их в число адептов наместников святого Петра. Вилла княгини находилась неподалеку от церкви Иоанна Латеранского, в горах. Через сад проходил древний акведук, построенный еще римскими императорами. Этот акведук из огромных неотшлифованных камней служил подножием террасы, с которой открывался величественный вид на пустынную римскую Кампанью.

Вилла окружена была виноградниками, цветниками и заботливо расчищенными дорожками. Вдали виднелись арки водопроводов, акведуков древнего Рима, поля и горы, а с другой стороны населенная часть Рима, Колизей, собор Святого Петра. Дом пристроен был к древней башне, внутри которой в каждом этаже было по комнате, прорезанной узкой амбразурой окна.

Сад вокруг виллы выражал сложную, почти мистическую символику пристрастий и увлечений княгини. Под сенью стройного кипариса одиноко белела

урна в память безвременно умершего поэта Дмитрия Веневитинова. Поблизости находился камень с высеченным на нем именем Николая Рожалина, многообещавшего таланта, который прожил на вилле княгини несколько лет. В куще дерев выступал бюст самодержавного друга княгини — Александра I. Мраморные плиты, окаймленные цветами, были посвящены Карамзину и Пушкину.

Это был свой, домашний Пантеон, который напоминал о самой хозяйке виллы, некогда дружившей с этими людьми, бросавшими на нее отсветы своей славы. В Риме прекрасную княгиню прозвали Беата *. В зале висел портрет ее в костюме Танкреда из оперы Россини, роль, которую она исполняла во время Веронского конгресса в присутствии монархов всей Европы. Романтическое одеяние — шлем и латы — необычайно шли к ее выразительному лицу, гордому и страдальчески мечтательному.

Княгиня радушно встретила приезжего русского писателя. Она знала Пушкина, дружила с Мицкевичем. Друг Пушкина и Мицкевича заслуживал особого внимания. Гоголь получил приглашение посещать виллу княгини, когда только ему заблагорассудится.

В роскошно обставленной гостиной княгини Гоголь чувствовал себя неловко. Но отказаться от посещений было неудобно, да и вилла княгини являлась местом встреч для всех приезжих из России. На этот раз он застал большое оживленное общество. Был Андрей Карамзин, московский знакомый Гоголя профессор Степан Петрович Шевырев, несколько русских художников — Иордан, Александр Иванов, поверенный в делах русской миссии Павел Иванович Кривцов. Рядом с Гоголем уселись два ксендза — Иероним Кайсевич и Петр Семененко. Недавние участники восстания в Польше, они сменили военный мундир на черную рясу, стали эмигрантами и ревностными слугами приютившего их Ватикана.

После чая голоса стихли и, уступая просьбам гостей, княгиня прочла свои стихи «Моей звезде». Еще

---

* Блаженная *(итал.)*.

очень красивая, в изысканном вечернем туалете, Волконская читала стихи слегка нараспев, звонким грудным голосом:

Звезда моя! Свет предреченных дней!
Твой путь и мой судьба сочетавает.
Твой луч, светя, звучит в душе моей,
В тебе она заветное читает.
И жар ее — твой отблеск верный здесь.
Гори! Гори! и выгорит он весь.

Слушатели вежливо аплодировали. Княгиня была тщеславна и любила, когда ею восторгались.

В ответ профессор Шевырев вызвался прочесть свои стихи, ей посвященные, выражающие, как он сказал, преклонение восхищенных слушателей перед неизмеримыми достоинствами княгини:

Вняв мольбе Москвы державной,
Ветхий прадед городов
Под своею сенью славной
Угощает дочь снегов.
Часть бессмертьем шитой тоги,
В кою мощь он облачил,
Ей на светлые чертоги
Благородно уступил.

Северная Коринна была тронута. Вечер удался. Стихи Шевырева намекали на сближение между Москвой и Римом, отвечали ее заветным мыслям!

После чтения гости разбились по группам. Польские ксендзы завели разговор с Гоголем. Они расспрашивали его о встречах с Мицкевичем, о Богдане Яньском, друге Мицкевича, который основал новый католический орден, членами которого являлись и оба ксендза. Иероним Кайсевич оказался поэтом. Он тут же сочинил в честь Гоголя сонет на польском языке. В своем сонете он проводил сравнение между судьбой «певца с Днепра» и судьбой пересаженного с родной почвы полевого цветка:

Подошла весна, и у цветка его зимняя темница
открылась настежь.
Так и ты, поэт, освободишься от земной юдоли!
Возвышенная песня сильнее вздымает грудь брата,
Только ты не замыкай души для небесной росы!

Кайсевич вполголоса прочел сонет Гоголю. Он говорил с ним по-польски, Гоголь отвечал по-украински. Ему непонятно, что хотел сказать поэт.

— Лишь в католицизме человек обретает блаженство и мудрость. Жизнь человеческая есть лишь ряд заблуждений, проступков, слабостей. Нужно отречься от себя, от своей гордыни во имя служения истине, благу других и внутреннему совершенству. Католицизм — это и есть «небесная роса»! — Кайсевич воздел кверху свои тонкие руки, опутанные широкими рукавами черной сутаны.

Гоголь уклонился от этого разговора. Дом княгини, оказывается, — цитадель католицизма. Видимо, и его хотят уловить в эти сети! Ему стала особенно отвратительна эта хитроумная ловля душ, эффектные фразы, холодные, хотя и внешне ласковые речи этих патеров, отказавшихся от своей родины во имя вящей славы папского престола. В светском блеске аристократического салона проступали темные щупальца католической церкви, готовые охватить и его. Незаметно выйдя из дома, Гоголь сел на скамью, окруженную зарослями роз. Он задумался. Припомнилась тихая Васильевка, запах свежескошенного сена, лениво жующие волы около длинных решетчатых телег. Как все это далеко отсюда и в то же время близко его измученному, одинокому сердцу!

Было уже совсем темно. Лунный свет делал потеатральному эффектными руины Кампаньи, причудливо освещал мраморные статуи виллы.

По дорожке послышались шаги и тихие голоса. Гоголь остался в тени, скрытый кустом розы.

— С Гоголем, — послышался глуховатый голос ксендза Семененко, — с божьего соизволения мы хорошо столковались. Говорили больше о славянстве. Иероним прочитал ему свой сонет, который произвел на него впечатление.

— Он признал, — вкрадчиво шелестел Иероним, — что Россия — это розга, которою отец наказывает ребенка, чтоб потом ее сломать.

— Обратить его в истинную веру Христову, —

мягко прозвучал грудной голос княгини, — было бы много от этого пользы для католической церкви.

Говорившие удалились. Гоголь встал и направился домой. Он решил держаться осторожней. Он проведет этих ревнителей католицизма. Недаром он так ловко умеет разыгрывать людей. Пусть оба патера еще побегают за ним! Капли дождя освежали, смывали то неприятное, липнущее, что все время он чувствовал на роскошной вилле княгини.

БАДЕН-БАДЕН

Болезнь усиливалась. Гоголь чувствовал себя все хуже и хуже. В Риме в это время стояла нестерпимая жара. Надо было всерьез приниматься за лечение. В начале июля 1837 года Гоголь приехал в Баден-Баден. Баден славился своими лечебными водами, исцелявшими желудочные болезни. Кроме того, в Бадене находилась Александра Осиповна. Гоголя тянуло к ней. Хотелось рассеять тоску одиночества, тоску по родине. Да и самые поездки всегда помогали ему.

Городок выглядел нарядным, веселым, оживленным, утопал в зелени. Множество народу приезжало сюда со всех сторон Европы не столько для лечения, сколько для того, чтобы повеселиться. Шикарные магазины, залы для балов, театр — все было к услугам приезжих.

По утрам Гоголь пил холодную баденскую воду из источника на Лихтентальской аллее. Там он почти ежедневно встречал Александру Осиповну. Проводив ее до дому, он долго после этого бродил по парку, то по узеньким дорожкам, а чаще ходил в глубокой задумчивости зигзагами на лугу у Стефани-бад. Когда Александра Осиповна звала его погулять вместе с нею, он обыкновенно отказывался, приводя самые незначащие доводы.

Как-то раз ей удалось уговорить его пройтись вместе. Они пошли по тенистой аллее к источнику. Гоголь упорно молчал. Александра Осиповна также думала о своем. Это были невеселые думы. Жизнь ее

сложилась неудачно. Несмотря на внешний успех, всеобщее преклонение, богатство, Александра Осиповна чувствовала себя несчастной. Вышла замуж она не по любви, а соблазнившись состоянием Смирнова, владельца шести тысяч «душ». Ведь на ее руках оказались два младших брата — надо было дать им образование, обеспечить их будущее. Ради братьев она пожертвовала собой. Но жизнь с упрямым, ограниченным человеком, которого она не любила, вконец ее измучила. Ни развлечения Парижа, ни воды Бадена не приносили облегчения. Сердцем несчастливой женщины она понимала одиночество Гоголя, пыталась преодолеть его обычную робость, вызвать его на откровенность.

Распрощавшись с Гоголем и взяв с него слово прийти к обеду, Александра Осиповна вернулась домой и застала там вылощенного петербургского завсегдатая светских гостиных князя Долгорукова, пришедшего к ней с визитом.

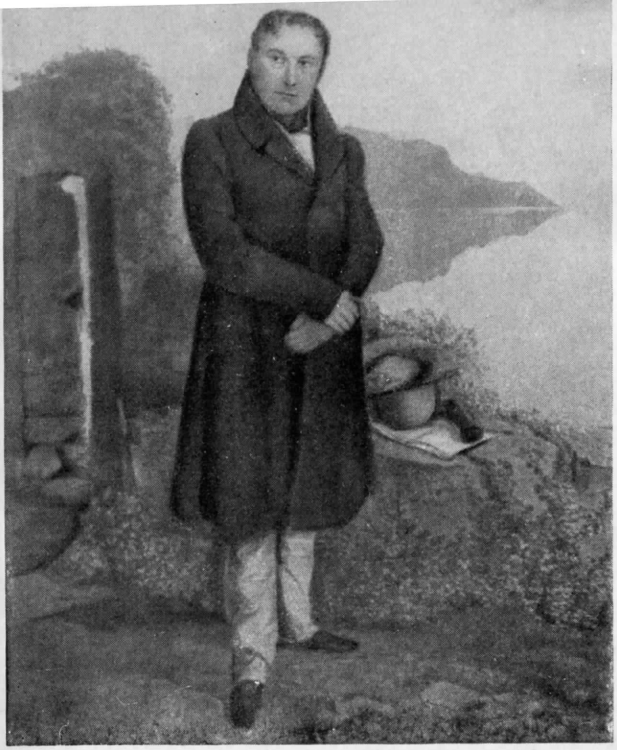
— Vous donnez dans la mauvaise société; avec un certain Gogol, qui est très mauvais genre *, — высокомерно предупредил он Смирнову.

В конце июля в жаркий, душный день Гоголь пришел к Смирновой с рукописью нового романа и объявил, что прочтет ее. В гостиной находились Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, Александра Осиповна с мужем. Все уселись вокруг круглого стола. Гоголь достал из кармана тетрадку в четверть листа и начал чтение.

Вскоре разразилась гроза. С гор потекли потоки, молнии непрерывно сверкали, озаряя бледным, нестерпимо ярким светом окрестности, гром гремел, словно били в огромные железные листы. Небольшая мутная речка Мур бесилась и рвалась из берегов. Гоголь продолжал спокойно читать про появление Чичикова в губернском городе N, поглядывая время от времени в окно. Слушатели затаив дыхание следили за чтением, боясь прервать Гоголя. Однако, не закончив

---

* Вы находитесь в дурном обществе, вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона (*франц.*).



В. А. Жуковский



А. О. Смирнова.



Титульный лист «Мертвых душ» Рисунок Гоголя.

главы, он вдруг остановился. Гроза прошла, дождь почти перестал. Изредка падали крупные капли.

Обтерев носовым платком вспотевшее лицо, Гоголь, как бы невзначай, сказал:

— Пора и домой, а то я без палки, а на Грабене злые собаки!

Попрощавшись, он вышел вместе с Карамзиным, вызвавшимся его проводить. По дороге тот уверял Гоголя, что его поэма произведет переворот в литературе.

— Я много вам благодарен! — отвечал сдержанно Гоголь. — Но не знаю, как я смогу ее закончить. Я сижу без всяких средств. Одна надежда на Жуковского или Плетнева. Может быть, они что-нибудь присоветуют. Какое гадкое, какое ужасное время! Дождь, слякоть! Сердце мое тоскует по Риму, по моей Италии! Европа в сравнении с Италией все равно, что день пасмурный в сравнении с днем солнечным. Кто был в Италии, тот скажет «прощай» другим землям! Кто был на небе, тот не захочет на землю.

Луна сыпала серебряные искры на тихо текущий ручей. Листья не колыхались. Так они дошли до дверей дома, в котором жил Гоголь, и расстались. Через несколько дней Гоголь, получив от Плетнева деньги, поспешил вернуться в Италию.

КАРНАВАЛ

В 1838 году апрельский карнавал в Риме выдался на славу. Дни были светлые, солнечные, без малейшего облачка.

Приближение карнавала чувствовалось задолго до того дня, когда колокола Капитолия и грохот пушек крепости св. Ангела возвестили начало.

Крестьянки нашили вдвое больше цветных ленточек на свои корсажи. На дверях лавок болтались кафтаны маркизов и балахоны пульчинелл. Извозчики натянули белые чехлы на коляски, ожидая града мучных шариков с балконов. Букеты камелий и фиалок продавались целыми корзинами на углах улиц.

Наступил день открытия карнавала. На улицах

стоял невообразимый шум и гам. В толпе мелькали пестрые костюмы, бороды, парики, шапки. В уши пищали дудки, раздавался глухой грохот пузырей с горохом, которыми барабанили прямо по головам, писк пульчинеллы. Над толпой возвышалось пузатое туловище доктора с клистирной трубкой величиною в сажень. Перестрелка конфетти и мучными шариками с балконов, колясок, тротуаров!

Не желая участвовать в карнавале, Гоголь не взял с собой маски и, закрывшись плащом, хотел пройти через Корсо на другую половину города. Едва только он стал пробираться в толпе, как его попотчевали сверху мукой; пестрый арлекин ударил по плечу трещоткой, пролетев мимо со своей коломбиной. Конфетти и пучки цветов залепили ему глаза. С двух сторон стали жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой — медик, читавший длинную лекцию о том, что находится в желудочной кишке. Пробиться между ними не было сил, потому что толпа народа возросла. Цепь экипажей, не имея возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вровень с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукой, а другой нес написанный на бумаге сонет с приделанным к нему мочальным хвостом и кричал во весь голос: «Ecco il gran poeta mortè! Ecco il sonetto colla coda» *.

Как это все далеко от изысканной виллы Зинаиды Волконской с ее вкрадчивыми патерами и салонной вежливостью аристократического общества! Здесь, в народе, в этой веселящейся пестрой толпе женщин, мужчин, подростков, стариков, Гоголь увидел подлинную душу Италии, красоту ее простого народа. Свои впечатления он передал в повести «Рим», этой поэме в прозе об Италии. «В его природе заключалось что-то младенчески-благородное.., — писал он там об итальянском народе. — Эта светлая непритворная ве-

* «Вот умерший великий поэт! Вот его сонет с кодой» (хвостом) *(итал.)*.

селость, которой теперь нет у других народов; везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; все, что ни накоплено им в продолжении года, он готов промотать в эти полторы недели...»

Гоголь забирался все дальше и дальше от центральных улиц. Навстречу ему попадались просто, по-народному одетые женщины, прошел тучный лабазник в перчатках, когда-то бывших белыми, на багровых толстых пальцах. Без конца мелькали монахи и капуцины в бурых, лиловых, черных рясах, сухие, как палка, или толстые, как кабаньи туши. Встретился художник в широкополой шляпе и с ящиком для красок на перевязи. Свернув за угол, Гоголь зашел в тратторию. Спустившись на две ступеньки, он очутился в полутемной зале, насыщенной испарениями жирных, дымящихся кушаний. Вокруг столов теснилось оживленное общество, в плащах, шляпах, сюртуках, камзолах. Слышались голоса: «Abbacchio *, баранина! макарони!» Пер Антонио — ботега ** — с десятками тарелок в руках, на руках, на плече, носился от стола к столу. Он лишь время от времени пронзительно вскрикивал: «Полчашки кофе с цикорием!», «Свиная котлета с броколями!» — в зависимости от появления того или иного клиента, привычки и требования которого он давно изучил.

Гоголь неторопливо направился к своему обычному месту. К нему подошел проворный мальчуган — cameriére, уже привыкший ко вкусам синьора Николо, терпеливо выслушал его распоряжения.

— Макарон, сыру, горчицы, масла, сахара, уксуса, равиоли, броколи! — командует Гоголь.

Перед ним вырастают груды всяческой зелени, множество склянок с разными прозрачными жидкостями. Наконец приносят макароны в широкой чашке. Гоголь осторожно приподымает крышку, оттуда клубом вырывается пар. Он бросает кусок масла, кото-

---

* Зелень *(итал.)*.
** Хозяин *(итал.)*.

рое сейчас же расплывается, посыпает их сыром и, приняв позу жреца, совершающего жертвоприношение, с аппетитом принимается за еду.

В это время дверь в тратторию широко распахнулась, и на пороге появился человек лет сорока, стройный, с умным худым лицом, мечтательными черными глазами. На незнакомце был широкий плащ, какой обычно носили транстеверинцы, люди из народа. Он огляделся кругом и быстро подошел к Гоголю.

— Signor Niccolo! * — радостно приветствовал он, протягивая Гоголю сухую крепкую руку.

Это был знаменитый в народе поэт-сатирик Джузеппе Джоаккино Белли, который сочинял стихи на римском, транстеверинском ** диалекте. В своих сонетах он высмеивал папу, священников, монахов, местную аристократию. Эти сонеты сразу же становились достоянием народа и заучивались наизусть. Но их никто не смел печатать, настолько резка была его сатира. Белли ходил по остериям и тратториям и читал стихи всем желающим. Часто он тут же и сочинял их.

Вокруг столпились почитатели поэта, надеясь услышать новые стихи. Белли расположился за столиком Гоголя, охотно оказал честь макаронам и баранине, аппетитно дымившимся на тарелках. Пер Антонио принес кувшин холодного рубинового кьянти. Во время обеда Гоголь услышал последние новости, комические и драматические, которые наперебой выкладывали посетители траттории.

Вино и рассказы лились без перебоя.

— Да, богачи и кардинал не очень-то заботятся о народе! — сказал Белли. — Мне передавали на днях про беседу одной бедной женщины с секретарем кардинала, которого она просила помочь ей в беде. «Кстати, о вашем прошении, — сказал ей секретарь, — в котором вы просили кардинала о помощи для вашего мужа, находящегося в больнице. Вы пи-

---

* Господин Николай! *(итал.)*.

** Народный диалект жителей той части Рима, которая находится за Тибром.

шете, что спите под лестницей с четырьмя полуголыми и голодными детьми. Так вот, его светлость, чтобы удовлетворить вашу просьбу, сказал мне, зевая: «Заверните в эту бумагу зубочистки для просительницы!»

Все горько засмеялись.

— Да, кардиналы и монахи неплохо живут, поедая хлеб у того, кто трудится. Святая церковь всегда стоит на страже своих интересов, — произнес молодой каменщик в запыленной рваной куртке.

— Посреди моего сада есть большое дерево, уже все изъеденное червями. Однако каждый год оно приносит плоды, снаружи красивые, но кислые и ядовитые, — рассказывал Белли, пользуясь всем понятной аллегорией. — Кое-кто мне говорил, чтобы я его привил и что тогда его плоды мало-помалу станут съедобными. Но один мой друг, карбонарий, сообщил мне, что нет другого средства, кроме топора и огня, ибо червоточина, язва находится в самых корнях его.

Все умолкли и боязливо оглянулись.

Вошел крестьянин из Кампаньи, и все общество успокоилось. Белли окинул взглядом окружающих и прочел свой новый сонет.

— «Благословение квартир», — произнес он четко заглавие.

Мне смешно, когда говорят: «Не надо толковать дурно!»
Я же знаю, что наш священник у этой потаскухи-графини
Оставался битый час,
Чтобы благословить все, вплоть до ночного горшка!

А у меня только в прихожей
Побрызгал наспех из кропильни и исчез,
Словно сам чорт собственной персоной
Дунул ему под зад вихрем.

А дьячок-хитрюга
Остался подольше со своим ведерком,
Полным святой воды и денег, собранных с верующих.
«Ладно, я понял, друг дьячок, — сказал я, —
В конце надо платить, это нам известно.
Давай же утопим, бога ради, этот папетто!» *

* Папетто—монета, здесь игра слов: прямой смысл—бросить в святую воду монетку с изображением папы и переносный — утопить папу.

Прочтя свой сонет, Белли завернулся в плащ, прикрыв им даже часть лица, и, не прощаясь, быстро вышел из остерии.

Встретившись вечером с Машей Балабиной, Гоголь рассказал ей о своем свидании с Белли.

— Знакомы ли вы с транстеверянами, то есть жителями по ту сторону Тибра? — спрашивал он свою юную собеседницу. — Они одни считают себя настоящими римлянами! Никогда еще транстеверянин не женился на иностранке, и никогда транстеверянка не выходила замуж за иностранца... Случалось ли вам слышать их язык?

Мария Петровна должна была признаться в своем полном неведении.

— Вам, вероятно, не случалось читать и сонетов нынешнего поэта Белли? — продолжал Гоголь. — Впрочем, их нужно слышать, когда он сам их читает! В этих сонетах столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян, что вы будете смеяться. Они написаны in lingua romanesca *.

И Гоголь прочел сонет Белли.

ХУДОЖНИКИ

Интерес к искусству сблизил Гоголя с колонией русских художников в Риме. Они держались дружной компанией, перебиваясь на скромные субсидии, выдаваемые Академией художеств. Среди них были выдающиеся таланты, ставшие гордостью русского искусства. Гоголь не застал уже в Риме ни Кипренского, ни Брюллова, уехавших оттуда раньше. Но он встретился и подружился с Александром Ивановым, Бруни, Рамазановым, Моллером, Иорданом.

Художники-пенсионеры отчитывались перед Академией в своей работе, в остальном они были предоставлены самим себе и вели свободный и беззаботный образ жизни. Они ходили по музеям, изучали и копировали картины старинных мастеров — Рафаэля,

* На римском диалекте.

Микеланджело, Корреджио, Тициана. Бродили по узким улочкам города с ящиками для красок, располагались в виду Форума или Колизея, рисуя римские сценки и типы.

Художники встречались в кафе Греко, которое посещал и Гоголь. В этом кафе имелся даже заветный ящичек, где для них хранились письма, приходившие с родины. Бородатые художники в плащах и широкополых шляпах сидели за столиками, попивая прозрачный кьянти или ароматный кофе. Здесь собирались художники самых различных национальностей: слышалась итальянская, французская, немецкая, английская речь. Стены кафе были увешаны картинами и пейзажами его завсегдатаев. За столиками горячо обсуждались новости, политические события, завязывались споры об искусстве, а то и просто передавались очередные сплетни.

Александр Иванов, Иордан и Моллер нередко собирались по вечерам в скромной комнате кафе. Они молча сидели за столиком в углу, с глубоким вниманием прислушиваясь к замечаниям и суждениям Гоголя. Благодаря своим знакомствам Гоголь нередко оказывал художникам поддержку, способствуя получению заказов, ходатайствуя о продлении стипендий. Иордан уже третий год со стоическим прилежанием работал над гравированием картины Рафаэля «Преображение». Красивый, франтовски одетый Моллер, сын морского министра, был полной противоположностью экономному и благоразумному Иордану. Картина Моллера «Поцелуй» заставила говорить о нем весь Рим.

Встречая Иордана, Гоголь здоровался и шутливо говорил ему:

— Вы Рафаэль первого манера!

Но самым близким другом Гоголя стал Александр Иванов. Он проживал в Риме уже несколько лет и прекрасно изучил его памятники, полюбил природу и людей Италии.

Ко времени приезда в Рим Гоголя Иванов полностью отдался главному труду всей жизни — работе над картиной «Явление Мессии». Свою картину Ива-

нов задумал как широкое философское обобщение, как воплощение мечты о лучшей жизни народа. Художник стремился создать как бы синтез мирового искусства, обогатив свою живопись опытом великих итальянских живописцев: Рафаэля, Веронезе, Тициана, Караччи, Гвидо Рени, Тинторетто. Мастерская Иванова стала одной из достопримечательностей Рима, а подвижнический труд художника являл пример бескорыстного, самоотверженного служения искусству.

Гоголь стал частым посетителем мастерской художника. Это было огромное помещение, напоминавшее сарай, но хорошо освещенное сверху и с боков. В студии царил ужасающий беспорядок. Стены были исписаны фигурами, нарисованными мелом или углем. На полу валялась всякая рухлядь, исчерченные картоны. В середине помещения на огромных подставках стояла картина. На ней вырисовывался облик Иоанна Крестителя, который указывал на идущего вдали Христа. Из вод Иордана выходил юноша, надевающий рубашку. Народ внимательно смотрел на идущего вдали Христа: кто с сомнением, кто с глубокой верою. Композиция была в основном закончена, но фигуры набросаны еще одним тоном. Сам художник, в простой холщовой блузе, с длинными, давно не стриженными волосами, небритый недели две, с палитрой в одной руке и кистью в другой, стоял перед картиной, погруженный в глубокое раздумье.

Гоголь приветствовал художника и садился на сломанный диван. Между ними завязывалась беседа об искусстве, о картине Иванова, которой Гоголь горячо восхищался. Все житейское, незначительное отступало от них: оба взволнованно спорили.

— Девятнадцатый век — век эффектов, — говорил Гоголь. — Всякий торопится произвести эффект, от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают. Может быть, пора обратиться ко всему безэффектному? Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи.

— О каких эффектах вы говорите, Николай Васильевич? — спросил Иванов.

— Не помню, кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь, — не слушая, продолжал Гоголь. — Это совершенно несправедливо. Такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив, никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешнее время!

— В нашем холодном и изящном веке, — заметил Иванов, — я нигде не встречаю столь много души и ума в художественных произведениях, как у русских художников. Не говорю о немцах, но сами итальянцы не могут сравняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках. Они отцвели, находясь между превосходными творениями своих предшественников. Мы предшественников не имеем. Мы только что сами начали, и с успехом... Мне кажется, нам суждено ступить еще далее...

Гоголь молча согласился.

— Предмет вашей картины, — сказал он Иванову, — слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, еще не бранное никем из художников. Вы изобразили кистью обращение человека к Христу.

СМЕРТЬ ВЬЕЛЬГОРСКОГО

18 декабря 1838 года в Рим приехал наследник Александр Николаевич в сопровождении своего воспитателя Жуковского и свиты. В числе сопровождавших находился молодой граф Иосиф Вьельгорский, сын известного музыкального деятеля, человека, близкого к придворным кругам, Михаила Юрьевича Вьельгорского.

После отбытия официальных церемоний Жуковский встретился с Гоголем на вилле княгини Волконской. Они уселись на скамейке в саду. Первое произнесенное ими имя было Пушкин. Жуковский с горечью рассказал о последних днях поэта, о том, как стойко и мужественно переносил он тягчайшие мучения. С беспокойством спросил о здоровье Гоголя.

— Плохо, очень плохо, чем дальше, тем хуже! — пожаловался Гоголь. — Болезненное мое расположение решительно мешает мне заниматься.

Жуковский сообщил, что ходатайство о предоставлении Гоголю субсидии уважено и что он вскоре получит деньги. Условились назавтра вместе отправиться осматривать город.

На следующее утро, взяв с собой альбомы, карандаши и краски, они пошли к вилле Боргезе. По дороге Гоголь рассказывал Жуковскому о своей жизни в Риме.

— Я живу близ Piazza Barberini, — пошутил Гоголь, — там прогуливаются только козлы и живописцы.

В обоих пробудилось чувство художника. Жуковский сделал несколько карандашных зарисовок. Гоголь также набросал пейзаж.

— Если бы вы остались здесь еще неделю, вы бы уже не принялись за карандаш, — заметил Гоголь. — А взялись бы за краски! Колорит теплеет необыкновенно. Всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка просят красок!

В церкви Санта-Мария они осмотрели кафедру и стул Августина. Их поразили витые мраморные канделябры и полы с древней мозаикой, подземная церковь с гробницами мучеников. В палаццо Корсини — великолепная галерея, где им показались особенно замечательными три картины Спасителя: Гвершина — страждущий, Гвида — терпящий, Карло Дольчи — исходящий кровью. Они осмотрели фрески Рафаэля и Микеланджело, ландшафты Караччи и Пуссена, Тицианову «Магдалину». Это было пиршество красок, богатства колорита! Особенно поразили их сивиллы и «Pieta» Микеланджело.

Гоголь был замечательным гидом. Он выбирал время, час, погоду — светит ли солнце или пасмурно, — а также множество других обстоятельств, с тем чтобы показать каждый памятник в его наиболее выигрышном освещении.

Друзья любовались Римом с верхней лестницы монастыря св. Григория, ходили в Колизей и Форум, застывали в восторге среди величественно совершен-

ной гармонии Пантеона. Но не только великолепие прошлого влекло их к себе. Гоголь водил Жуковского и по мастерским современных художников, работавших в Риме — Овербека, Торвальдсена, русских стипендиатов Академии — Иванова, Маркова, Бруни.

На террасе виллы Волконской Жуковский нарисовал портрет Гоголя. Тонкие, изящные линии рисунка наметили силуэт Гоголя, небрежно опиравшегося на угол веранды, в мягкой фетровой шляпе и широком плаще, перекинутом через плечо.

Жуковский с Гоголем держал себя так просто, словно и не был действительным тайным советником и воспитателем будущего государя. Все последующие дни пребывания Жуковского в Риме они были вместе, за исключением тех часов, когда Жуковскому приходилось, как лицу официальному, присутствовать на торжественных встречах или находиться при наследнике.

Сблизился Гоголь и с графом Иосифом Вьельгорским. Молодой Вьельгорский был взят в товарищи наследнику для того, чтобы облегчить ему ученье. Однако серьезный и пытливый Вьельгорский, вечно рывшийся в книгах, быстро опередил вялого и малоспособного цесаревича Александра и поэтому не пользовался его любовью.

В Италию Вьельгорский приехал тяжело больным, умиравшим от чахотки. Его бледное красивое лицо, большие грустные глаза, хрупкая источенная болезнью фигура были отмечены печатью смерти. Гоголь часто встречался с ним на вилле Волконской, у которой Вьельгорский поселился. Младенчески ясная и чистая душа молодого графа, его самозабвенное увлечение историей привлекли к нему сердце Гоголя. Вьельгорский обыкновенно занимался в саду, в гроте, так как по предписанию врачей он должен был как можно больше пользоваться свежим воздухом. Гоголь садился рядом с ним на скамейку, и между ними завязывались разговоры о прошлом России, о путях ее дальнейшего развития.

Знакомство перешло в дружескую близость. Гоголь высоко оценил скромность и ум Иосифа, его му-

жественную борьбу со смертельной болезнью. В душевном одиночестве, в сутолоке окружавшей жизни тихая и мягкая привязанность умирающего наполняла Гоголя мягким светом, согревала своим теплом.

Вскоре Вьельгорский слег и больше не вставал. Жуковский к этому времени уехал вместе с наследником, и Гоголь самоотверженно ухаживал за больным, проводя дни и ночи у его постели. «Иосиф, кажется, умирает решительно, — сообщал он Погодину 5 мая 1839 года. — Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо. Не житье на Руси людям прекрасным. Одни только свиньи там живут».

Через две недели Иосиф Вьельгорский умер. Эта смерть знаменовала для Гоголя новую жестокую утрату. Памяти Вьельгорского он посвятил проникновенные страницы незавершенной лирической исповеди, названной им «Ночи на вилле». Он писал там, подводя горестные итоги своей жизни, такой неуютной и одинокой, такой незадавшейся: «Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь». Эти полные горечи и отчаяния слова вызваны были приступами мрачного, подавленного настроения, которые все чаще находили на Гоголя.

Пребывание на чужбине, вдали от родины, одиночество, чрезмерно замедлившаяся работа над поэмой, к которой он обращался урывками, болезненное состояние, припадки, кончавшиеся мучительными раздумьями о будущем, — всего этого не могло преодолеть ни ослепительно голубое небо Италии, ни отрешенность писателя от политических и литературных бурь. Все чаще и чаще Гоголя посещали мучительные мысли о смерти, сомнения в правильности избранного им пути.

8 марта 1839 года в Рим приехал Погодин с супругой. Получив известие о приезде Погодина, Гоголь тотчас отправил ему записочку: «Посылаю тебе

подателя сей записки для принятия твоего чемодана и ожидаю вас для распития русского чая». Чай в Италии большая редкость. Приятели встретились очень сердечно. Плотный, сутуловатый Погодин обхватил тщедушные плечи Гоголя и трижды облобызал его по русскому обычаю.

Наконец уселись пить чай. Гоголь приоткрыл окно и спокойно выплеснул в него объемистую полоскательницу.

— Помилуй, что ты делаешь? — обомлел Погодин.

— На счастливого! — спокойно ответил Гоголь, прикрывая окно.

На столе появились крендельки, булочки, сухарики — словом, все то, до чего и на чужбине остался Гоголь великим охотником. Черномазая растрепанная горничная принесла огромный медный чайник с кипятком. Гоголь накинулся на нее с упреками, что она опять не вычистила ручку и не оттерла чайник от сажи. Та с громким криком оправдывалась. Получилась прекомическая сценка, дополненная живою пантомимою.

— Полно, — умиротворил спорящих Погодин. — Вода простынет!

Гоголь схватился за чайник, заварил крепкий чай из своего заветного запаса. И тут началось наливанье, разливанье, смакованье, потчеванье!

Как недавно с Жуковским, так теперь с Погодиным, Гоголь совершал после утреннего завтрака длительные прогулки по Риму. Во время этих прогулок они беседовали об искусстве, спорили. Тесными и грязными переулками бродили они по Риму, любуясь красотой античных памятников, жизнерадостным искусством Возрождения, суровой простотой древних христианских памятников. Перед ними открылась широкая каменная лестница, наверху по бокам ее два огромных коня, которых держали под уздцы всадники.

Долго простояли друзья на площади Форума.

— Боже мой! — воскликнул Погодин. — Что же значит эта человеческая слава, которою так кичатся

люди! Эти каменные глыбы домов, которым я сейчас удивлялся, — пыль и прах! Если древний Рим так упал, кто же может надеяться на свою силу и твердость!

Разговор перешел на работу Гоголя над поэмой. Гоголь жаловался, что она движется медленно и не скоро виден конец ее. Погодин стал советовать ему уединиться и, не отвлекаясь от работы, ее скорее закончить.

— Я не могу, не в состоянии работать в уединении, — говорил Гоголь. — Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать. Все свои печатные грехи я писал в Петербурге, и именно тогда, когда был занят службой, когда мне было некогда... Чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро!

Вскоре после смерти Вьельгорского Гоголь отправился в Марсель — встретить мать умершего друга. Оттуда он поехал в Вену, а затем в Мариенбад для лечения на тамошнем курорте. В Мариенбаде он встретился снова с Погодиным и его женой.

Они познакомились там с миллионером откупщиком Бенардаки. Это был представитель новой, буржуазной формации. Уйдя с военной службы вследствие каких-то неблаговидных обстоятельств, этот предприимчивый делец пустился в спекуляцию хлебом и в короткое время нажил большие деньги. Чем более умножались его средства, тем более обширную область охватывали его денежные операции. Он спекулировал хлебом, приобретал заводы, скупал за бесценок помещичьи земли и нажил огромное состояние. Гоголь беседовал с ним о России, о помещиках и их хозяйстве, о положении крестьян и городского населения. Огромный практический опыт и трезвый ум Бенардаки открывали перед Гоголем новый мир — мир наживы, спекуляции, разорения помещиков, тягостного положения обнищавших крестьян. Он со вниманием слушал «лекции» этого «профессора

политической экономии», как они с Погодиным в шутку называли Бенардаки, приправленные множеством анекдотов и фактов из действительной жизни. Недаром Гоголь вспомнил этого разумного дельца, когда создавал образ своего Костанжогло!

В Мариенбаде Гоголь пробыл недолго. Воды ему мало помогли. Из Петербурга и Васильевки приходили нерадостные вести. Имение было вконец разорено. Сестры заканчивали свое пребывание в Патриотическом институте. Осенью их следовало взять оттуда и отвезти в Васильевку.

Погодин уезжал из Мариенбада в Мюнхен и Швейцарию, а оттуда через Вену возвращался в Россию. Гоголь решил ехать на родину для устройства семейных дел и условился с Погодиным встретиться в Вене, а оттуда вместе отправиться в Москву. 25 августа Гоголь приехал в Вену.

Огромный, кишащий людьми город, прекрасные здания, поэтическая красота окружавшего город Венского леса не произвели, однако, на Гоголя большого впечатления. Он тоскует по оставленному им Риму. «О Рим, Рим! — восклицает он в письме к Шевыреву, написанном из Вены. — Мне кажется, пять лет в тебе не был. Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость».

Но в Рим нельзя было возвращаться. Слезные письма матери и сестер призывали в Россию. Гоголь горячо принимал к сердцу интересы семьи. Он чувствовал себя глубоко виноватым перед Марией Ивановной в том, что не смог помочь ей в трудном деле ведения хозяйства, не мог оказать сколько-нибудь значительной и постоянной материальной поддержки. Помочь сестрам, к которым он питал отцовские чувства, приголубить этих маленьких дикарок, впервые выходящих в «свет» из институтской скорлупы, привезти их к матери в Васильевку, — он считал своей священной обязанностью.

20 сентября в Вену прибыл Погодин с женой. Не задерживаясь, в специально купленных экипажах, они через три дня выехали в Россию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ



Странствования

Все более или менее согласились назвать нынешнее время переходным. Все более, чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе.

Н. Гоголь,
«Авторская исповедь»

В МОСКВЕ

Москва встретила Гоголя золотыми маковками бесчисленных церквей, перепутанными переулочками, вьющимися вдоль площадей и бульваров, сутолокой тесных улиц, перезвоном колоколов, многоголосым говором вечно взбудораженной Сухаревки, шумом, визгом, кряканьем и кудахтаньем Охотного ряда. Москва купеческая, Москва торговая бессовестно, назойливо пялилась в глаза Гоголю, когда он проезжал на обдерганном, захудалом «Ваньке» по Тверской, Никольской, Ильинке или Арбату. На тесно

прижавшихся друг к другу пузатых, невысоких каменных домах красовались броские вывески, изображавшие приманчивые изделия ремесла. Гигантский сапог горделиво возвышался над двухаршинным золотым кренделем. Ключ в полпуда весом мирно красовался против перчатки, в которую легко могло влезть с полсотни рук. Под изображением мужской головы, окруженной волнами мыльной пены, можно было прочесть: «Перукмахер и фершельных дел мастер. Он же отворяет жильную, баночную и пиявочную кровь». Неподалеку нарисован мундир, обильно разукрашенный золотом с надписью «Ваеннай и пратикулярнай партъной Іван Федаравъ», а на двери, осененной исполинской гроздью винограда, было начертано: «Въход взаведения растеряцыю».

Гоголь никак не мог привыкнуть к этой пестроте, бойкой суетливости московских улиц, к радостной назойливости московских знакомцев, взбудораженных его приездом. Ему казалось, что его возвращение сейчас еще преждевременно, вынуждено обстоятельствами, долгом перед семьей. Его новый труд, который отнимал все его силы, его здоровье и покой, еще был не завершен. Поэтому на настойчивые вопросы и расспросы друзей и знакомых: «Что же вы нам привезли, Николай Васильевич?», он сухо отвечал: «Ничего» или недовольно молчал.

«Как странно! — писал он по приезде в Москву Плетневу. — Боже, как странно. Россия без Пушкина!» Эта мысль терзала его и омрачала радость свидания с родиной. Живы и преуспевают те, которые с таким неистовством, с такой злобой травили его после «Ревизора», а того, кто так глубоко понимал, кто вел его по тернистому пути писателя, больше нет!

Гоголь, как он это обычно делал, остановился на Девичьем поле в доме Погодина. Первым, кто навестил Гоголя, был Щепкин. Он до того обрадовался его приезду, что совершенно потерял дар речи. Щепкин смотрел на Гоголя преданными глазами и добродушно улыбался, вытирая цветастым платком

лысину. Уходя, он договорился встретиться с ним у Аксаковых.

Аксаковы жили теперь неподалеку от Арбатской площади. Злополучный «Ванька» на пегой деревенской лошадке, запряженной в веревочную сбрую, подвез Гоголя к дому Аксаковых. Все семейство выбежало на крыльцо и радостно приветствовало гостя. За время, прошедшее с их последней встречи, Гоголь сильно изменился. Трудно было признать в нем прежнего гладко выбритого и по-модному остриженного франта в светлом фраке. Длинные белокурые волосы достигали теперь плеч, небольшие усы и эспаньолка довершали перемену. Все черты стали мягче, движения ровнее, спокойнее, сюртук придавал больше степенности его тонкой фигуре.

За обедом набралось много посторонних, почти незнакомых Гоголю посетителей. Это сразу стеснило его, заставило уйти в себя. Заморского гостя посадили на высоком кресле рядом с хозяйкой дома. Перед ним стоял особый графин с красным вином и большой граненый стакан. Жаркое он ел тоже отличное от всех, специально для него приготовленное.

Гоголь жаловался, что ему надобно вскоре ехать в Петербург — взять сестер из Патриотического института.

Оказалось, Сергей Тимофеевич тоже собирался в Петербург вместе со старшей дочерью и сыном-подростком.

— Я с Верой хочу отвезти Мишу в корпус, куда он давно зачислен кандидатом, — сказал Аксаков. — Буду очень рад составить вам компанию, любезнейший Николай Васильевич!

Гоголь тоже был доволен. Ему не приходилось заботиться о дорожных удобствах — Сергей Тимофеевич брался достать экипаж и все приготовить на дорогу.

Пылкий Константин Аксаков, старший из сыновей Сергея Тимофеевича, влюбленно глядел на Гоголя и засыпал его вопросами. Он спрашивал о римской жизни, о планах Гоголя на будущее.

— О, если бы вы знали, — с грустной улыбкой

говорил об Италии Гоголь, — какой там приют для того, чье сердце испытало утраты! Как заполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу...

Он сообщил под секретом Аксаковым, что пишет сейчас новый роман, вернее поэму, сюжет которой подсказан ему Пушкиным. Может быть, он даже познакомит их с началом поэмы.

Гоголь взволнованно замолчал и больше не отвечал на вопросы. Он целиком ушел в себя, болезненно переживая любопытство гостей, с плохо скрытой бесцеремонностью разглядывавших его как какой-либо музейный экспонат. Он сгорбился, угрюмо посматривал на всех и несколько раз вынимал часы. Как только встали из-за стола, он тотчас удалился в кабинет Сергея Тимофеевича отдохнуть после обеда.

Пока Гоголь дремал на диване, гости обсуждали вопрос: прочтет ли он что-нибудь новое из написанного им за границей? Константин Аксаков ходил вокруг кабинета на цыпочках, не переводя дыхания, при малейшем шуме махая руками в сторону нарушителя тишины. Наконец Гоголь громко зевнул, и Константин, приоткрыв двери и видя, что он проснулся, вошел в кабинет. За ним последовали остальные.

— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, как бы с недоумением посматривая на окружающих.

Сергей Тимофеевич решился осторожно напомнить Гоголю о его обещании.

Гоголь нахмурился и недовольно спросил:

— Какое обещание? Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

Все приуныли, но Сергей Тимофеевич не потерял присутствия духа и с большой дипломатической тонкостью и ловкостью стал его упрашивать.

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... — согласился, наконец, Гоголь и поднялся с дивана. Он как бы нехотя подошел к большому овальному столу и, сев перед ним, начал читать. Он

читал просто, естественно, придавая в то же время оттенок каждой фразе:

— «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки...»

И дальше слушатели увидели перед собой и грязную, немощеную улицу губернского города, и малопривлекательную провинциальную гостиницу, и местного франта в узких белых панталонах и манишке, застегнутой тульскою булавкой в виде бронзового пистолета, и выходящего из брички кругленького господина в дорожном картузе и шерстяной косынке, во фраке цвета наваринского пламени с дымом. Перед ними прошла вся жизнь губернского города во главе с губернатором, любившим вышивать по тюлю...

Сергей Тимофеевич в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на присутствовавших: «Гениально! Гениально!» — повторял он. Константин Сергеевич ударял по столу кулаком и восклицал:

— Гомерическая сила! Гомерическая!

Гоголь был доволен. Он вытирал платком лицо и вполголоса беседовал со Щепкиным, который обнимал его со слезами восторга на глазах.

Вскоре Гоголь уехал. Прощаясь, Сергей Тимофеевич вместе со Щепкиным уговорили его посмотреть на московской сцене «Ревизора». Гоголь долго отнекивался, ссылаясь на нездоровье. Однако Михаил Семенович обиделся, стал упрекать Гоголя в том, что он не хочет оказать внимания актерам, и Гоголь вынужден был дать согласие.

Возвращение писателя стало всеобщим триумфом. Его нарасхват всюду приглашали. В доме Погодина толпились посетители, которые хотели повидать знаменитого писателя. Аксаковы объявили его истинно русским гением, понявшим великое предназначение русского народа. Погодин и Шевырев стремились всячески привлечь Гоголя к участию в затеваемом ими журнале. Белинский, уезжая из Москвы в Петербург, где он взял на себя руководство кри-

тическим отделом журнала «Отечественные записки», в свою очередь уговаривал Гоголя сотрудничать в нем.

Это была еще пора поисков, когда Белинский увлекался гегелевской идеей «примирения с действительностью» и находился в тесных дружеских отношениях с Константином Аксаковым. Но уже и тогда Гоголь являлся в его глазах великим писателем, писателем-реалистом, и Белинский написал о нем в 1835 году замечательную статью «О русской повести и повестях г. Гоголя», посвященную разбору «Миргорода» и «Арабесок».

Наконец 17 октября 1839 года состоялась премьера «Ревизора». Слух о том, что на нем будет присутствовать сам автор нашумевшей комедии, распространился по Москве, и театр в этот вечер был переполнен. На спектакле присутствовали Аксаков, Белинский, Бакунин, Боткин, Павлов, весь цвет литературной и театральной Москвы.

Гоголь сидел в ложе Елизаветы Григорьевны Чертковой, жены известного археолога, которую знал еще по Риму.

Все искали глазами автора, но его нигде не было видно. Он скромно приютился в углу ложи, скрытый величественной фигурой Елизаветы Григорьевны. Рядом в соседней ложе сидело семейство Аксаковых.

Щепкин, исполнявший роль городничего, и Самарин — Хлестаков — играли превосходно. Однако спектаклю в целом не хватало понимания глубокой социальной сущности пьесы. Так же, как и в петербургской постановке, сказалось стремление к поверхностному комизму в трактовке ролей, что мешало глубоко раскрыть гениальный замысел Гоголя.

После второго акта Николай Филиппович Павлов, затянутый в моднейший фрак, в желтых щегольских перчатках, наконец, высмотрел Гоголя в ложе Чертковой и сообщил об этом Аксаковым. Гоголь, заметив, что его местопребывание обнаружено, следующий акт просидел, согнувшись и прикрываясь от зрителей рукой. Кончилось третье действие. В публике раздались громкие крики: «Автора! Автора!» Гром-

че всех кричал и хлопал Константин Аксаков, который буквально выходил из себя.

— Константин Сергеевич! Полноте, поберегите себя! — уговаривал его Николай Филиппович, смеясь и поправляя жабо.

— Оставьте меня в покое, — сурово отвечал Константин и продолжал хлопать еще яростнее.

— За что же сердиться? — недоумевал Павлов, доставая золотую табакерку и жеманно поднося к носу понюшку табаку. — Я желаю вам добра... Ведь вредно для здоровья так выходить из себя.

Заслышав эти неистовые крики и аплодисменты, Гоголь испуганно съежился на стуле и незаметно ушел из ложи, так и не показавшись перед публикой. Сергей Тимофеевич схватил его за руку и уговаривал остаться, но Гоголь просил передать публике, что он нездоров и не в состоянии выйти поблагодарить зрителей, и уехал к Чертковым.

Раздраженный Загоскин, директор театра, набросился с упреками на Аксакова, хотя больше всего был виноват он сам, не пригласив вовремя Гоголя в директорскую ложу. Долго не стихал шум в зрительном зале. Занавес поднялся. На сцену вышел Самарин и сказал: «Автор комедии в театре не находится». Наступила полная тишина. Публика была недовольна и обижена.

— Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, — говорил обидчиво Николай Филиппович. — Согласитесь, он поступил неприлично? А?

Друзья Гоголя были огорчены. Сам писатель в ответ на их упреки оправдывался тем, что перед спектаклем якобы получил письмо от матери, расстроившее его. Он даже написал Загоскину, извиняясь перед зрителями и объясняя свой уход той же причиной: «...когда коснулся ушей моих сей единодушный гром рукоплесканий, так лестный для автора, сердце мое сжалось и мои силы меня оставили. Я смотрел с каким-то презрением на мою бесславную славу и думал: теперь я наслаждаюсь и упояюсь ею, а тех близких, мне родных существ, для которых я бы отдал лучшие минуты моей жизни, сторожит

грозная, печальная будущность; сердце мое переворотилось! Сквозь крики и рукоплескания мне слышались страдания и вопли. У меня недостало сил. Я исчез из театра. Вот вам причина моего невежественного поступка».

Сергей Тимофеевич, однако, настоял на том, чтобы это письмо не посылалось.

Гоголь был расстроен всей этой историей, стал вялым и скучным.

А тут еще Аксаковы все время откладывают поездку в Петербург! Московская жизнь после уединенного, отшельнического пребывания в Италии казалась ему слишком тревожной, шумной. Бесконечные споры и разговоры о философии, политике, литературе, которые велись в здешних литературных салонах — у Аксаковых, Павловых, Киреевских, — его утомляли и даже пугали своей страстностью. Отвлеченная идеалистическая философия московских «любомудров», которой увлекались его друзья — Шевырев, Киреевский, Константин Аксаков, — была ему далека, да и мало известна. Поэтому ожесточенные препирательства о том, как надо понимать Гегеля или Шеллинга, попытки объяснить их философией русскую действительность казались Гоголю искусственными, далекими от требований жизни. Ближе ему был Сергей Тимофеевич Аксаков, который трезвее и проще судил о вещах, чем его пылкий, восторженный сын Константин или многомудрый профессор Шевырев.

СЕСТРЫ

Наконец Аксаковы собрались и в четверг 26 октября выехали вместе с Гоголем из Москвы. Сергей Тимофеевич нанял особый дилижанс, разделенный на два купе. В переднем поместились его четырнадцатилетний сын Миша и Гоголь, а в заднем сам Сергей Тимофеевич с дочерью Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими оконцами, деревянные рамы которых можно было поднимать и опускать.

Как только отъехали от Москвы, Гоголь пришел

в хорошее настроение. Он сидел, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, и читал книгу, которую во время остановок прятал в холщовый мешок. В этом мешке находились головные щетки, ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Любопытный Миша подсмотрел, что книга, которую Гоголь читал в дороге, была издание Шекспира на французском языке.

В дороге Гоголь чувствовал особенно сильно холод и мерз больше обычного. Поэтому он надел длинные шерстяные чулки, а на них теплые медвежьи сапоги. Лошади, возившие дилижансы, еле волочили ноги, поэтому ехать приходилось медленно, останавливаясь на многочисленных станциях. Пока перекладывали лошадей, путешественники отдыхали и закусывали. При этом разыгрывались забавные сценки, в которых Гоголь давал волю своему юмору.

По приезде в Торжок путешественники расположились в гостинице, и Гоголь заказал дюжину пожарских котлет, которыми славился Торжок. Все на них набросились с аппетитом, как вдруг с ужасом стали вытаскивать изо рта длинные белокурые волосы. Гоголь высказывал предположения, как они попали в котлеты, одно смешнее другого.

— Повар, верно, был пьян и не выспался, — с серьезным видом говорил Гоголь. — Когда его разбудили, он в сердцах рвал на себе волосы, которые и попали в котлеты!

Для выяснения этого вопроса послали за половым. Гоголь лукаво предупредил:

— Я знаю, что он будет говорить: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перышки, пух-с!»

В эту минуту вошел половой и на предложенный ему вопрос отвечал точно так, как предупреждал Гоголь, многое даже теми самыми словами. Все неудержимо рассмеялись и хохотали до того, что Вере Сергеевне сделалось почти дурно. Половой выпучил глаза от удивления и застыл на месте.

Так же весело продолжалась и остальная дорога. Гоголь неизменно шутил, рассказывал смешные ис-

тории. Казалось, он вырвался из тяготившей его обстановки и, как школьник, резвился в отсутствие учителя.

Дорога всегда имела на него успокаивающее влияние. Отступали повседневные житейские заботы, уходили раздумья о будущем. Перед глазами мелькали пейзажи, города, деревни, верстовые столбы и встречные мужики.

В придорожных гостиницах и трактирах снова возникали беседы с половыми, кучерами, проезжими путешественниками. В них выступала подлинная жизнь страны, узнавались вещи, которых никогда не узнаешь в столичных гостиных или уединенном кабинете.

Это была дорога из Москвы в Петербург, та самая, по которой ездили и Радищев и Пушкин, рассказавшие о горькой и безрадостной судьбе людей, встречавшихся на этой дороге. Те же черные, закопченные срубы, крытые соломой крыши, непролазная осенняя грязь на деревенских улицах. По ним бродили нищие мужики в лаптях, измученные непосильным трудом бабы в сарафанах, оборванные ребятишки, играющие в грязи. Даже самые названия деревень не изменились с тех пор: Черная грязь, Торжок, Медное, Крестцы, Вышний Волочок, Любань... Это Россия деревянная, уездная, нищая... Но широкие просторы, звон бубенцов, песня ямщиков придавали дороге какое-то невыразимое очарование...

«Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала!» — думал Гоголь. Он старался отдалить от себя предстоящие заботы, неприятные разговоры и объяснения, утомительные встречи и визиты.

На пятый день, к вечеру, экипаж добрался до столицы. Он въехал на петербургские улицы, когда там уже зажигались фонари. Столица казалась призрачной под рябью мелкого, как будто процеженного через сито дождя, с блестевшими в темноте булыжными мостовыми. Не доезжая до Владимирской, где

останавливались дилижансы, Гоголь распрощался с Аксаковым и, взяв свой мешок со щетками и книгами, отправился к Плетневу.

А на другой день Гоголь перебрался к Жуковскому в Зимний. В его обширные апартаменты, роскошь которых имела музейный характер, надо было проходить по широкой лестнице мимо лакеев в придворных ливреях и мраморных изваяний. Жизнь Жуковского была нелегкой. Целые дни он вынужден был обретаться в светских хлопотах в качестве наставника и воспитателя наследника. Официальные приемы и визиты, придворные церемонии, педагогические беседы — все это занимало у него большую часть дня. Но когда он оставался дома, надевал свой теплый китайский халат и мягкие туфли, то превращался в литератора, благодушного хозяина, преданного лишь музе поэзии. В день приезда Гоголя Жуковский записал в дневнике: «У меня Гоголь», а рядом перечислил встречи с великим князем Константином Николаевичем, чаепитие с наследником, обед у великой княгини.

В больших неуютных комнатах Жуковского Гоголь чувствовал себя одиноко и отчужденно. Даже приветливость хозяина не согревала его.

Распрощавшись с Жуковским, Гоголь поехал в Патриотический институт навестить сестер.

Он нашел их совершенными «монастырками», не имевшими никакого понятия о том, что происходит за стенами их института.

Лиза и Анета обрадовались брату и с удовольствием принялись за привезенные им конфеты. Но на все его вопросы отвечали односложно, зато наперебой рассказывали об институтской жизни. Лиза была побойчее и живее, а Анета совсем терялась и боялась всего на свете: классной дамы, темной комнаты, мышей. У Лизы пальцы были в чернилах — она писала письмо матери. На переднике большое чернильное пятно в виде месяца. Анета, тоненькая, аккуратненькая, с беленькими косичками, в своем институтском форменном платьице, казалась совсем маленькой девочкой.

Гоголь отвез сестер к Елизавете Петровне Репниной, с которой был в давних дружеских отношениях.

Тут начались новые заботы. Надо было экипировать этих диких «монастырок». Они сидели в комнате у Репниной, тесно прижавшись друг к другу, и ни за что не хотели выходить из дому. Да и дома с ними была настоящая мука. Они ничего не желали есть, если кушанья не походили на институтские, и все время просили, чтобы их отвезли обратно. А Гоголь метался по магазинам с длиннейшим списком вещей, в котором перечислены были всевозможные принадлежности женского туалета — от юбок и кофточек до шпилек и гребней.

Между тем, как всегда, денег не было. Жуковский хотел было испросить у императрицы пособие для сестер Гоголя, но императрица хворала, и он не решался ее тревожить. Гоголь поделился своим горем с Аксаковым. Сергей Тимофеевич дружески обнял его:

— Я считаю самой счастливой минутой в моей жизни помочь вам в трудных обстоятельствах, — взволнованно сказал он. — Я имею право на это по моей дружбе к вам.

Лицо Гоголя прояснилось, он крепко сжал руку Сергея Тимофеевича.

— Вы свалили камень с души моей, — тихо произнес Гоголь. — Дела мои должны поправиться. Кроме поэмы, у меня уже набросана трагедия из истории Запорожья, достаточно будет двух месяцев, чтобы ее закончить.

Аксаков сдержал свое обещание и через несколько дней достал деньги. Он вынужден был занять их у откупщика Бенардаки, которого хорошо знал. Сергей Тимофеевич вечно сам сидел без денег и, обремененный большим семейством, нередко прибегал к займам.

Дела были таким образом устроены, и Гоголь хотел уже возвращаться в Москву. Но Аксаковы задерживались. Судьба Миши никак еще не определилась. Гоголю пришлось отложить отъезд, так как он опа-

сался отправиться с сестрами в дальний путь без Веры Сергеевны, которая обещала присматривать за ними в дороге.

Все это огорчало Гоголя, тем более что он не мог рассчитывать на длительное пребывание сестер у Репниной. Да и самого писателя мучили наступившие морозы.

С отчаянием он жалуется в письме к Погодину: «Я не понимаю, что со мною делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге! Ни о чем не могу думать, ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени — ужасно. А все виною Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же меня и посадил. Мне ужасно хотелось возвратиться с ним вместе в Москву. Я же так его полюбил истинно душою. У меня уже все готово совершенно, сестры одеты и упакованы как следует. Ах, тоска! Я уже успел один раз заболеть: простудил горло и зубы, и щеки. Теперь, слава богу, все прошло. Как здесь холодно. И приветы и пожатия, часто, может быть, искренние, но мне отовсюду несет морозом. Я здесь не на месте».

ОБЕД У ОДОЕВСКОГО

С петербургскими литераторами Гоголь встретился на обеде у князя Одоевского. Владимир Федорович Одоевский, известный писатель сороковых годов, в молодости был близок с декабристами. Вместе с Кюхельбекером он издавал альманах «Мнемозину», принимал деятельное участие в кружке московских «любомудров». С годами князь отошел от политики, остепенился, успешно продвигаясь по лестнице бюрократической иерархии, и занимал довольно важный пост в министерстве народного просвещения. Однако, восходя по служебной лестнице, Одоевский по-прежнему преданно любил литературу и дружил с писателями.

По субботам он устраивал у себя приемы.

Гоголь вошел в гостиную Одоевского, когда там уже собралось множество народа. Здесь задавала тон

хозяйка дома, и вокруг нее собирался круг светских людей, считавших чудачеством хозяина присутствие на его вечерах ученых и литераторов, столь далеких от светского общества. Подлинная жизнь царила в кабинете, отделенном от гостиной небольшим коридором.

Неловко поклонившись хозяйке дома, Гоголь торопливо достиг кабинета. Тесная комната, загроможденная столами, на которых стояли стеклянные реторты, склянки с какой-то жидкостью, черепа, заспиртованные лягушки, остроконечные колбы, напоминала кабинет средневекового алхимика. Стены были до потолка заставлены полками с книгами и фолиантами, переплетенными в пергамент. В углу громоздилось какое-то деревянное чудище со струнами и медными трубами — изобретаемый князем музыкальный инструмент — оркестрион.

Владимир Федорович наряду с литературой занимался химией, физикой и даже алхимией. Возможно, это его имел в виду Грибоедов, упомянув в «Горе от ума» о «князе Федоре»: «он химик, он ботаник». Владимир Федорович стремился открыть возможность «вечного движения» и химическое превращение железа в золото.

Более плодотворна была музыкальная деятельность князя, устраивавшего музыкальные вечера и много писавшего о музыке. Он являлся пропагандистом и знатоком Баха и Бетховена, способствовал известности Глинки и Даргомыжского.

Хозяина кабинета Гоголь застал беседующим с собирателем русских песен и сказок Сахаровым. Они вдвоем представляли забавное и необычное зрелище.

Сам князь, бледный, сгорбленный, одет был наподобие алхимика — в черной шапочке с длинным рогом и в какой-то длинной мантии, напоминавшей не то слишком обширный сюртук, не то плащ. Его собеседник в гороховом купеческом сюртуке, стриженный в скобку, походил на сидельца из бакалейной лавки.

Гоголь сразу же заинтересовался их разговором

о славянской мифологии. Сахаров доказывал, что славяне имели не менее разработанную систему мифологии, чем древние греки и римляне. Он перечислил славянских божеств: Перун, Велес, Стрибог, Зимцерла, Лада — и напоминал связанные с ними мифы. Одоевский пробовал осторожно умерить его фантазию, указывая, что некоторые из этих божеств были придуманы учеными лишь в XVIII веке.

В другом углу посетители толпились около Иакинфа Бичурина, который прожил много лет в Китае и изучил китайский язык, обычаи и нравы. Отец Иакинф, сняв свою рясу и оставшись в подряснике, напоминавшем длинный семинарский сюртук, превозносил до небес китайскую науку, медицину, живопись, трудолюбие народа, древность культуры. Он так проникся всем китайским, что даже своей наружностью стал походить на китайца.

Поздоровавшись с князем, Гоголь присел на диван рядом с Иваном Ивановичем Панаевым, модно, с иголочки одетым, и худым сутулым Белинским в простом поношенном сюртуке. Неподалеку на стуле сидела красавица Авдотья Яковлевна Панаева, черноволосая, с румянцем на смуглом лице и белоснежными зубами.

Гоголь видел Белинского в Москве лишь мельком и рад был завязать знакомство с молодым талантливым критиком. Его статьи, его отклик на «Ревизора» свидетельствовали о глубоком внимании к произведениям Гоголя. Правда, находясь за границей, Гоголь почти не читал русских журналов и многое из того, что писал Белинский, знал лишь из вторых рук, понаслышке.

Услыхав, что Белинский приехал в Петербург почти одновременно с ним, Гоголь спросил:

— Как вам понравился Петербург? Вы ведь впервые здесь и могли особенно наглядно почувствовать различие с Москвой.

— Питер — город знатный! Нева — река пребольшущая, а петербургские литераторы — прекраснейшие люди после чиновников и господ офицеров, — смеясь, ответил Белинский. — Невский проспект — чудо, так

что перенес бы его, да Неву, да несколько человек в Москву!

— Кого бы вы перенесли? — спросил Гоголь.

— Вас, нашего хозяина и Панаева вместе с Авдотьей Яковлевной!

— Ну, я не жилец и в Москве! Уеду в Италию, там солнце греет, а здесь я нос отморозил! — отшутился Гоголь. — А как вам нравится наш хозяин?

— Он добрый и простой человек, — серьезно заметил Белинский, — но повытерся светом и жизнью и потому бесцветен, как изношенный платок! Только вы об этом никому ни гугу!

— Вы, наверное, и обо мне то же скажете? — рассмеялся Гоголь.

— Нет, — решительно возразил Белинский и даже приподнялся на диване. — Вы поэт мировой, вы поэт действительности. Я возвышаюсь духом и предаюсь глубокой и важной думе, читая «Тараса Бульбу». А читая курьезную «Повесть о том, как поссорился...», смеюсь и хохочу. Отчего это? От сущности действительности, воссозданной в том и другом. Оттого, что первое изображает утверждение жизни, а другое ее отрицание!

Гоголь задумался. Слова Белинского поразили его своей глубиной, проникновением в самую сущность того, что он хотел сказать своими произведениями.

— Я сейчас заканчиваю большую статью, — продолжал Белинский. — В ней подробно разбираю вашего «Ревизора». В нем тоже идея отрицания, изображение пустоты, наполненной деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма. Я и даю подробный разбор этого превосходного произведения искусства. Он будет напечатан в книжке «Отечественных записок», которая скоро выйдет.

Белинский привлекал к себе своей искренностью и простотой. Его бледное лицо оживлялось, когда он начинал говорить, и внушало доверие. Он спросил Гоголя о его работе, о его новых произведениях, его поэме. И, обычно скрытный и сдержанный с малознакомыми людьми, Гоголь вдруг открылся, поведал о своем заветном труде.

— Я начал было писать, — отвечал Гоголь, — не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры. Что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? К чему это? Что должен сказать собою такой-то характер? Что должно собою выразить такое-то явление?

Белинский понимающе слушал.

— Ваш замысел, ваш юмор, — наконец раздумчиво произнес он, — доступен только глубокому и сильно развитому духу. У нас всякий писака так и тарашится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и своих знакомых!

— Чем более я обдумывал мое сочинение, — продолжал Гоголь, — тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши.

Белинский слушал с огромным вниманием, изредка отбрасывая со лба прядь белокурых волос.

Разговор неожиданно прервался, так как хозяин попросил всех перейти в столовую ужинать.

— Я угощу вас, господа, удивительными сосисками, приготовленными совершенно особым способом! — с таинственным видом предупредил Одоевский.

За столом уже сидел в кресле дедушка Крылов. На нем был коричневый поношенный фрак, белый платок и сапоги с кисточками, облегавшие его тучные ноги. Он опирался руками в колени и даже не поворачивал своей тяжелой и величавой головы.

Среди гостей были известный эпиграмматист, друг Пушкина Соболевский и несколько чиновных, но малодаровитых литераторов.

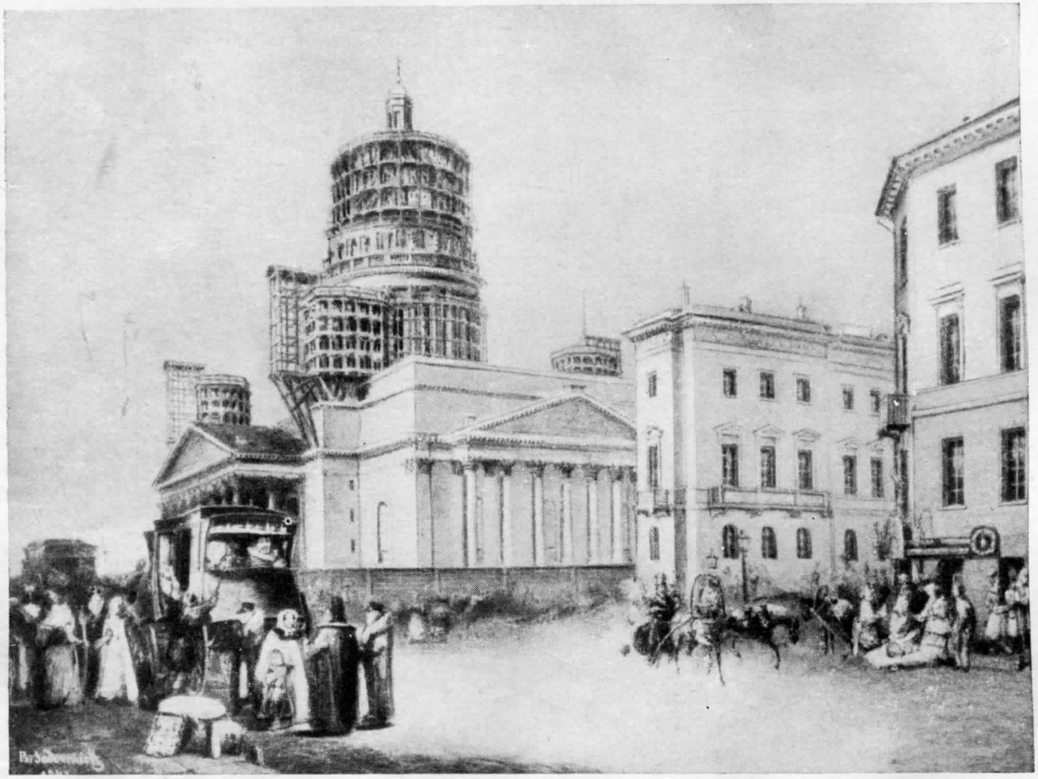
Все с любопытством ожидали обещанных сосисок.



«Мертвые души». Въезд Чичикова в уездный город. Художник Агин. Гравировал Бернардский.



Чичиков. Акварель художника Боклевского.



Станция дилижансов на Исаакиевской площади. Акварель В. Садовникова

Ужин открылся именно этими сосисками. Гости разрезали их, рассматривали со вниманием, предвкушая изысканный вкус. Однако, взяв сосиску в рот и разжевав ее, все неподвижно замирали, полуоткрыв рты. Сосиски — увы! — пахли салом, стиральным мылом, опилками и еще какими-то странными химическими запахами. Всем захотелось их выплюнуть.

Крылов сердито отставил тарелку в сторону.

Соболевский без церемоний выплюнул сосиску и, торжественно протягивая тарелку, громко обратился к хозяину дома:

— Одоевский! Пожертвуй это блюдо в приюты, находящиеся под начальством княгини.

Смущенный Одоевский что-то пробормотал и сконфуженно замолк.

Этот комический эпизод был скоро забыт. Завязался оживленный разговор. Оправившийся от смущения хозяин стал рассказывать о животном магнетизме и месмеризме, уверяя, что знание этих таинственных сил приоткроет мистический мир духов.

После ужина гости стали расходиться, и Гоголь, попрощавшись с хозяевами, ушел вместе с Белинским и Панаевыми, у которых тогда жил Белинский. Дорогой они посмеивались над злополучными сосисками и месмеризмом, и Гоголь смешно изображал смущение князя и лица гостей, не решавшихся выплюнуть алхимические сосиски. Полные взаимной симпатии, они расстались на Невском проспекте...

Аксаковы закончили свои дела и вместе с Гоголем и его сестрами 17 декабря выехали в Москву.

После отъезда Гоголя Белинский в письме к Константину Аксакову сообщал: «Поклонись от меня Гоголю и скажи ему, что я так люблю его, и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества».

21 декабря 1839 года Гоголь с сестрами благополучно прибыл в Москву. Переночевав у Аксаковых, он переехал к Погодину, у которого и поселился в ожидании приезда матери. Препоручив ей сестер, Гоголь сразу же собирался уехать обратно в Италию.

Дом Погодина на Девичьем поле, приобретенный несколько лет назад у князя Щербатова, представлял собой обширный двухэтажный особняк. В центре находился кабинет Погодина, огромный круглый зал со стеклянным куполом наверху. Этот зал от пола до верха заставлен был полками, набитыми фолиантами, древними книгами, старинными бумагами. Здесь помещалось знаменитое древлехранилище, много лет собираемое Погодиным. Вокруг зала на высоте второго этажа шла узенькая, обрешеченная галерея, на которую выходили комнаты. Одну из этих комнат занимал Гоголь, другую его сестры.

Сестры доставляли ему немало хлопот. Они путались в своих длинных платьях, от скуки вечно ссорились между собой. Он накупал им конфет или же рассовывал по знакомым: к Аксаковым, Нащокиным, Елагиным.

Особенно огорчали его материальные дела. Долг Аксакову тяготил, нужны были деньги для поездки за границу.

Гоголь пытался продать право переиздания своих произведений. Еще будучи в Петербурге, он вел об этом переговоры со Смирдиным. Но Смирдин давал ничтожную сумму, предлагая кабальные для писателя условия.

— Книгопродавцы всегда пользовались моим критическим положением и стесненными обстоятельствами, — жаловался Гоголь Погодину. — Нужно же, как нарочно, чтобы мне именно случилась надобность в то время, когда меня более всего можно притеснить и сделать из меня безгласную, страдающую жертву!

Погодин советовал поговорить с московскими книгопродавцами, добиться более выгодных условий. Но дела с издателями не двигались, и надежд на полу-

чение денег становилось все меньше. А тут со всех сторон посыпались беды.

— Все идет плохо, — огорчался Гоголь, — бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, продают с молотка. Предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рухнуло... Я сам нахожусь в ужасно бесчувственном, окаменевшем состоянии.

На уверения Погодина, что его обстоятельства исправятся, как только он закончит свой труд, Гоголь отвечал, что для его окончания нужны деньги, на которые он мог бы уехать в Италию и прожить там еще год.

Он обратился с письмом к Жуковскому, в котором сообщал, что решил не продавать своих сочинений книготорговцам, а «уехать скорее как можно в Рим, где убитая душа моя воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму и весну, приняться горячо за работу и, если можно, кончить роман в один год. Но как достать на это средств и денег? Я придумал вот что: сделайте складку, сложитесь все те, кто питают ко мне истинное участие, составьте сумму в 4 000 рублей и дайте мне взаймы на год. Через год я даю вам слово, если только не обманут мои силы и я не умру, выплатить вам ее с процентами».

С тревогой он ожидал ответа Жуковского. Даже трогательные заботы друзей — Аксаковых, Погодина, Щепкина — не могли смягчить напряженного ожидания, внутреннего беспокойства, завладевшего Гоголем. Наконец в начале января он получил известие от Жуковского, что тот достал для него деньги, которые занял у наследника. Это ободрило писателя, увидевшего в письме Жуковского «весть освобождения».

Теперь оставалось лишь завершить семейные дела, вызвать Марию Ивановну в Москву и устроить сестер. Гоголь решил младшую из них оставить в Москве, в доме у кого-нибудь из своих друзей. При содействии Авдотьи Петровны Елагиной он договорился об этом с Прасковьей Ивановной Раевской, охотно взявшейся приютить у себя Лизу.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с подростком, дочерью Оленькой. Мария Ивановна

мало изменилась — она сохранила свою моложавость и скорее была похожа на старшую сестру Гоголя, при этом очень на него похожую. Живая, добродушная, вечно полная какими-то хозяйственными заботами, она глядела обожающими глазами на сына и все время беспокоилась о чем-то. По вечерам, когда Гоголь уходил в гости, она сидела за самоваром со старухой матерью Погодина, простой крестьянкой, которая упорно называла Гоголя «тальянцем». Они долго толковали о своих сыновьях, превознося их необыкновенную ученость и другие прекрасные качества.

Наконец все дела окончены: Лизе и Анете куплено по черному шелковому платью, Марии Ивановне — красивая шаль, Оленьке — книги и игрушки. Для Марии Ивановны с Анетой и Оленькой заказали места в дилижансе. Проводы были грустными. Лиза горько плакала. Мария Ивановна все время утирала глаза краешком платка, Анета висела на брате и в то же время с удовольствием посматривала на новенькую браслетку. Все вышли во двор. Лошади были запряжены, кучер хлестнул кнутом, и дилижанс тронулся.

Приближался и отъезд самого Гоголя. Он прочел у Аксаковых и Киреевских несколько первых глав своей поэмы. Главу о Плюшкине он читал в маленьком кабинете Аксакова в присутствии молодого ученого и литератора Василия Алексеевича Панова. Панов пришел в такой восторг от чтения, что обещал бросить все свои дела и отправиться сопровождать Гоголя в Италию. Таким образом решался вопрос о попутчике, которого Гоголь искал, чтобы сэкономить расходы по поездке. Он даже написал объявление, которое было помещено в «Московских ведомостях»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках. На Девичьем поле в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя».

В первоначальном тексте это объявление имело шуточный оттенок. Гоголь там добавил о себе, что он «человек смирный и незаносчивый — не будет делать

во всю дорогу никаких запросов своему попутчику и будет спать вплоть от Москвы до Вены».

Теперь все устраивалось наилучшим образом.

Гоголь воспрянул духом и назначил отъезд сразу же после празднования дня своих именин, 9 мая. Этот день он ежегодно торжественно отмечал обедом, на который созывал всех друзей и знакомых.

Несмотря на прохладную погоду, обед решено было дать на открытом воздухе в обширном саду Погодиных. Уже за несколько дней до пиршества начались совещания со старым поваром Семеном. Но старик нес такую галиматью, что Гоголь выходил из себя и кончил тем, что отправился в купеческий клуб к Порфирию, который готовил хотя и проще, но пожирнее и отлично знал украинские блюда.

Наступил долгожданный Николин день.

С утра в саду были установлены длинные столы для гостей. На кухне священнодействовал Порфирий под присмотром самого именинника, который приподнимал крышки с кастрюль и внюхивался в ароматы, струившиеся из них, смотрел на то, как жарились перепела и каплуны, давал множество авторитетнейших советов.

Гости съехались еще задолго до обеда. Тут были и Аксаковы, и Щепкин с сыном, Александр Иванович Тургенев, близкие друзья Пушкина — князь Петр Вяземский и Павел Воинович Нащокин, Иван Киреевский, профессор Шевырев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин. Пришел отставной генерал Михаил Федорович Орлов, связанный в прошлом с декабристами, а теперь живший в Москве под надзором полиции. Среди гостей находился и московский старожил, племянник поэта И. Дмитриева — Михаил Александрович, тоже поэт, но бездарный. Появился и разряженный, как модный манекен, Николай Филиппович Павлов с неизменной тросточкой и золотой табакеркой. Сергей Тимофеевич Аксаков приехал в карете, закутанный по-зимнему, — у него сделался сильный флюс, и он не смог обедать в саду. Зато Константин Сергеевич с энтузиазмом молодости сидел за столом в одном сюртуке.

Среди множества гостей выделялся молодой человек с умными, печально-ироническими глазами, в военном мундире. Это был поэт Михаил Лермонтов, приехавший ненадолго в Москву. Про него шепотом говорили, что он автор стихотворения на смерть Пушкина, за которое его и выслали на Кавказ.

Обед прошел весело и шумно. Провозглашались тосты за именинника, за русскую литературу, за хозяина дома Погодина и за всех гостей, присутствовавших на обеде. Гоголь был очень доволен и оживлен: шутил, рассказывал смешные истории и анекдоты.

После обеда все разошлись по обширному саду и разбились на группы. Лермонтов стоял рядом с Гоголем под большим дубом и медленно читал стихи:

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,—
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О! Я, как брат,
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...

Лермонтов замолчал. Его немного смуглое лицо побледнело. Гоголь, слушавший стихи с напряженным вниманием, спросил:

— Это откуда?

— Из поэмы о грузинском мальчике, послушнике, бежавшем из монастыря. «Мцыри», — небрежно ответил Лермонтов. — Вам понравилось?

— В ваших стихах слышатся признаки таланта первостепенного, — задумчиво сказал Гоголь. Лермонтов постарался перевести разговор на другую тему.

— Я слышал, вы снова уезжаете за границу?

— Да, мне нужно уединение и тепло. Какое странное мое существование в России! — с горечью произнес Гоголь. — Среди России я почти не увидал Рос-

сии. Все люди, с которыми я встречался, большею частью говорят о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнаю только то, что делается в английском клубе... — он замолк и, не ожидая ответа, присоединился к остальным гостям.

Лермонтов, не прощаясь, направился в дом и сразу уехал.

Все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием приготовлял жженку. Он опять оживился, стряхнув груз тягостных раздумий, прорвавшихся в его разговоре с Лермонтовым.

Жженка вспыхнула в широкой чаше голубым огнем.

— Словно Бенкендорф! — весело пошутил Гоголь, намекая на голубой цвет жандармских мундиров. — Давайте отправим его в наши желудки.

Жженка довершила всеобщее оживление. Молодой Пров Садовский, только что вступивший в труппу Малого театра и приведенный на именины Щепкиным, подвыпив, стал показывать, как пьяному мужику кажется, что у него в ушах «муха жужжит». Он обнимал левой рукой ствол липы, а правой, как бы отмахиваясь от мнимой мухи, лезшей ему в ухо, жужжал на разные лады, к великому удовольствию зрителей.

До отъезда оставалось всего несколько дней. В дорогу путешественников снаряжали Аксаковы. Добрейшая Ольга Семеновна напекла пирогов и кулебяк, накупила колбас, балыков, сыров столько, что с ними можно было свободно доехать не до Вены или Рима, а до Северного полюса. Гоголь со своей стороны поручил сестре Лизе купить ему три фунта сахара, наколоть его на куски, а также фунт наилучшего ливанского кофе.

Оставалось лишь отвезти сестрицу Лизу к Раевской. Добрейшая Прасковья Ивановна ласково встретила их в низкой, но обширной гостиной. Все здесь свидетельствовало о спокойной, тихой жизни: и старинная мебель, и мягкие потертые диваны, и вкусный запах печеных пирогов, доносившийся из кухни, и греющиеся у большой изразцовой печки котята. Вместе с Прасковьей Ивановной жили ее кузина и

племянница, девочка лет двенадцати, которые сердечно приветствовали стесняющуюся и путавшуюся в длинном платье Лизу.

Попросив Прасковью Ивановну взять на себя попечение о сестре, Гоголь стал прощаться:

— Ни слова не скажу вам о своей благодарности, — произнес он растроганно. — Вы сами знаете, как она велика. Положение сестры моей было для меня невыносимой тяжестью. Сколько я ни перебирал в уме своем, где бы найти ей угол такой, где бы характер ее нашел хорошую дорогу, но только в вашем доме нашел я это.

Прасковья Ивановна хотела его перебить, но Гоголь продолжал:

— Я желаю, чтобы моя сестра научилась уметь быть довольной совершенно всем и была бы более знакома с нуждою, чем с изобилием, и находила наслаждение в труде.

Разговор завершился слезами Лизы, всхлипнула и Прасковья Ивановна, провожая до дверей своего гостя.

Наступил день отъезда. 18 мая после завтрака Гоголь торжественно сел с Пановым в тарантас, сплошь заставленный кулечками, пакетиками, туесками. Сергей Тимофеевич с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем — на дрожках, и вся процессия торжественно поехала до Поклонной горы. На Поклонной горе все вышли из экипажей, и Гоголь и Панов простились с Москвой, низко ей поклонившись.

Дорогой Гоголь был весел и разговорчив. Он повторил Сергею Тимофеевичу свое обещание через год возвратиться в Москву и привезти первый том «Мертвых душ», совершенно готовых к печати. Сергей Тимофеевич с горечью укорял Гоголя, сомневаясь в его обещании:

— Вы недостаточно любите Россию, — говорил Сергей Тимофеевич, — неужели, чтобы писать о ней, вам надо удаляться в Рим, в чужие края? Итальянское небо, свободная жизнь среди художников, вот что вас манит. Роскошный климат, поэтические раз-

валины прошлого вам стали ближе и дороже, чем наша скромная природа, наша обыденная жизнь.

Гоголь обнимал Аксакова, уверял, что он не прав, что сердце его принадлежит России.

— Но что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом: что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение дерева, дело природы, дело искусства — все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Там без помех и закончу свою поэму и через год буду у вас.

В Перхушкове сделали остановку. Пообедали на тамошней станции. Гоголь снова варил жженку, выпили за здоровье отъезжающих. Солнце садилось среди леса. Веял теплый майский ветерок. В косых лучах солнца белые стволы березок с набухавшими бледно-зелеными почками на ветках казались еще белее.

Толстый, кругленький Щепкин прослезился. Молчаливый, неповоротливый Погодин помрачнел и как-то сердито отвернулся в сторону. Сергей Тимофеевич грустно глядел на Гоголя добрыми, близорукими глазами. Митя Щепкин и Константин Аксаков стояли молча в стороне. Все на минуту присели по русскому обычаю и затем вышли на крыльцо. Гоголь взгромоздился на кучу кульков, подушек и коробок. Тоненький поджарый Панов как-то незаметно юркнул в коляску с другой стороны. Раздались последние прощальные приветы, и коляска покатилась по Варшавской дороге. Неожиданно с севера потянулись черные, тяжелые тучи. Они быстро и густо заволокли половину неба, сделалось темно и мрачно. Лишь на краю горизонта, на западе, навстречу путешественникам опускалось величественное, ярко-красное солнце.

БОЛЕЗНЬ

Дорога, как всегда, успокоила Гоголя. Он шутил с Пановым, который с обожанием на него смотрел. Ехали на почтовых, не торопясь, останавливались на

почтовых станциях, подолгу пили чай, обедали, отдавая дань кулинарному искусству Ольги Семеновны.

После вкусного обеда или особенно удачного чая Гоголь приходил в восторженное настроение и пел украинские песни. Иногда он так воодушевлялся, что начинал отплясывать в повозке краковяк. Успокоившись, Гоголь читал наизусть стихи. Особенно он любил читать Языкова или учил Панова итальянскому языку.

Путешественники проехали Польшу, пробыли несколько дней в Варшаве, осмотрев ее достопримечательности, и через Краков добрались до Брюна, откуда совершили поездку по железной дороге до Вены. Остановившись в гостинице, они сразу же направились на гору Каленберг, откуда открывался чудесный вид на Вену и зеленые раздолья знаменитого Венского леса, тенистым кольцом окружавшего город. Осмотрели огромный собор св. Стефана, дворец Шенбрунн, который одно время был резиденцией Наполеона, а теперь служил австрийским императорам.

За нарядной и веселой внешностью Вены с ее оперным театром, кафе, ресторанами, шумом Пратера и роскошью Шенбрунна чувствовалась мертвенная тишина и немота, которую водворил в стране канцлер Меттерних. Всюду проявлялась беспредельная бдительность и подозрительность. На всем пространстве Священной империи — от Карпатских гор до Адриатического моря — царила безжалостная полицейская система, осуществляемая бесчисленными жандармами, таможенниками, шпионами, государственными чиновниками. Все старания их сводились к тому, чтобы не пропустить никакой живой мысли, известия или мнения, не подходящих под мерку благонамеренности, установленную правительственными инстанциями. Черная тень реакции нависла над всеми порабощенными народами, входившими тогда в состав империи. Угнетение славянских народов и итальянцев являлось неукоснительно проводившейся правительственной программой.

В Вене Гоголь почувствовал прилив новых сил, творческого вдохновения. «Я начал чувствовать ка-

кую-то бодрость юности, — писал он М. П. Погодину, — а самое главное, я почувствовал, что нервы мои пробуждаются из того летаргического бездействия, в котором я находился последние годы и чему причиною было нервическое усыпление... Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О! какая была это радость, если бы ты знал!» Гоголь принялся за работу над драмой из украинской истории «Выбритый ус». Он лихорадочно писал ее на маленьких листочках, перед ним снова оживало прошлое его родной Украины. Одновременно он отредактировал перевод комедии итальянского драматурга Жиро «Дядька в затруднительном положении», которую еще раньше в Риме перевели русские художники по его просьбе для Щепкина.

Напряженная работа над драмой, нервное возбуждение, которое испытывал Гоголь, завершилось неожиданно тяжелым заболеванием.

Как на грех, Панов незадолго до этого уехал, условившись встретиться с Гоголем в Венеции и дальше уже направиться в Рим вместе. Гоголь остался один в маленьком жарком номере венской гостиницы. Он почувствовал боль в груди, болезненную тоску. Посетивший его доктор признал желудочное заболевание и раздражение нервов. Гоголь и двух минут не мог оставаться в спокойном состоянии ни в постели, ни на стуле, ни на ногах. С каждым днем ему становилось хуже и хуже. В письме к Погодину он, рассказывая о своей болезни, сообщал: «О, это было ужасно, это была та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вьельгорского в последние минуты жизни». Доктор растерялся и ничем не мог ободрить больного. Гоголь уже составил духовное завещание, в котором писал прежде всего о выплате долгов после его смерти. Никакого имущества он завещать не мог, так как, кроме долгов и носильного платья, у него ничего не было. Болезненное самочувствие, мучительная слабость усиливались свойственной ему мнительностью.

В веселящейся, солнечной, суетливой Вене он ос-

тавался одиноким, больным, умирающим. Неужели в этой страннической жизни он лишен даже дружеской заботы, должен умереть в одиночестве на чужой, далекой земле? Вот он странствует по свету, измученный, нищий, обессиленный болезнью, с тем чтобы завершить свой труд... Даже лучшие друзья — Жуковский, Погодин, Плетнев, Аксаков не понимают его. Он болен душою и телом, нуждается в дружеском участии. Его грудь и голову сжимает чугунная тяжесть. Он почти не может двигаться от слабости. Неужели это конец?

В это трудное для него время в Вену неожиданно приехал один из московских знакомых Гоголя, друг Погодина — Николай Петрович Боткин, сын богатого чаеторговца. Николай Петрович любил литературу и искусство и высоко ценил Гоголя. Узнав о его болезни, он поселился в той же гостинице и стал преданно за ним ухаживать. Николай Петрович терпеливо переносил капризы и жалобы больного, успокаивал и утешал в минуты отчаяния, внимательно следил за его лечением.

Гоголю стало легче. Боли почти прошли, оставалась лишь страшная слабость. Он решился положиться на свое излюбленное средство лечения — дорогу. Велел усадить себя в дорожную коляску и, сопровождаемый тревожными напутствиями Боткина, уехал в Венецию. «Дорога спасла меня, — писал он Плетневу. — Три дни, которые я провел в дороге, меня несколько восстановили. Но я сам не знаю, вышел ли я еще совершенно из опасности. Малейшее какое-нибудь движение, незначащее усилие, и со мной делается черт знает что. Страшно, просто страшно».

И вот Гоголь в давно желанном ему Риме, в той же комнате на Виа Феличе, в которой он жил в прошлый приезд. Но теперь его не радовало ни иссиня-голубое небо Италии, ни сверкающий золотом купол св. Петра, ни развалины Форума, ни живописные виды Альбано. Ему казалось, что здоровье безнадежно потеряно, что утрачены силы для продолжения его труда. Да и материальные дела после длительной поездки и болезни были плохи. Деньги оказались на ис-

ходе, а надежды на получение в Риме должности при начальнике русских художников Кривцове не оправдались. Опять встал перед писателем суровый вопрос о деньгах. Вновь пришлось обращаться с просьбами к друзьям, жаловаться, умолять, благодарить. В письме к Погодину он сообщал: «Со страхом гляжу на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. Теперь... боже. Сколько пожертвований сделано для меня моими друзьями — когда я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести».

Однако чудодейственный климат Италии оказал благотворное воздействие на больного писателя. К нему вернулась бодрость и работоспособность. По-прежнему он стал появляться в кафе Греко, ходить по улицам Рима, встречаться с друзьями. Он поселился вместе с Пановым, который старательно заботился о нем и даже исполнял обязанности переписчика и секретаря.

«Мертвые души» вновь двинулись.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ



„Мертвые души"

...Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи!..

Н. Гоголь, «Мертвые души»

ТРУДЫ И ДНИ

Он уже привык к неуютной комнате на Страда Феличе. В ней стояла привычная для него конторка, за которой он писал, скромная старенькая мебель. Все здесь располагало к труду.

Неподалеку от него поселился Панов. В свободное время Гоголь бродил с ним по Риму, а вечерами читал ему новые главы поэмы. Однако Панов захо-

дил все реже и реже. Устроившись для практики итальянского языка на частной квартире, он увлекся дочерью своих хозяев, девицей весьма легкомысленного нрава, и был поглощен своими сердечными делами.

Вскоре пришло письмо от С. Т. Аксакова, в котором тот просил Гоголя от имени Погодина прислать что-нибудь для затеянного им журнала «Москвитянин». Но Гоголь, погруженный в работу над поэмой, воспринял эту просьбу как покушение на его свободу, отвлечение от своего труда. «Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда, — отвечал он Аксакову, — для меня уже беда... Тяжкий грех ствлекать меня!.. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного... Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала, но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего».

Светлым, солнечным днем по лестнице дома 126 поднимался низенький полный человек с сердитыми усами и небольшой эспаньолкой. Постучав в двери на четвертом этаже, он оказался лицом к лицу с сухоньким почтенного вида старичком.

— Не здесь ли живет синьор Гоголь? — спросил посетитель.

Старичок неторопливо объяснил, что синьора Гоголя нет дома, что он уехал за город и неизвестно, когда будет. Говорил он все это, как затверженный урок. Из дверей высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку:

— Синьор Ченчи, разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга! Его надо пустить. Здравствуйте, Павел Васильевич! — прибавил он по-русски. — Что же вы не приехали к карнавалу?

Жюль оказался Павлом Васильевичем Анненковым, и Гоголь, обрадовавшись встрече со старым знакомым, повел его в свою комнату и стал угощать чаем.

В квартире, где жил Гоголь, смежная комната

оказалась незанятой, и Анненков поселился с ним вместе.

Павел Васильевич предложил помощь в переписке «Мертвых душ». Решено было заниматься этим под диктовку Гоголя один час в день. Остальное время они жили розно, каждый по-своему. Правда, в течение дня довольно часто встречались, а вечера проводили обыкновенно вместе. Между ними существовало молчаливое условие: не давать ни под каким видом чувствовать себя товарищу. Каждый ценил личную независимость и свободу своих действий. Гоголь признавал лишь такие отношения, при которых он не брал на себя никаких обязательств и располагал полностью собою. Он не выносил назойливого любопытства, навязчивости и вмешательства в его душевную жизнь.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На его письменном бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни и в промежутках между работой он опорожнял его дочиста. Это было его лечение, так как после болезни в Вене он свято уверовал в лечебные свойства воды.

Закончив утреннюю работу, он завтракал в кофейной доброй чашкой кофе со сливками, из-за качества которых постоянно спорил со слугой. Затем он и Анненков отправлялись каждый сам по себе по делам или на прогулку. В условленный час они собирались в комнате Гоголя.

Покрепче притворив ставни окон от яркого южного солнца и разложив перед собой тетрадку, Гоголь начинал диктовать. Он диктовал мерно, торжественно, с глубоким выражением, проникнутым чувством и мыслью. Нередко раздавался за окном пронзительный рев осла, затем слышался удар палкой по его бокам и сердитый крик женщины: «Ecco latrone!*». Гоголь останавливался и замечал улыбаясь: «Как разнежился, негодяй!» — и снова диктовал вторую половину фразы с тем же выражением.

---

* Вот тебе, разбойник! *(итал.)*.

Иногда Гоголь прерывал диктовку и принимался за обсуждение вопросов орфографии. Когда Анненков вместо продиктованного слова «щекатурка» написал «штукатурка», он остановился и спросил: «Отчего так?», а затем торопливо подошел к книжному шкафу, вынул оттуда какой-то лексикон, нашел немецкий корень слова и его русское написание и тщательно обследовал все доводы. Только после этого он уселся в кресло, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, взволнованная речь.

Случалось, что переписчик в некоторых наиболее комических местах не выдерживал и разражался громким хохотом, забывая о своих обязанностях. Тогда Гоголь ласково и хладнокровно улыбался и повторял:

— Старайтесь не смеяться, Жюль!

Впрочем, и сам автор нередко вторил примеру переписчика и поддавался порыву веселости. В других случаях пафос чтения приобретал особенно торжественный характер. Диктуя начало шестой главы, Гоголь с волнением читал описание сада Плюшкина: «Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев...» Он даже привстал с кресла и сопровождал чтение жестами, так, как будто перед его глазами находился этот сад.

По окончании главы восхищенный Анненков взволнованно воскликнул:

— Николай Васильевич, я считаю эту главу гениальной вещью!

Гоголь крепко сжал в кольцо маленькую тетрадку, по которой диктовал, и произнес тонким, едва слышным голосом:

— Поверьте, что и другие не хуже ее! — И тут же, изменив тему и тон разговора, он продолжал: — Знаете ли, нам до cenare * осталось еще много времени, пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся!

---

* Ужина *(итал.)*.

Гоголь был в прекрасном расположении духа и, как только они повернули от дворца Барберини в глухой переулок, принялся петь разудалую песню. Под конец он пустился в пляс, смешно вывертывая зонтиком, взятым на случай дождя, такие штуки, что скоро в руке у него осталась одна ручка.

Сады Саллюстия оказались живописным огородом, на котором разбросаны были руины древних построек. В виллу же Людовизи их не пустили, как Гоголь ни стучал в ее безответные ворота. Приятели пошли дальше за город, выпили у первой локанды по стакану легкого местного вина и поспешили назад к вечернему обеду в знаменитой остерии Фальконе.

Дорогой Гоголь говорил о своем труде, о том, что предмет его становится все время глубже и глубже и по окончании первой части он примется за продолжение.

— Дальнейшее продолжение его, — признавался он Анненкову, — выясняется в голове моей чище, величественней. Теперь я вижу, что со временем может быть кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

К семи часам вечера, незадолго до «Аве Мария», наступала на смену дневной жаре прохлада. Гоголь с Анненковым, к которому нередко присоединялись Иванов и Иордан, отправлялись на прогулку по улицам Рима. По дороге они обычно встречали духовную процессию во главе с толстым аббатом, шедшим под балдахином с дарохранительницей. После краткой молитвы у импровизированного алтаря на углу улицы аббат благословлял столпившийся народ. Вечернее солнце обливало пурпуром знамена и полотнища с фигурами святых, кресты, фонари, рясы нищенствующих монахов, цветные платья молящихся женщин. Эту сцену и запечатлел Александр Иванов на своей акварели «Ave Maria». Это был папский Рим, напоминающий о могуществе Ватикана.

А кварталом дальше два молодых водоноса, поставив ушат на землю, смешили друг друга рассказами и анекдотами, весело хохоча над своими шутками.

— Нынешние римляне, — заметил Гоголь, — без сомнения, гораздо лучше своих праотцев, которые не знали ни их неистощимого веселья, ни их добродушной любезности.

Возвратясь с прогулки, все собирались в комнате Гоголя и усаживались за игру в бостон. Это была необычная карточная игра. Гоголь сам изобретал ее правила и законы, мало заботясь о происходившей путанице и недоразумениях. Он даже аккуратно записывал на особой бумажке итоги игры, хотя это было совершенно лишним, поскольку каждый раз возникала необходимость вновь изменять ее правила.

Собравшиеся сидели при слабом свете ночника, которым Гоголь необычайно гордился. Ведь при таких же римских лампадах, как он уверял, работали, веселились древние сенаторы. Взяв в руку флягу орвиетто, он мастерски сливал верхний слой оливкового масла, заменявший пробку, и разливал по бокалам рубиновое, немного терпкое вино.

С Александром Ивановым Гоголя сближала и самоотверженная отдача художником всего себя любимому искусству, и широта грандиозного замысла, и мечта о прекрасном человеке, очистившемся от земной скверны. Подвижническая работа Иванова над картиной перекликалась с работой Гоголя над поэмой.

Гоголь нередко приходил в мастерскую Иванова, который писал его портрет. Но, и помимо портрета, Гоголь по просьбе художника позировал ему для персонажей его картины. В «Явлении Мессии» есть фигура человека с седеющими волосами, худым, заостренным лицом, в хламиде бруснично-желтоватого цвета. Это Гоголь. Он стоит в скорбно-суровой позе в той группе людей, которая завершается двумя всадниками. Иванов сделал для своей картины ряд эскизов с Гоголя, проникновенно передав на них вдохновенно аскетический облик писателя.

Как-то утром вместе с художником Гоголь зашел

в его мастерскую. В обширном помещении, загроможденном всяческим хламом, старыми мольбертами, стульями, холстами, в центре стояла картина «Явление Мессии», над которой художник работал уже более шести лет. Этой картиной Иванов хотел выразить неимоверные страдания народа, ждущего облегчения своей участи, исполненного страстной веры в будущее. Но эта идея представлялась художнику в религиозно-мессионистических образах евангельской легенды. Может быть, поэтому картина двигалась медленно. На ней уже были с поразительной силой и душевной экспрессией изображены и народ, с внезапно пробудившейся надеждой и верой смотрящий на Иоанна, и сомневающиеся мытари и фарисеи, сурово-вдохновенная фигура Крестителя, указывающего на шествующего вдали на фоне мягко умиротворенных гор и бесконечного простора голубого неба Мессию-Христа. Но самый облик Христа не давался художнику, все время мучительно волновал его.

Иванов стремился к реалистической правде изображения. Он бродил по Риму и его окрестностям, зарисовывая типы, пустынные места, камни, ветки деревьев. Каждая деталь в его картине была результатом долгого труда, сосредоточенного изучения. Но не в натуралистической точности он видел свою цель, а в выражении духовного начала, идеи, которая должна возникнуть из всей композиции, из трактовки отдельных фигур.

С горечью жаловался Иванов на отсутствие поддержки, на то, что начальство Академии собирается лишить его пенсиона, требует в годичный срок завершить картину.

— Меня уже запрашивают: намерен ли я оставаться в Италии или располагаю возвратиться в Россию. Они считают, что жалованье, выигрышный угол на выставке в Академии есть уже высокое блаженство для художника. А я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна! — Иванов почти задохнулся от волнения и замолк. Гоголь по-

нял, насколько болезненно переживал художник угрозу возвращения с незавершенной картиной, опасность казенного контроля над своим вдохновением.

— Вы сделали все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Все, что относится до умного и строгого размещения группы, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое сходство согласно евангелию. Вид всей живописной пустыни исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы!— заметил Гоголь, стараясь успокоить художника. — Для того чтобы добиться изображения главного в картине, — продолжал Гоголь, — представить в лицах весь ход человеческого обращения к Христу, необходимо самому художнику постигнуть всей душой это обращение.

Иванов внимательно слушал и соглашался со своим собеседником. Он высоко ценил взгляд Гоголя на искусство и благоговел перед ним как писателем.

Разговор перешел на положение русских художников в Риме. Иванов рассказал Гоголю о бедственном положении художника Шаповалова, который получал стипендию от Общества поощрения художников и занимался под руководством Иванова. Неожиданно Шаповалов лишен был пенсиона и оказался без куска хлеба. Сам Иванов тоже сидел без денег. Положение было отчаянным.

Гоголь знал этого молодого художника, своего земляка (по-украински его фамилия была Шаповаленко). Перед его глазами предстало вихрастое побледневшее лицо крестьянского паренька, трудолюбиво копировавшего картины Перуджино в Ватикане. Это был славный застенчивый юноша, который преданно трудился во славу искусства и жил только на свой крохотный пенсион.

Гоголь пообещал, что он публично прочтет «Ревизора» в пользу Шаповалова, хотя и очень не любит выступать перед большим количеством слушателей.

Чтение решено было устроить на вилле княгини Волконской; княгиня не только предоставила зал, но и помогла в распространении билетов. За билеты была назначена непомерная цена — пять скудо, да

Гоголь еще приписал: «А если кто может, то и более». Билеты быстро разошлись между русскими, проживающими в Риме, заезжими туристами, художниками. Передавали, что Гоголь имеет необыкновенный дар чтения и особенно хорошо читает «Ревизора».

В назначенный день в Палаццо Поли собралось многолюдное общество. Посреди большой залы возвышался стол, а впереди полукругом стояло несколько рядов стульев, занятых лицами высшего ранга. Гоголь сел за стол с довольно пасмурным видом, раскрыл тетрадь и начал читать с долгими паузами. В зале царила мертвенная тишина. Представители аристократического общества были явно недовольны комедией, слушали невнимательно, напуская на себя безразличный, скучающий вид.

После окончания первого действия появились официанты с подносами и стали обносить всех чаем с печеньем. Во время чтения второго акта многие кресла оказались пустыми. Гоголь читал все монотоннее и монотоннее, время от времени отхлебывая воду из стоявшего перед ним графина. Под конец остались одни художники. Аристократическое общество растаяло, развеялось по гостиным виллы Волконской. Многие, выходя из зала, брюзгливо говорили:

— Этой пошлостью он кормил нас в Петербурге. Теперь он перенес ее в Рим!

Гоголь был жестоко оскорблен и обижен. Его не утешили даже сердечные рукопожатия художников. Он замкнулся в себе, застыл, неохотно и редко после того захаживал на роскошную виллу Волконской.

Гоголь бродил по выжженным лучами южного солнца обширным полям римской Кампаньи. Садился на траву и приглашал своего неизменного спутника Александра Иванова послушать пение птиц. Так просидев или пролежав на траве несколько часов, он отправлялся домой, не говоря ни слова. Лишь изредка на него нападало прежнее веселое настроение, и тогда он шутил, рассказывал смешные анекдоты, и смех его неудержимо заражал собеседников.

Моллер принялся писать его портрет. Гоголь охотно позировал, но художника предупредил:

— Федор Антонович! Писать с меня весьма трудно! У меня по дням бывают различные лица, да иногда и в один день несколько разных выражений!

Художник написал с него два портрета: один с саркастической улыбкой, другой с грустным выражением лица.

Все настойчивее овладевала Гоголем мысль о том, что его состояние и недавно перенесенная им болезнь не случайны. Ему стало казаться, что он обречен, что дни его сочтены и лишь божественное предопределение удерживает его на этой многогрешной земле, с тем чтобы он довершил до конца свою миссию писателя, закончил творение, начало которого лежит на его конторке, переписанное и подготовленное к изданию.

В один из таких мучительных, знойных дней, когда у него на скулах появлялся легкий румянец, когда не хватало воздуха и сердце трепетно билось в груди, как большая птица, он писал Сергею Тимофеевичу Аксакову, этому бескорыстному, преданному другу, этому славному, умиротворяющему человеку, который протянул ему в трудный момент дружескую руку помощи: «Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека: никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего, больше ни часу мне не нужно!»

Россия вновь возникла перед Гоголем: Россия «мертвых душ» — помещиков и чиновников, и живая Россия — Россия народа, Россия будущего. Под тихий плеск римских фонтанов, в желтых выжженных зноем просторах Кампаньи, в мутно-рыжей волне быстро бегущего Тибра, в огромных проемах Капитолия Гоголю слышалась родная речь, виделись русские дали, родные города и села. Его искус был

закончен. «Мертвые души» могли начать свое странствие по свету. Правда, их нужно было еще напечатать. А для этого необходимо вернуться в Россию. «Теперь я ваш, — писал Гоголь в Москву С. Т. Аксакову, — Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди».

Для приезда в Россию нужны были деньги. А их никогда не было у Гоголя. Вновь и вновь пришлось умолять друзей о займе, с трепетом ожидать их ответа и денег.

Просьба Гоголя о деньгах была выполнена его друзьями. Правда, вечно сидевший в долгах Аксаков не мог помочь. Погодин после долгих раздумий и колебаний записал в своем дневнике: «Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать. Между тем я думал поутру, как бы приобрести равнодушие к деньгам». Равнодушия к деньгам Погодину приобрести не удалось, но деньги, как бы то ни было, он отправил. Гоголь был для него теперь козырем, козырным тузом в его журнальной деятельности. Погодин готовился с будущего года издавать новый журнал «Москвитянин», в который ему очень хотелось вовлечь и Гоголя.

Итак, дела устраивались. Долги уплачены, и оставалось только найти попутчика для обратного путешествия в Россию. К сожалению, недалекий, покладистый Панов, запутавшись в своих любовных делах, сбежал из Италии, а Анненков незадолго перед этим направился в Париж продолжать свое ознакомление с Европой.

В начале августа 1841 года Гоголь выехал из Рима через Флоренцию и Геную с намерением повидаться с Жуковским в Дюссельдорфе. Однако Жуковского в Дюссельдорфе не оказалось, и Гоголь отправился для свидания с ним во Франкфурт. Встретил его Жуковский со всегдашним радушием. Он недавно женился на дочери художника Рейтерна, и жизнь его была заполнена новыми семейными обязанностями и хлопотами. Жуковский сообщил Гоголю, что начальник над русскими художниками в Риме Кривцов может устроить его там библиотекарем.

Гоголь отверг даже самую мысль об этом. Он должен неусыпно работать над своим произведением, замысел которого все расширялся. За первым томом последует продолжение. Он не может сходить со своей прямой дороги, жертвовать временем, которое — увы! — ограничено его болезненным состоянием!

Полысевший и постаревший Жуковский зябко сидел у горящего камина. После обеда он привык отдыхать и соснуть часок или подремать в кресле. Он ласково усадил Гоголя напротив себя и продолжал прерванный разговор. Гоголь рассказывал ему о своих планах, о новой драме из украинской истории, которую собирался вскоре закончить. Вынув тетрадку, он стал читать ее Жуковскому, но тот, убаюканный чтением, разомлев от сытного обеда, вскоре сладко задремал. Гоголь прекратил чтение и, когда Василий Андреевич, наконец, проснулся, сказал:

— Вот видите, я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон — лучшая на него критика!

— Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось!

— А когда спать захотелось, то можно и сжечь ее! — с горечью произнес Гоголь и бросил рукопись в камин, где она и сгорела.

На этот раз душевной близости с Жуковским не произошло. У Жуковского было много забот и отвлечений, он был поглощен своими семейными делами, и Гоголь чувствовал себя с ним одиноким, непонятым. Он недолго оставался во Франкфурте, направившись оттуда в Ганнау, где встретился с поэтом Языковым, чьи стихи он так любил. Языков был тяжело болен и лечился на водах, проживая там вместе со своим старшим братом Петром Михайловичем. Языковы обласкали Гоголя, который провел у них целый месяц. Уезжая, он обещал по возвращении Языкова в Москву поселиться там вместе с ним.

Через Дрезден Гоголь направился в Россию.

Вновь перед ним открылись дорожные просторы. В тряской кибитке по осенним ухабам, не обращая

внимания на мельтешащий, надоедливый дождь и на дававшую себя знать болезнь, он вез рукопись своей поэмы «Мертвые души», которая должна была поразить его соотечественников, показать им их самих.

ВСТРЕЧИ

Проехав через бесцветный, по-казенному аккуратный Берлин, а затем по однообразным и унылым осенним дорогам Восточной Пруссии, Гоголь в начале октября прибыл в Петербург. По приезде он сразу же направился к Плетневу. Петр Александрович только что возвратился из Царского Села. Он был в курсе столичных новостей и настроений.

Петербургские новости были невеселыми. Реакция усилилась. Цензурный пресс завинчивался все туже и туже. Плетнев с горечью рассказывал Гоголю, что лишь на днях шеф жандармов Бенкендорф жестоко распек даже благонамеренного Кукольника, повесть которого «Сержант Иванов, или все заодно» вызвала неудовольствие Николая I. Бенкендорф выговаривал Кукольнику за то, что в его повести добродетели бедных, простых людей противопоставлены порокам знати. Он потребовал воздержаться на будущее время от печатания произведений, «противных духу времени и правительства». Это означало усиление цензурных препон, произвола чиновных мракобесов. Даже законопослушный профессор Никитенко, занимавший должность цензора, встретив Плетнева в университете, с горечью сказал ему, предварительно оглянувшись по сторонам, не слышит ли кто: «Я должен преподавать русскую литературу — а где она? Разве литература у нас пользуется правами гражданства?»

Гоголь показал Плетневу толстую рукопись «Мертвых душ».

— Я приехал из-за границы, чтобы напечатать свое творение. Неужели этому не суждено случиться?

Плетнев успокаивал его, жалобно разводил руками, обещал поговорить в «сферах», советовал обратиться к Александре Осиповне и графу Вьельгорскому, которые смогут помочь в цензурных инстанциях.

Гоголь поехал к Смирновой на Мойку. Александра Осиповна была мила и приветлива. Она, смеясь, вспоминала их пребывание в Бадене, шутила над угрюмым видом «шановного Мыколы Василича».

Смирнова охотно поведала Гоголю последние придворные новости и сплетни о том, что императрица похудела, что роман императора с фрейлиной Нелидовой продолжается и это огорчает всех любящих императрицу, что сама она собирается вновь за границу. Когда же Гоголь рассказал ей, что он приехал, с тем чтобы печатать «Мертвые души», Александра Осиповна замолкла, недавнее оживление ее завяло. Матовое, тонкое лицо стало грустным. Может быть, Гоголю лучше обратиться к графу Михаилу Юрьевичу Вьельгорскому? Он хорошо принят во дворе, близко знаком с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Уваровым.

Изящная, уютная гостиная Александры Осиповны напоминала о светской атмосфере, о жизни, заполненной раутами, приемами, любезной болтовней, салонным остроумием. Смирнова продолжала перечень светских новостей, рассказывая, что граф Вьельгорский крупно играет в вист с графом Нессельроде и обер-егермейстером князем Лобановым в доме Шуваловых.

Гоголь напился чаю с сухариками, раскланялся и уехал. «Мертвые души» лежали в его большом портфеле. В Петербурге издавать их не стоило. В припадке меланхолии Гоголь писал Н. Языкову о днях, проведенных в столице: «Меня, как ты уже, я думаю, знаешь, предательски завезли в Петербург; там я пять дней томился».

Гоголь навестил своего старого друга Прокоповича. Николай Яковлевич к этому времени преподавал русскую словесность в кадетском корпусе, женился, обзавелся детьми и растолстел. Он по-прежнему отличался медлительностью, был мешковат, добродушен и влюблен в Гоголя. В его небольшой, бедновато обставленной квартирке Гоголь чувствовал какой-то особенный покой и благорасположенность. Жена

Прокоповича принялась сразу же хлопотать с чаем, успокаивая любопытных ребятишек, все порывавшихся заглянуть в комнату, где сидел гость.

А гость, уютно развалясь на потертом хозяйском диване, вспоминал давно прошедшие лицейские годы и жаловался на неурядицу с его любимым детищем.

Николай Яковлевич близоруко щурился, смущенно мычал и поддакивал другу. Да, цензура воистину осатанела, говорил он. Его приятель критик Белинский, который так высоко ценит произведения Гоголя, вынужден чуть ли не каждую свою статью исчеркивать и переписывать заново!

Прокопович и сам продолжал изредка в свободное время пописывать стихи, которые, однако, очень редко появлялись в печати. Он с неизменным энтузиазмом следил за творчеством своего однокашника и нередко беседовал о нем с Белинским. Встревоженный жалобами Гоголя, он заверил его, что будет рачительно помогать прохождению «Мертвых душ» через цензуру, но на успех не очень надеется.

Разговор коснулся расстроенных дел Гоголя.

— Милый мой Никола, — сказал нерадостно Гоголь. — Я так устал от дел, от тревог душевных и телесных, от болезни своей, припадки которой теперь сильнее, что ни на какое новое дело у меня руки не поднимаются! А кругом нужны деньги и деньги! Для поездки за границу, для маменьки и сестриц в Васильевке, для уплаты долгов!

Прокопович печально морщился и кивал головою.

— Слушай, Николай Васильевич! — вдруг сказал он бодрым голосом. — Вот ты все жалуешься, а сам можешь разбогатеть! Почему тебе не издать собрание своих сочинений? Ведь наберется уже томов пять. Читатели тебя любят, книги твои давно разошлись — самое время!

Гоголь задумался и, отмахнувшись слабым движением рук, стал говорить, что у него нет ни сил, ни желания приниматься за столь тяжелое и хлопотливое дело. Хватит с него забот и неприятностей с «Мертвыми душами».

Прокопович продолжал настаивать. Он готов взять все хлопоты на себя. Он достанет бумагу, сговорится с типографией, сам будет ходить в цензуру. Для Гоголя не будет никаких забот.

После чая друзья внимательно обсудили план издания. Оно должно выйти в четырех томах: в первом — «Вечера», во втором — «Миргород», в третьем — повести, а в четвертом — драматические произведения.

Гоголь пообещал прислать Прокоповичу даже то, что им еще не напечатано или не закончено. Он передавал другу все полномочия на ведение этого издания:

— Пожалуйста, поправляй меня везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо.

Они обсудили вопрос о формате издания, качестве бумаги, о чем Гоголь особенно беспокоился, и расстались запоздно. Гоголь обещал присылать из Москвы просмотренные им материалы для своих сочинений.

В Москву Гоголь ехал в одной карете со знакомым Аксакова чиновником Пейкером, который очень обрадовался, узнав из подорожной, что едет вместе со знаменитым писателем. Но в дороге Гоголь надвинул на голову необъятный воротник своей шинели и уверил Пейкера, что он вовсе не Гоголь, а Гогель. Он рассказал преплачевную историю о том, как остался сиротою, и, разжалобив легковерного Пейкера, завернулся в шинель и во всю дорогу больше не сказал ни слова. Лишь по приезде в Москву недоразумение выяснилось, к великой обиде его попутчика.

Москва оставалась по-прежнему такой же близкой, домашней, простецкой. Пестрота и бестолковая скученность московских улиц, ясность осенних дней, радостный перезвон колоколов — все это казалось Гоголю добрым предзнаменованием в осуществлении того великого дела, ради которого он приехал в Россию.

Он опять остановился у Погодина и занял ту же комнату на галерее, которую занимал в прошлый приезд. Большую, светлую, с двумя окнами и балконом, обращенным на восточную сторону.

Многочисленное семейство Аксаковых также встретило Гоголя с прежней любовью. В шумной тесной квартире Аксаковых было уютнее и свободнее, чем в обширных апартаментах Погодина, там всегда продувал какой-то холодок. Аксаковы ничего не требовали от Гоголя, тогда как Погодин неизменно имел на него какие-то виды, а теперь, приступив к изданию «Москвитянина», и вовсе стал настойчив, домогаясь, чтобы он давал материалы для журнала.

Аксаковы огорчались переменой, происшедшей за этот год с Гоголем. Он сильно похудел и побледнел после болезни и казался каким-то надломленным. Стал молчаливее, сосредоточеннее, утратил былую жизнерадостность. Все реже и реже слышались его шутки. Он полностью был поглощен мыслью об издании «Мертвых душ». Пока поэма переписывалась, Гоголь прочел последние ее главы Аксаковым и Погодину. Чтение состоялось в доме Погодина, так как писатель не хотел, чтобы кто-нибудь слышал их, кроме самых близких людей. Он опасался предварительных разговоров и слухов, которые могли бы затруднить прохождение поэмы через цензуру.

Выслушав заключительную главу, Сергей Тимофеевич и Константин благоговейно молчали. Они не считали себя вправе нарушать величие момента. Им было ясно, что они присутствовали при рождении гениального произведения.

Погодин, однако, шумно выразив свое восхищение, стал поучать Гоголя скрипучим, деревянным голосом. Он считал, что сюжет поэмы в первом томе не движется, стоит на месте.

— Ты, любезный Николай Васильевич, выстроил длинный коридор, по которому ведешь читателя и отворяешь двери направо и налево, показывая сидящего в каждой комнате урода!

— Никакого коридора нет, — негодующе возразил Сергей Тимофеевич. — Содержание поэмы идет впе-

ред, потому что Чичиков ездит и скупает мертвые души...

Однако Гоголь попросил Погодина продолжать и даже сказал недовольно Аксакову:

— Сами вы ничего не замечаете и другому замечать мешаете.

Сергей Тимофеевич обещал отметить свои замечания на экземпляре рукописи, так как со слуха он не замечает мелочей.

Когда Аксаковы ушли, Погодин стал настоятельно просить Гоголя дать ему материал для журнала.

— Твое сотрудничество непременно расширит круг читателей. А то я разоряюсь! Выручай! Теперь самое время поддержать журнал эффектными статьями.

— Грех, тяжкий грех отвлекать меня от моего труда, — с сокрушением отвечал Гоголь. — Я умер теперь для всего мелочного. И что поможет журналу моя статья?

В конце концов он вынужден был подчиниться резонам Погодина и передал ему для журнала незаконченную повесть «Рим».

Согласие было восстановлено. Но, как казалось Гоголю, Погодин сильно изменился. Он стал жестче, честолюбивее. С ним трудно было договориться, так как его поглотили дела по журналу и заботы о карьере. Незадолго до приезда Гоголя министр народного просвещения граф Уваров, тот самый, которого так беспощадно высмеял в своих стихах Пушкин, предложил Погодину переехать в Петербург и стать директором канцелярии министра народного просвещения.

Погодин готов был уже занять директорское место, бросив Москву, свое древлехранилище, университет. Но Уваров раздумал. Претензии Погодина влиять на ход дел в министерстве, о которых он написал в своем ответе на предложение министра, испугали Уварова, и все осталось по-прежнему. Погодин, посетовав в своем дневнике о том, как «легко увлекаться прелестями мира», остался в Москве, съездив на поклон к Уварову в его подмосковное имение Поречье. Министр отдыхал там летом и приглашал к се-

бе в гости деятелей науки. Конечно, тех, которые являлись оплотом правительства, поддерживали выдвинутый им принцип — самодержавие, православие и народность. Видный ученый и литератор Погодин весьма пригодился Уварову для пропаганды этих реакционных идей. «Народность» в понимании Уварова и Погодина заключалась в сохранении прежнего крепостного состояния крестьянства и сентиментальных уверениях о том, что народ любит царя-батюшку и предан православной вере. Эти идеи Погодин совместно с Шевыревым и стал развивать на страницах «Москвитянина». Охранительно-правительственная позиция журнала вызвала негодование передовых кругов общества. Особенно резко выступал против направления «Москвитянина» Белинский.

Более сложной была позиция славянофилов. Им казалось, что только они понимают русский народ. Однако в народе славянофилы видели лишь то, что им самим хотелось видеть: покорность, смирение, патриархальные пережитки. В этом, по их мысли, и был тот особый путь развития России, который мог предохранить ее от «западной заразы», от революционных потрясений. Поэтому славянофилы хотя и поругивали Погодина и Шевырева, однако им было с ними больше по пути, чем с неугомонным «крикуном» и «западником» Белинским, который к этому времени порвал с ложной, искусственно придуманной им теорией «примирения с действительностью» и смело выступил за «социальность», проповедуя революционные и социалистические идеи.

Гоголь попал в Москву как раз в начале этого конфликта, обострения расхождений между двумя лагерями. Погодин и Шевырев и слышать не хотели ненавистное им имя Белинского, этого «недоучившегося студента», который хочет указывать им, ученым профессорам. Да и в семье Аксаковых к Белинскому тоже стали относиться отрицательно. Ведь неистовый Виссарион не удержался и обратился с резким письмом к своему недавнему другу Константину, в котором поносил славянофилов и объявлял о своем разрыве с ними!



Гоголь среди русских художников в Риме С дагерротипа 1844 года



Гоголь. С миниатюр Видаля.





Рисунки Гоголя

Поэма была переписана набело. На плотной бумаге, каллиграфически четким писарским почерком. Завершился труд многих лет, стоивших Гоголю стольких жертв, душевных волнений, здоровья. Теперь оставалось самое трудное — напечатать поэму, провести ее благополучно сквозь игольное ухо цензуры.

Гоголь встретился со знакомым цензором Снегиревым. Он рассказал ему о своей поэме, попросив познакомиться с нею. В том случае, если Снегирев найдет какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, Гоголь предупредил его, чтобы он сказал об этом прямо.

Известный собиратель памятников русской старины и фольклора Иван Михайлович Снегирев любил литературу и уважал Гоголя как писателя. Но он был человеком осторожным. Получив рукопись, Снегирев продержал ее два дня и затем заявил, что, по его мнению, в ней нет ничего такого, что бы могло навлечь притязания самой строгой цензуры. Однако, переговорив с членами цензурного комитета, Иван Михайлович засомневался, побоялся взять на себя решение вопроса и передал рукопись в комитет.

Заседание комитета напоминало представление нелепой комедии. Как только председатель комитета, помощник попечителя Московского учебного округа, тупой мракобес Голохвастов занял председательское место и услышал название «Мертвые души», то закричал голосом древнего римлянина:

— Нет, я этого никогда не позволю! Душа бессмертна: мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертья!

С большим трудом понял, наконец, почтенный председатель, что речь шла не вообще о человеческих душах, а о душах ревизских, об умерших крестьянах, не вычеркнутых из ревизских списков.

— Нет! — снова запротестовал председатель, а за ним и половина цензоров. — Этого и подавно нельзя позволить! Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: «ревижская душа» — это-

го нельзя было бы позволить! Это значит — против крепостного права!

Испуганный Снегирев стал уверять своих коллег, что в рукописи и намеков нет на крепостное право, что дело основано на смешном недоумении продающих и на хитроумных проделках покупающего и на всеобщем ералаше, который произвела такая покупка. Но ничего не помогло.

— Предприятие Чичикова, — тут уже все стали кричать, — есть уголовное преступление!

— Но ведь автор и не оправдывает его, — заметил Снегирев.

— Да, не оправдывает. А вот он выставил его, а теперь пойдут и другие брать пример, станут покупать мертвые души!

— Что ни говорите, — добавил ханжеским тоном цензор Крылов,— а цена два с полтиною, которую дает Чичиков за душу, возмущает меня. Человеческое чувство вопиет против этого! Да если так, то ни один иностранец к нам не приедет.

Обсуждение продолжалось очень долго, и никакого формального решения так и не было принято. Но Гоголь был уверен, что, судя по ходу обсуждения, запрет неотвратим, и, воспользовавшись проволочкой в цензурном комитете, он забрал оттуда рукопись.

Подавленный этими неудачами, Гоголь обратился с отчаянным письмом в Петербург к Плетневу, прося его содействия: «Дело для меня слишком серьезно, — писал он. — Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело все клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись государю», — заключил он свое письмо, прося Плетнева обратиться за содействием к А. О. Смирновой и В. Ф. Одоевскому.

Нависшая над «Мертвыми душами» угроза запре-

щения произвела ошеломляющее впечатление на друзей Гоголя. Они негодовали, волновались, спорили, однако помочь ему не могли. Погодин еще более помрачнел и бесцеремонно надоедал Гоголю просьбами о сотрудничестве в «Москвитянине». Аксаковы шумно огорчались и возмущались. Щепкин, задумчиво вытирая платком потный лоб, повторял: «Оце дило, так дило...» — и печально вздыхал.

Но Гоголь не собирался сдаваться. Неожиданно поддержка пришла совсем с другой стороны. В начале января 1842 года в Москву приехал Белинский и остановился у Боткина. Белинский возглавил критический отдел «Отечественных записок» и в Москве собирался привлечь сотрудников, которые могли бы поддержать этот журнал.

Борьба между демократическим лагерем, вождем которого выступал Белинский, и реакционными сторонниками «официальной народности» — Погодиным и Шевыревым и во многом примыкавшими к ним славянофилами приняла особенно острый характер. Гоголь не раз слышал от Погодина и Шевырева враждебные выпады против Белинского. «Размашистым мечом он рубит направо и налево, — пугал Гоголя Шевырев, со злобой говоря о Белинском. — И нет такого имени, которое бы остановило его мах немилосердый!»

Гоголь помнил свои встречи с Белинским, высоко оценил его проникновенный и глубокий анализ «Ревизора». Белинский во многом импонировал ему своей страстностью, преданностью делу литературы. В свою очередь, Белинский не терял надежды оторвать Гоголя от его московских друзей, от пагубного влияния Погодина и Шевырева, которые тянули писателя назад, в лагерь реакции.

Через посредство Щепкина Белинский встретился с Гоголем втайне от его московских друзей.

Напомнив их последнюю встречу в Петербурге, Белинский стал убеждать Гоголя передать через него рукопись «Мертвых душ» в петербургскую цензуру.

— Там уже мы похлопочем, поговорим с Нижитенкой — он умнее других, — убеждал критик. — Москва

гниет в патриархальности, пиетизме, азиатизме! — возмущенно продолжал он. — Здесь самая мысль — грех. Раздолье одним Шевыревым! Ну, что вам сдался Погодин? Кстати, знаете, как за его скаредность называют Погодина? Петромихали! Только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил Снегирев. В Петербурге этого не сделал бы с вами даже самый привередливый цензор! Передайте мне вашу рукопись, и мы там добьемся ее разрешения.

Гоголя убедил горячий тон Белинского. Он достал свою драгоценную рукопись и вручил ее критику. Белинский пожал ему руку, по привычке отвел со своего большого красивого лба непокорную прядь белокурых волос и выпрямился.

— Я очень жалею, — добавил он, — что «Москвитянин» взял у вас все, что вы написали, а для «Отечественных записок» нет у вас ничего! Судьба украшает «Москвитянин» вашими сочинениями и лишает их «Отечественные записки»! Ведь это теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище все честное, благородное и — смею думать — умное мнение! «Отечественные записки» ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села Поречья!

Гоголь, однако, сослался на то, что у него сейчас ничего нет готового для журнала.

— С нетерпением буду ждать выхода ваших «Мертвых душ», — в заключение сказал Белинский. — Думаю по этому случаю написать несколько статей о ваших произведениях. Ваш талант — великий талант. Дай вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности! Горячо желаю вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано.

Гоголь был глубоко растроган. Он обещал подумать над предложением Белинского. А пока что горячо просил его позаботиться о своем детище, о своей поэме.

Они расстались. Белинский увез с собой рукопись «Мертвых душ».

Наступили дни мучительных, тревожных ожида-

ний. Погодин и Аксаковы дулись на Гоголя, так как до них дошли сведения об его конспиративном свидании с Белинским. Из Петербурга не было вестей. Доносились лишь смутные слухи, что рукопись «Мертвых душ» где-то блуждает по рукам. В сильной тревоге Гоголь засыпал вопросами князя Одоевского: «Что же вы все молчите? Что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? Получил ли письма? Ради бога не томите».

Погодин и Шевырев советовали написать почтительное письмо Уварову и председателю цензурного комитета в Петербурге князю Дондукову-Корсакову, в котором изложить свое бедственное положение и покорно просить о снисхождении. Гоголь пробовал им возражать, говорил, что Уваров его терпеть не может и за дружбу с Пушкиным и за «Ревизора», но в конце концов подчинился их настояниям и написал. В письме к Уварову он заявлял: «Я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости, я прошу правосудия, я своего прошу: у меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба». В этом письме было больше отчаяния, чем каких-либо доводов. Гоголь послал оба письма не прямо Уварову и Дондукову, а Плетневу, с тем чтобы он лишь в случае крайней надобности передал их по назначению. К счастью, удалось обойтись без этих писем.

Ожидание становилось невыносимым. Петербург по-прежнему молчал. Гоголь чувствовал, как к нему возвращается болезненное состояние, испытанное им в Вене. К сердцу подступало волненье, каждое переживание, каждая тревога принимали исполинские размеры: то необычайной душевной напряженности, то тяжелой мучительной печали, доводящей его до сомнамбулического состояния. Не раз он чувствовал обмирание, почти терял сознание.

Отношения его с Погодиным тоже становились все напряженнее. Они почти не встречались, переписывались короткими записками, которые слуга приносил то наверх Гоголю, то вниз в кабинет Погодина. Погодин угрюмо ходил своей медвежеватой походкой по

кабинету. «Москвитянин» не оправдал ожиданий, на него возлагавшихся. Острые стрелы статей Белинского наносили ему немалый ущерб.

Несмотря на жарко натопленную комнату, Гоголь мерз. Он сидел у конторки в теплой фуфайке поверх рубашки и вязал на спицах шарфы или ермолки или писал тонко очиненным гусиным пером на маленьких клочках бумаги. Эти клочки он вполголоса прочитывал, сердито рвал и бросал на пол, потом снова собирал их и раскладывал по порядку. Шестилетний сын Погодина с сестренкой нередко помогали ему в этих занятиях, собирая разорванные клочки. До обеда Гоголь не сходил вниз, в общие комнаты. За обедом настроение духа у него улучшалось. В особенности если подавались любимые им макароны. Он сам и приготовлял их, никому не доверяя. Из кухни приносили большую миску дымящихся макарон. Гоголь с искусством истинного гастронома начинал перебирать по макаронине, опускал в миску кусок сливочного масла, затем посыпал натертым сыром, перетрясал все вместе и, открыв крышку и обведя глазами всех сидящих за столом, восклицал:

— Ну, теперь ратуйте, людие!

В продолжение обеда он катал шарики из хлеба, неохотно откликаясь на разговоры окружающих. Если ему почему-либо не нравился квас, то он эти шарики напихивал прямо в графин. После обеда до семи часов он уединялся у себя в комнате, и в это время никто не имел права к нему входить. В семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады смежных комнат и начинал свое лечение. Оно состояло из ходьбы и питья холодной воды. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились графины с холодной водой. Гоголь ходил взад и вперед по комнатам и через каждые десять минут выпивал по стакану.

Погодин сидел в кабинете за своими летописями и лишь изредка спрашивал:

— Ну что, находился?

— Пиши, пиши, — отвечал Гоголь. — Бумага по тебе плачет. — И продолжал по-прежнему как-то осо-

бенно быстро, порывисто ходить до тех пор, пока вся вода не была выпита.

Бережливая старушка мать Погодина очень огорчалась, что от этого хождения слишком быстро оплывали стеариновые свечи, и кричала горничной:

— Груша, а, Груша, подай-ка теплый платок, тальянец опять столько ветру напустил, что страсть!

— Не сердись, старая, — добродушно откликался Гоголь. — Графин кончу, и баста!

Окончив графин, он снова уходил к себе наверх и отдавал распоряжение никого не принимать.

Так проходил день за днем.

Однажды, запыхавшись, прибежал к нему Щепкин. У него были хорошие новости. Вытирая поминутно лившийся со лба пот, комически разводя толстыми ручками, он сообщил Гоголю о получении письма от Белинского.

Белинский писал Щепкину, рассчитывая, что Щепкин сообщит обо всем писателю: «Скажу вам несколько слов о приключениях в Питере с рукописью Гоголя. Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено, цензурный террор усилился... Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо... Вы, живя в своем Китае-городе и любуясь, в полноте московского патриотизма, архитектурными красотами Василия Блаженного, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Одоевский передал рукопись графу Вьельгорскому, который хотел отвезти ее к Уварову; но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастью, дать ее (приватно) прочесть Никитенко. Тот, начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Вьельгорскому показать Уварову. К счастью, рукопись не попала к сему министру погашения и помрачнения просвещения

в России. В Питере погода меняется 100 раз, — и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз да эпизода о капитане Копейкине...»

Вслед за этим пришло и известие от Плетнева, который уже официально сообщал о получении разрешения на печатание «Мертвых душ». Правда, цензор Никитенко не удовольствовался запрещением «Повести о капитане Копейкине», а потребовал изменить заглавие и наметил в тексте десятка три разных мелких вымарок. Но это была уже победа. Гоголь одновременно обрадовался и огорчился. Наконец-то его поэма, которая стоила ему стольких трудов, огорчений, здоровья, душевных сил, может быть напечатана! Это была великая радость, оправдание его приезда, его подвижнического труда.

Но исключение повести о Копейкине его огорчило и потрясло. Ведь история Копейкина необходима, нужна для понимания всего содержания поэмы. Копейкин должен показать равнодушие сильных мира сего к горестной участи и страданиям маленьких, обыкновенных людей.

Гоголь решил переделать эту повесть, покривить душой и показать, что Копейкин сам виновник своих несчастий. «Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! — жаловался он Плетневу. — Это одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует».

Однако даже это изменение смысла повести, сделанное в угоду цензуре, не сразу смягчило Никитенко. Лишь после долгих уговоров и переписки он разрешил к печати эту обезвреженную редакцию*. Да и к заглавию поэмы пришлось добавить отсутствовавшие в рукописи слова: **«Похождения Чичикова,** или

* В современных изданиях восстановлен первоначальный текст повести.

Мертвые души». Пришлось переделать и ряд других мест, вызывавших опасения цензуры.

Гоголь достал из ящика большой лист чистой плотной бумаги и начал рисовать обложку для будущей книги. Мелкими, четкими буквами он вывел «Похождения Чичикова», заглавие, навязанное ему цензурой, затем крошечным росчерком словечко «или» и, наконец, крупно: «Мертвые души». Это заглавие он обвел гирляндой из черепов, стремясь подчеркнуть его зловещий смысл. Под заглавием он написал особенно броским шрифтом: «Поэма». Наверху листа нарисовал быстро мчащуюся тройку с одиноким седоком и кучером, а под нею деревянное здание провинциальной гостиницы и обильные запасы бутылок и закусок.

Он выделил слово *поэма,* потому что его произведение было поэтическим эпосом современной жизни, проникнутым мощной лирической стихией. За изображением мертвых душ тогдашней России, за страшным и пошлым миром Собакевичей и Ноздревых перед его очами вставала другая Россия, Россия народная, крестьянская, Россия бескрайных просторов, шумящих лесов, нищих деревень и светлой и могучей народной души.

Теперь пошли хлопоты с печатанием. Нужно было достать бумагу, сговориться с типографией, читать корректуры. На все это уходило много времени и сил.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

«Мертвые души» создавались в годы начавшегося перелома в общественном и экономическом положении страны. Формы замкнутого крепостнического хозяйства уже отмирали и приходили в столкновение с новыми, капиталистическими тенденциями экономического развития. Росло число промышленных предприятий, все большее значение приобретал вольнонаемный труд, все решительнее внедрялись новые прогрессивные методы хозяйствования в помещичьих имениях.

Разорение помещиков, которые продолжали вести

свое хозяйство по-прежнему, за счет бесчеловечного ограбления и угнетения крепостных, зависимость сельского производства от условий общего рынка — все сильнее и явственнее давали чувствовать изжитость патриархальных, исторически обреченных форм крепостного хозяйства.

Вконец разоренные и обнищавшие крестьянские массы не хотели мириться со все нараставшей эксплуатацией их помещиками. Усиливались вспышки крестьянских восстаний. Страх перед крестьянскими волнениями, перед новой пугачевщиной заставил правительство пойти на секретную разработку весьма умеренных и куцых реформ, вдобавок так и не осуществленных.

О настроениях, господствовавших в народе, лучше всего свидетельствует скупой полицейский отчет, составленный 3-м отделением на основе тайных агентурных сведений за 1839 год: «...Возбуждается мысль о свободе крестьян; вследствие этого происходят, и в прошлом году происходили, в разных местах беспорядки, ропот, неудовольствия, которые угрожают хотя отдаленною, но страшною опасностью... Простой народ ныне не тот, что был за двадцать пять лет перед сим. Подьячие, тысячи мелких чиновников, купечество и выслуживающиеся кантонисты, имеющие один общий интерес с народом, привили ему много новых идей и раздули в сердце искру, которая может когда-нибудь вспыхнуть...»

«Русский народ дышит тяжелее, чем прежде, глядит печальнее, — писал об этом времени Герцен, — несправедливость крепостничества и грабеж чиновников становятся для него все невыносимей... Значительно увеличилось число дел против поджигателей, участились убийства помещиков, крестьянские бунты...» Вот в этой накалявшейся атмосфере и создавалась поэма Гоголя. И хотя самому писателю по-прежнему казалось, что он осуждает лишь отдельные, частные недостатки и проявления этого косного, прогнившего строя, сатирическая и обобщающая сила его образов была такова, что значение поэмы далеко вышло за эти пределы. «Мертвые души» стали беспо-

щадным приговором всей русской действительности, всему отживающему, мертвящему строю.

В «Мертвых душах» Гоголь выступил против главного врага русского народа — крепостного права. Хотя писатель прямо нигде об этом не говорил, но созданные им образы помещиков-крепостников неизбежно приводили читателей к выводу, что глубоко порочен существующий, крепостнический, порядок вещей, при котором Собакевичи и Ноздревы являются хозяевами положения, бесконтрольно распоряжаются судьбами крепостных, поддерживают застой и косность.

Рабский гнет крепостничества, грабеж народа чиновниками, жестокие полицейские расправы над всеми, кто пытался протестовать против тюремной обстановки царской России, создавали мертвенную атмосферу отчаяния и безнадежности. Нужно было взорвать эту неподвижность, нарушить ее хотя бы криком отчаяния! И писатель показал ужасающую картину социального и морального омертвения, чудовищной деградации правящих классов. Ничтожные слюнтяи Маниловы, грубые, звероподобные Собакевичи, наглые, беззастенчивые плуты и врали Ноздревы, мелочные, глупые скопидомки Коробочки и потерявшие всякое человеческое подобие скупцы Плюшкины — такова неприглядная галерея «мертвых душ» дворянского общества. «Благодаря Гоголю, — писал впоследствии Герцен, — мы видим их, наконец, за порогом их барских палат, их господских домов, они проходят перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и обжоры, уродливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, с каким ребенок сосет грудь своей матери».

Гоголь видел свою задачу в пробуждении моральной ответственности, в пробуждении у власть имущих сознания своей вины, которое, как ему казалось, могло привести их на путь нравственного возрождения и исправления. В первой части поэмы задача моралиста была отодвинута огромной сатирической, обличительной силой созданных им образов, хотя иногда и

сквозила в обещаниях писателя показать в дальнейшем идеальную «русскую девицу» и «мужа», исполненного добродетели, в которых нашел бы выражение его положительный идеал. Этот положительный идеал сказался в поэме в высоком патриотическом чувстве, в противопоставлении народа, его живой души нравственным уродам, «мертвым душам» помещичьей и чиновничьей верхушки. Это положительное, патриотическое и народное начало поэмы с особенной силой и полнотой осуществлено в лирических отступлениях, в образах крестьян, в проникновенной патетике пейзажей.

Гоголь не приукрасил действительности, а воссоздал ее с суровой правдивостью, запечатлев в своей поэме самые отвратительные черты крепостнического общества, и сила образов, созданных писателем, была в их типичности, в том, что они передавали самую сущность людских характеров, наиболее существенное и типическое, свойственное целой социальной группе.

Типы, изображенные им, находились тут же рядом, их легко было узнать и запомнить! И сладкоречивого, заботящегося лишь о собственной особе Манилова, и дубиноголовую, хлопотливую Коробочку, и наглого сплетника и лгуна Ноздрева. Писатель взял их из жизни, из наблюдений над окружавшими его людьми. Но это были не простые копии, а типические портреты, обобщающие и укрупняющие черты, свойственные целому сословию: «У меня только то и выходило хорошо, — указывал впоследствии Гоголь, — что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения».

Коробочки, Собакевичи, Ноздревы окружали его на каждом шагу. Это они подняли такой шум и крик после появления «Ревизора». Это благодаря им он вынужден был прожить многие годы вне России, чтобы иметь возможность завершить свою поэму. Гоголь

представлял себе, как теперь обозлятся и завопят все эти Коробочки и Ноздревы, узнав себя в образах его поэмы.

Но ведь в ней только правда, только то, что он видел в жизни! Даже самая история покупки и заклада «мертвых душ», умерших крепостных, которые числились по «ревизиям» переписи якобы живыми, не выдумана им. Еще в детстве он слышал о том, как соседи-помещики покупали «мертвые души» для приобретения прав на винокурение или заклада их в Опекунском Совете.

В «Мертвых душах» Гоголь продолжил и развил начатое им в «Ревизоре». Но теперь круг его обличений крепостнической России, ее господствующей клики стал во много раз шире. Провинциальные помещики, составлявшие основной оплот крепостнической системы, губернский чиновничий синклит, столичные верхи, жестоко осужденные в «Повести о капитане Копейкине», и, наконец, вновь возникший тип ловкого предпринимателя-«спекулятора» в лице Чичикова — все это стало предметом сатиры Гоголя и в целом давало обобщенную картину всей тогдашней России.

Писатель нарисовал чудовищную галерею нравственных уродов, в которых общечеловеческие пороки приобрели в условиях крепостнического строя особенно уродливые и безобразные черты. Таков прижимистый, алчный человеконенавистник Собакевич. Он относится с нескрываемой враждебностью ко всему на свете и прежде всего к любому проявлению прогресса. Собакевич вырастает в грозный символ тупого и злобного реакционера, который признает лишь грубую силу и ненавидит всех и вся на свете. Гоголь уподобляет его даже по внешности медведю, подчеркивая мрачную, звероподобную натуру этого типичного представителя реакции.

Столь же отрицательными чертами наделен наглый враль и забулдыга Ноздрев. В нем нашли свое выражение самые отвратительные духовные качества господствующего класса. В то же время черты ноздревщины неизменно сохраняют свою жизненность

в самые различные эпохи. Лживость, полнейшая моральная беспринципность, наглость, отвратительный паразитизм Ноздрева присущи не только развращенному рабским трудом дворянству, но и последующим поколениям, отравленным духом наживы и эксплуатации. Ноздрев не гнушается ни клеветой, ни ложью и провокацией, ни шулерством и шантажом, лишь бы достичь своих целей.

Под стать заскорузлой собственнической натуре Собакевича и «дубиноголовая» Коробочка, которая в силу своей «патриархальности» цепко держится за отживающий уклад, стремясь приспособиться ко все растущему влиянию денежных отношений, подрывавших замкнутый «старосветский» мирок. Она настороженно-враждебно, недоверчиво относится ко всяким новшествам, на первом месте у нее стоит стремление к наживе. Больше всего она опасается продешевить, и даже когда Чичиков предлагает ей продать умерших крестьян, Коробочка прежде всего боится, как бы ее не обманули в этой необычной для нее сделке.

Пределом человеческого падения является Плюшкин. Его скупость перешла в болезненную манию, и он потерял всякий человеческий облик, стал «прорехой на человечестве». В мировой галерее скупцов Плюшкин — самый страшный и отвратительный образ. Даже скупость его бесцельна, так как приводит его к разорению. Плюшкин — грозное предостережение собственническому миру наживы и накопления, носитель того тлетворного микроба, который вызывает распад и загнивание общества, основанного на погоне за прибылью и наживой.

В сладкоречивом, обходительном Манилове Гоголь со столь же глубоким проникновением в его духовную сущность показал черты распада и пошлости. Праздный тунеядец, «небокоптитель» Манилов — не менее типичное проявление паразитизма и внутренней опустошенности окружающего общества, чем остальные герои поэмы. В деревенской тиши за счет труда нищих, ограбленных мужиков предается он нелепым и бесплодным мечтаниям о «благополучии дружеской жизни». Но и бессмысленное прожектерство и притор-

ная ласковость Манилова лишь прикрывают внутреннюю его пустоту и ничтожество. При всем своем благодушии и краснобайстве Манилов такой же представитель крепостнического общества, как и остальные помещики. Социальный паразитизм и бесконтрольная власть над крепостными душами — та почва, на которой возникали и превращались в «мертвые души» их владельцы.

В этот тусклый мир распада, омертвения, нравственного вырождения вторгается «предприниматель» Чичиков — главный герой поэмы. Чичиков показан уже как носитель новых веяний эпохи. Основная черта его деятельности — жажда приобретения. В отличие от примитивного «патриархального» накопительства Коробочки Чичиков «деятель» новой, буржуазной формации. Его лицемерное благодушие, угодливость — все это служит целям личного обогащения, лишь маска для достижения корыстных целей. Чичиков — воплощение той пошлости, душевной пустоты, нравственной нечистоплотности, которые стали отличительным признаком эпохи буржуазного делячества. В нем с особенной полнотой и силой Гоголь заклеймил ненавистный ему тип самодовольного пошляка, карьериста и циничного хищника, облик которого он уже намечал в таких «героях», как поручик Пирогов, майор Ковалев, помещик Чертокуцкий.

Алчность, беспринципность, пошлость подобного «героя времени» пугали Гоголя, видевшего в нем воплощение ненавистного ему века «предпринимательства», корысти и наживы. Даже внешняя благовоспитанность, франтоватость Чичикова, усиленные заботы его о собственной физической чистоплотности, которые неизменно он проявляет, показаны Гоголем как лицемерное прикрытие душевной нечистоплотности, наглой, воинствующей пошлости.

В Чичикове Гоголь заклеймил дух всеобщей продажности, «меркантильности», ненавистного ему делячества и эгоизма, порожденные наступлением новых, капиталистических отношений. Чичиков — знамение торжества пошлости, комфорта, корысти, нравственного падения человека. Он поэтому столь же ненави-

стен Гоголю, как и «мертвые души» крепостнической России.

«Рыцарь копейки», «подлец», «приобретатель» — вот имена, которыми Гоголь клеймит своего героя. Мертвенной замкнутости, тяжеловесной неподвижности «мертвых душ» крепостников-помещиков Чичиков противостоит лишь внешне. Его «деятельность» столь же бессмысленна и вредна, как и бездеятельность Коробочек и Маниловых. Именно в Чичикове Гоголь проявил с особенной полнотой свою способность к изображению «пошлости пошлого человека», которую так прозорливо определил в нем Пушкин.

Гоголь казнил не только крепостников-помещиков. С не меньшей силой сатирического обличения показал он и чиновников губернского города во главе с губернатором.

Но за этим страшным миром помещичьей и чиновничьей Руси Гоголь почувствовал живую ее душу — душу народа. Отвратительным тунеядцам и нравственным уродам писатель противопоставил русский народ. Именно в народе он увидел то здоровое, живое начало, которое оказалось искажено и изуродовано господствующими классами. Противопоставление России народной — России помещиков и чиновников проходит через всю поэму, составляет ее внутренний, лирический подтекст. В лирических отступлениях и описаниях Гоголь раскрывает тему родины с огромной поэтической силой и лирическим пафосом. От едкой насмешливости в изображении тунеядцев-помещиков Гоголь переходит к восторженному лирическому описанию российских просторов. С любовью говорит он о русском мужике — несравненном мастере Максиме Телятникове, честном труженике плотнике Степане, все губернии исходившем с топором за поясом.

В народе увидел писатель ту могучую силу, которая чужда корыстолюбию, алчности, лицемерию господствующих классов. Потому-то с таким восхищением писал он о беглом крестьянине Абакуме Фырове, который стал бурлаком, возлюбил вольную жизнь! Патриотическое чувство писателя с особенной силой сказалось в его гимне родине, завершающем первую

часть поэмы. Когда он создавал эти величественные, взволнованные строки, перед ним расстилались могучие просторы родной земли, звучали богатырские песни народа, летела в бесконечную даль дорога. Вместо брички Чичикова с пьяным Селифаном и Петрушкой в его вдохновенном воображении вихрем мчалась необгонимая тройка-Россия, в которой писатель видел будущее своей отчизны.

Когда он писал эти вдохновенные слова о родине, то всем своим сердцем, всем своим существом чувствовал, что придет время, когда рассеется ночная мгла, опустившаяся на Россию, разбегутся, исчезнут люди-призраки, «мертвые души» помещичьей Руси и воспрянет народ-богатырь, готовый на любой подвиг, на любое чудо. Слова надежды и жизни замыкались в дивные ритмы, звучали чудным звоном: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади... Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивается и дают ей дорогу другие народы и государства».

Гоголь не смог дать ответ на поставленный им самим вопрос. На протяжении всей остальной жизни он тщетно искал этот ответ, ошибаясь и мучительно блуждая по окольным путям. Но перед ним неизменно стоял образ летящей вперед птицы-тройки, радостный и пленительный символ родины и народа.

ОТЪЕЗД

Его поэма, наконец, выходит из печати, а он уже чувствует неудовлетворенность ею. Гоголю казалось, когда он ехал на родину, что в России он найдет ту атмосферу покоя и примирения, которой ему так не хватало на Западе. На самом же деле он застал все более обострявшуюся борьбу, все более резкие расхождения во взглядах. Правда, Аксаковы, Киреев-

ские, Хомяков, с которыми он встречался в Москве, подобно Погодину и Шевыреву, стояли на точке зрения особого, патриархально-миролюбивого пути развития России. Они осуждали революционную борьбу на Западе и вовсе не хотели перенесения этой борьбы в Россию. Отстаивая старину и враждебно относясь ко всему новому, они тянули Гоголя назад, к православно-религиозным, идеалистическим представлениям о русском народе и его будущем. В то же время смелые, решительные высказывания Белинского, призывавшего к борьбе с самодержавием и крепостничеством, его беспощадная полемика со славянофилами пугали Гоголя, заставляли его еще ближе и теснее сойтись со славянофилами.

Все это сказалось и на усилении его религиозных настроений. С детских лет воспитанный в беспрекословном уважении к религии, Гоголь стал видеть в ней выход из бушующих социальных противоречий и конфликтов. Перенесенное им в Вене тяжелое, казавшееся смертельным заболевание придало этому религиозному чувству повышенную обостренность.

Завершение работы над первым томом своей поэмы Гоголь рассматривает теперь не как конец своего творческого подвига, а как начало нового, подвижнического труда, который покажет людям, как надо жить, перевоспитает их в духе христианской морали.

Пока печатались «Мертвые души», Гоголь жил у Погодина на Девичьем поле. Он часто посещал Аксаковых, встречался со Щепкиным, присутствовал на вечерах у Елагиных, на которых без конца спорили, шумели славянофилы и западники.

Пришло письмо от Языкова. Больной поэт приветствовал возвращение Гоголя на родину и писал ему в стихах:

Благословляю твой возврат
Из этой нехристи немецкой,
На Русь, к святыне москворецкой!
Ты, слава богу, счастлив, брат:
Ты дома, ты уже устроил
Себе привольное житье;
Уединение свое
Ты оградил и успокоил

От многочисленных сует
И вредоносных наваждений
Мирских, от праздности и лени,
От празднословящих бесед
Высокой, верною оградой
Любви к труду и тишине;
И своенравно и вполне
Своей работой и прохладой
Ты управляешь, и цветет
Твое житье легко и пышно,
Как милый цвет в тени затишной,
У родника стеклянных вод!

К сожалению, Гоголь далеко не находился в «тени затишной» и «житье» его отнюдь не было «легко и пышно», как полагал поэт, приветствуя его из далекого Ганнау.

Печатание поэмы требовало много труда и напряжения всех сил. Кроме того, в Петербурге Гоголь условился с Прокоповичем об издании своих сочинений, и теперь ему приходилось многое править и переделывать в старых произведениях. Но самым тягостным было то, что Погодин, узнав о предполагаемом издании, вознегодовал. Осуществление его в Петербурге воспринято было им как измена Гоголя, как покушение на его, Погодина, интересы.

Они теперь не разговаривали, а обменивались записками, вызванными житейской необходимостью. Сухие деловые вопросы и ответы в то же время были проникнуты обидой и враждебностью. Даже счет торговца бумагой вызывал напряженный письменный диалог. На безграмотной записке торговца: «Прашу написать записку каму бумага от Усачева и прашу доставить щёт. А то продасца», Погодин надписывал карандашом: «Был ты у Усачева? Вот записка, коей я не понимаю».

Гоголь на той же записке отвечал:

«Я буду у него сегодня и постараюсь кончить дело».

В свою очередь, Погодин обидчиво жаловался:

«Вот то-то же. Ты ставишь меня перед купцом целый месяц или два в самое гадкое положение, человеком несостоятельным. А мне случалось позабыть однажды о напечатании твоей статьи, то ты так рас-

сердился, как будто лишили тебя полжизни, по крайней мере, в твоем голосе я услышал и в твоих глазах это увидел. Гордость сидит в тебе бесконечная».

Гоголь с отчаянием молил:

«Бог с тобой и с твоей гордостью. Не беспокой меня в течение двух недель по крайней мере. Дай отдохновение душе моей».

Но Погодин не унимался. Его кулаческая натура не могла примириться с расходами и убытками, в которые его ввел Гоголь. Он продолжал настаивать на том, чтобы Гоголь дал для напечатания в «Москвитянине» хотя бы одну из глав «Мертвых душ» до их выхода. Это вызвало взрыв негодования Гоголя, набросившегося на Погодина с упреками:

— Ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен, — взволнованно протестовал Гоголь. — Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убежденья, которых ты и не можешь и не в силах понять, то исполни, по крайней мере, ради самого Христа, мою просьбу. Имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пятьшесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен хоть до моего выезда. Но у тебя все порыв! Ты великодушен на первую минуту и через три минуты потом готов повторить прежнюю песню. Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей час отдал бы все имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений.

Эта накаленная обстановка заставляла Гоголя спешить с изданием и снова стремиться к отъезду за границу. Он жаждет одиночества, хочет спокойно обдумать все происшедшее.

Вновь им овладевает мысль, что лишь вне России он может о ней писать. То, что он увидел в Петербурге и Москве, его пугало и во многом оказалось непонятным. Ожесточенная полемика между Белинским и Погодиным с Шевыревым, кипение умов и страстные споры, которые велись в московских гостиных, утомляли его и вселяли беспокойство. Ему казалось, что все кругом заблуждаются, идут неверным путем.

Все чаще и чаще посещала его мысль о том, что лишь путь религиозного подвижничества, отказа от мирских благ и забот может принести успокоение.

Но не ханжески лицемерное, казенное благочестие Погодина, не надуманное, подкрепленное изучением Гегеля христианство Константина Аксакова привлекали Гоголя, а аскетическое подвижничество.

С благоговейным волнением отправился он на свидание с приехавшим в Москву архиереем Иннокентием. Иннокентий стяжал известность своим благочестием. Высшие князья церкви в синоде и консистории завидовали его популярности и косо смотрели на его деятельность. Иннокентия переводили из Киева в Вологду, а оттуда опять на Украину, но уже не в Киев, а в Харьков.

Иннокентий не признавал парадной пышности, дёржался скромно, но с достоинством. Гоголь застал его в простой монастырской келье. Владыка был в лиловой рясе с золотым нагрудным крестом. Встретил он писателя с пристальным интересом. Гоголь прикоснулся губами к холодной, высохшей руке.

— Неослабно и твердо протекайте пастырский путь ваш, — сказал Гоголь. — Всемогущая сила над нами. Ничто не совершается без нее в мире. И наша встреча была назначена свыше.

В завершение свидания Гоголь просил благословить его, и Иннокентий вынес ему образ.

— Иннокентий благословил меня, — торжественно сообщил он Ольге Семеновне, приехав к Аксаковым. — Теперь я могу объявить, куда еду: ко гробу господню!

Это признание, весь экзальтированный облик Гоголя испугали Аксаковых.

— С каким намерением вы вернулись в Россию? — взволнованно спросила Вера Сергеевна. — С тем, чтобы остаться в ней навсегда? Или с тем, чтобы уехать?

— С тем, чтобы проститься! — торжественно сказал Гоголь. И тут же стал говорить, что он едет за границу на два, а если понадобится, и на пять лет, с тем чтобы завершить свой труд над поэмой. Первая ее часть лишь крыльцо, пристройка к огромному це-

лому. Но для завершения его труда ему необходимо было спокойствие.

— Много труда и душевного воспитания впереди! — тем же проповедническим тоном продолжал Гоголь. — Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще...

Это патетическое выступление явилось полной неожиданностью для Аксаковых и произвело на них гнетущее впечатление. Особенную тревогу вызвало высказанное им желание ехать в Иерусалим.

Девятого мая Гоголь вновь отпраздновал свои именины в саду у Погодиных. Однако в этом году празднество прошло не столь весело и беззаботно, как в прошлом. Все время чувствовалась какая-то напряженность. Гоголь почти не разговаривал с Погодиным, был замкнут, молчалив. Среди присутствовавших находилось много прежних посетителей: Аксаковы, Киреевские, Нащокин, Павлов; были университетские профессора: Армфельд, Редкин, Грановский.

Через несколько дней после именин закончилось печатание «Мертвых душ». Первые экземпляры были получены 21 мая, в день именин Константина Аксакова. Гоголь явился к Аксаковым с двумя книгами — первую он преподнес имениннику, а вторую — всему семейству, надписав на титульном листе: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». Преподнося книги, Гоголь обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ».

Незадолго перед этим приехала в Москву Мария Ивановна — повидаться с сыном и забрать от Раевской свою младшую дочь — Лизу. Сразу же после ее отъезда Гоголь и сам стал собираться в дорогу. А через день после выхода «Мертвых душ» выехал за границу через Петербург. Там должен он был встретиться с Прокоповичем и отдать ему последние распоряжения для печатания своих сочинений.

Гоголь уезжал из дома Аксаковых. Они проводили его до Химок, где встретили Щепкина с сыном. Прощание было грустным. Всем казалось, что наступила

какая-то им самим еще неясная перемена, что Гоголь от них удаляется не только на неопределенно длительное время, но и удаляется душевно. Напоследок Гоголь обратился к Сергею Тимофеевичу с просьбой — старательно вслушиваться во все суждения о «Мертвых душах» и записывать их слово в слово, и все отзывы пересылать ему в Италию.

— Это мне крайне необходимо, — уверял Гоголь. — Не пренебрегайте и мнениями самых глупых и ничтожных людей, особенно людей, расположенных ко мне враждебно. Все это мне необходимо для моей работы.

На прощанье все пошли до прихода дилижанса погулять по березовой роще. Прогулка была невеселой: никто не знал, на сколько времени уезжает Гоголь, каковы его намерения. Сам писатель не заговаривал на эту тему. Он походил на больную нахохлившуюся птицу. Даже Константин Аксаков, относившийся к нему с юношеским обожанием, приуныл. Торопливо и молча пообедали. Но ни шампанское, ни сознание скорой разлуки не растопили того холодка, который сопутствовал этому прощанию. Самый отъезд Гоголя все время казался какой-то непонятной прихотью, грустной неожиданностью.

Увидев дилижанс, Гоголь сразу же встал из-за стола, начал собираться и наскоро простился с провожающими. Горькое чувство овладело всеми, когда захлопнулись дверцы кареты. Гоголь скрылся в ней, и дилижанс быстро покатился по Петербургскому шоссе.

В Петербурге Гоголь пробыл около недели. Он почти нигде не показывался, проводя все эти дни с Прокоповичем в работе над подготовкой издания своих произведений. Однако и это дело не было закончено. Он оставил Прокоповичу ворох рукописей и поспешно уехал за границу, в курортный городок Гастейн, близ Зальцбурга, лечиться на тамошних водах. Его отъезд походил на бегство.

Уезжая из столицы 4 июня 1842 года, Гоголь обратился с письмом к С. Т. Аксакову, которое являлось своего рода завещанием: «Пишу вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак

нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг. Кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. Он уже занялся печатаньем. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние набирают в день до шести листов. Все четыре тома к октябрю выйдут непременно». После этого делового вступления Гоголь писал: «Крепки и сильны будьте душой! ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другому, и потому сила отделится от меня несомненно в вашу душу. Верующие во светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих». Сразу же после этих торжественных, поучающих строк следовали прощальные приветы и рукопожатия.

Уезжая из Москвы, он вновь начинает думать о поездке в Иерусалим, которая, как ему казалось, может просветить его и наставить на путь истины. В день своего рождения 9 мая 1842 года он пишет своему любимому старому другу Саше Данилевскому: «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное мое удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим». Теперь и самая поэма кажется ему лишь первой ступенью к тому зданию, которое он воздвигнет, показав людям путь ко спасению. «Через неделю после этого письма, — продолжает он, — ты получишь отпечатанные «Мертвые души», преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит, наконец, загадку моего существования».

Подводя итоги прошлому, он решает разойтись и с Белинским, прося Прокоповича поблагодарить того за письмо и обещая «потрактовать» и поговорить с ним лично при проезде через Петербург. Итак, вместо удовлетворения, радости от сознания своей победы Гоголь расстается с отчизной полный тревоги, тоски, смятения.

* * *

Выход «Мертвых душ» потряс всю Россию.

«Вскоре после отъезда Гоголя, — писал С. Т. Аксаков, — «Мертвые души» быстро разлетелись по

Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равно сильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы... Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России».

Появление книги Гоголя отметил в своем дневнике Герцен, томившийся в новгородской ссылке. Он служил там в учреждении, подобном губернскому суду, описанному Гоголем, и повседневно встречался с гоголевскими типами. «Он (Сатин) привез «Мертвые души» Гоголя, — записал 11 июня 1842 года Герцен, — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте... Грустно в мире Чичикова...»

Для Герцена «Мертвые души» явились откровением. Они не только подтвердили и расширили его наблюдения над современной жизнью, но и способствовали рождению замечательного романа «Кто виноват?».

Константин Аксаков восторженно прославлял «Мертвые души» как эпос современной России, как «Илиаду» нашего времени. Но, правильно почувствовав в поэме ее эпическое начало, К. Аксаков совершенно не отметил и не оценил сатирический характер поэмы, ее обличительное значение.

Глубокую, проникновенную характеристику гениального произведения Гоголя дал Белинский, который в статье о «Мертвых душах» писал, что среди «...торжества мелочности, посредственности, ничтоже-

ства, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности — вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное, историческое...».

Все эти похвалы, отклики, негодование, восторги раздавались уже после отъезда Гоголя из России. И хотя он внимательно и даже болезненно обостренно прислушивался ко всем суждениям, но путь, избранный им, вел его в иную сторону.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



Кризис

Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ.
Не дает ответа.
Н. Гоголь, «Мертвые души»

ГАСТЕЙН

Давно знакомая пыльная дорога, верстовые столбы, которые каждый раз отсчитывают все больше и больше верст от родины, встречные коляски, дилижансы, телеги. По сторонам приветливо раскинулись чистенькие и аккуратные немецкие городки и поселки с островерхими черепичными крышами, алеющими сквозь ветви деревьев и кусты сирени. Неутомимо катятся высокие с тонкими спицами колеса дилижанса.

По дороге в него садятся все новые пассажиры, вполголоса разговаривают между собой о своих делах. Короткие ночлеги на станциях. Отдых и сон в чистеньких комнатках, в которых наряду с правилами для путешественников висят в застекленных

рамках трогательные картинки с нравоучительными сентенциями, выписанными узорчатой готической вязью.

В углу дилижанса сидит, укутавшись поплотнее в широкий плащ, человек небольшого роста, с длинным, остро выдающимся носом и ястребиными глазами, прикрытыми желтоватыми веками. Кажется, что он дремлет. Иногда он приподымается и исподволь, зорко взглядывает на соседей, на дорожный пейзаж и снова погружается в дремоту. Или достает из кармана небольшую книжечку и внимательно читает ее, прерывая чтение лишь при резких толчках или недостатке света.

Этот одинокий пассажир, не смешивающийся с веселыми, довольными собой соседями — немецкими коммивояжерами, торговцами, фермерами, — Гоголь. За его внешним безразличием — неустанное внутреннее беспокойство.

Что же дальше? Вот вышла его книга, в которую он вложил столько труда, сил, здоровья. Разлетелась по всей России... Одни ее хвалят, другие хулят... Ну, а дальше? В неведомую даль несется Чичиков на своей тройке... и из этой дали пока нет ответа...

Там, в Москве и Петербурге, остались преданные ему друзья, люди, которые ценят его книги, жалеют его, опечалены его отъездом. Но как мало они понимают его, как поверхностны их суждения! В его поэме они увидели лишь осуждение, сатиру, нападки на общественные несправедливости. За веселым и едким смехом они не заметили горечи слез, мучительную тоску, мечту о прекрасном. Ему хотелось истинно и честно служить России. Он бросил все — и службу, и друзей, и даже самую Россию, затем, чтобы вдали и в уединении от всех создать труд, который должен был способствовать преуспеянью его родины. Прежде ему хотелось в своем сочинении выставить те свойства человеческой природы, которые еще недостаточно осмеяны и поражены сатирой. Но теперь он увидел, что со смехом нужно быть осторожным. Следует лучше узнать и определить природу человека и душу его, обратить внимание на познание тех

законов, которые движут человеком и человечеством вообще. Его поэма требует иного продолжения, иного плана...

Вот уже желтый дилижанс покатил по улицам Берлина. Показались ровные, однообразные кирпичные дома, подстриженные деревья, уличные вывески, фонари, тротуары с гуляющими и спешащими куда-то людьми. Дилижанс остановился около гостиницы. Гоголь устало вышел из него, взял в руку матерчатый саквояж и прошел в вестибюль. Слуга проводил его в номер для приезжающих — очень чистенькую, светленькую, окрашенную голубенькой краской комнатку с окном, задернутым кисейной занавеской, кроватью, заслоненной голубой ширмой с нарисованной на ней парой целующихся голубков, фаянсовым кувшином и тазом для умыванья.

Как все это не похоже на Россию и в то же время как все это ему далеко, враждебно своим равнодушным, недорогим комфортом!

Может быть, поехать в Дюссельдорф к Жуковскому? Это ведь совсем близко! Да, он так раньше и собирался и даже писал ему. Жуковский стал теперь счастливым семьянином. У него уже маленькая дочка, миленький уютный домик в Дюссельдорфе! Там спокойно, тихо... Но возможно, что Жуковских сейчас нет в Дюссельдорфе. Ему кто-то говорил в Петербурге, что Жуковский собирался ехать куда-то на воды, лечить жену — у нее нервы не в порядке.

Гоголь задумчиво разделся, умылся и сел за стол. На столе стояла чернильница в форме пивного бочонка и песочница с чистым мелким песком. Рядом аккуратно отточенное гусиное перо. Он почти машинально вынимает из саквояжа лист бумаги и, не отдохнувши с дороги, не позавтракав, принимается писать Жуковскому. Он сообщает ему о своих переживаниях, о внутренней перемене, о своих новых планах, о своей поэме: «...О чем говорить? Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от

мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. Много труда и пути и душевного воспитанья впереди еще!»

На этот раз он не стал писать Жуковскому о тяжелом грузе жизненных мелочей — худом здоровье, резких болях в желудке, о множестве долгов, о неудобствах утомительного путешествия. «О житейских мелочах моих не говорю вам ничего, их почти нет, да, впрочем, слава богу, их даже и не чувствуешь и не слышишь. Посылаю вам «Мертвые души». Это первая часть. Вы получите ее в одно время с письмом по почте... Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она в отношении к ним все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах...»

На следующее утро путешественник, удивив гостиничную прислугу своей неразговорчивостью и нелюдимостью, справился о дороге и снова забрался в дилижанс, направляющийся в Зальцбург...

Через три дня, проехав половину Германии, Гоголь оказался среди альпийских гор. Маленький курортный городок Гастейн стоял затерянным среди неприступных вершин. Покрытые лесом горы, за которые цеплялись медленно проходящие облака, бурная горная речка, с грохотом падающая на дно ущелья, придавали всему суровый и даже мрачный вид. Но эта мрачность ландшафта искупалась на редкость чистым и свежим горным воздухом, вознаграждавшим путешественника за долгий путь по жаркой и пыльной дороге. Да и знаменитые гастейн-

ские воды, прозрачные как кристалл, давно прославились на всю Европу.

В Гастейне ждал его Языков. Поэт молодости и вина, радости и любви, он был тяжело болен. У него начиналась сухотка спинного мозга. Воды Гастейна сулили исцеление. После долгих расспросов Гоголь разыскал домик, где жил Языков. Тот его встретил восторженно. Лежа на диване на маленькой веранде, он приподнялся и взволнованно обнял друга.

Разговор сразу же зашел о московских новостях и общих знакомых. Немного детское, припухшее лицо Языкова оживилось. Он тяжко страдал и с большим трудом мог передвигаться. Приезд Гоголя ободрил его. Их многое связывало: общие интересы и мнения, преклонение перед Пушкиным, одиночество. За беседой друзья не заметили, как с горы сползло огромное облако. Оно забралось на веранду, окутав их густым туманом.

Языков, показав на облако рукою, привстал с дивана и продекламировал стихи, только недавно сочиненные, о Гастейне:

В тени громад снеговершинных,
Суровых, каменных громад
Мне тяжело от дум кручинных:
Кипит, шумит здесь водопад,
Кипит, шумит он беспрестанно,
Он усыпительно шумит!
Безмолвен лес и постоянно
Пуст и невесело глядит;
А вон охлопья серой тучи,
Цепляясь за лес, там и сям
Ползут, пушисты и тягучи,
Вверх к задремавшим небесам.
Ах, горы, горы! Прочь скорее
От них домой! Не их я сын!
На Русь! Там сердцу веселее
В виду смеющихся долин!

Гоголь внимательно слушал. Грустное чувство охватило его. Здесь, в горах, среди тумана, в гуле водопада, еще острее чувствовалось одиночество, еще дороже, еще милее казалась покинутая родина. Но

так нужно. Он должен принести в жертву своему великому делу и свои удобства, и свои привязанности, и самую жизнь.

Гоголь поселился рядом с Языковым. По утрам он ходил пить воды. Затем принимался за работу. Для собрания сочинений нужно было закончить ряд произведений и поскорее выслать их Прокоповичу. «Игроки», драматические отрывки из его первой комедии «Владимир 3-ей степени», а самое главное, «Театральный разъезд», которым должен был завершиться последний том, требовали доделки, тщательной обработки.

В «Театральном разъезде» он отвечал своим критикам. Насмешливо пересказывал Гоголь нелепые толки, клеветнические отзывы, тупое раздражение представителей высшего круга общества, задетых и раздраженных его комедией. Он выводит и знатных господ, мнящих себя любителями искусства, и чиновников, и светских дамочек, и литератора, которые в один голос заявляют, что его комедия «отвратительная пьеса! грязная, грязная пьеса!», что в ней «нет ни одного лица истинного, все карикатуры!», как утверждает в «Театральном разъезде» некий «литератор», напоминающий малопочтенную фигуру клеветника и шпиона 3-го отделения Булгарина.

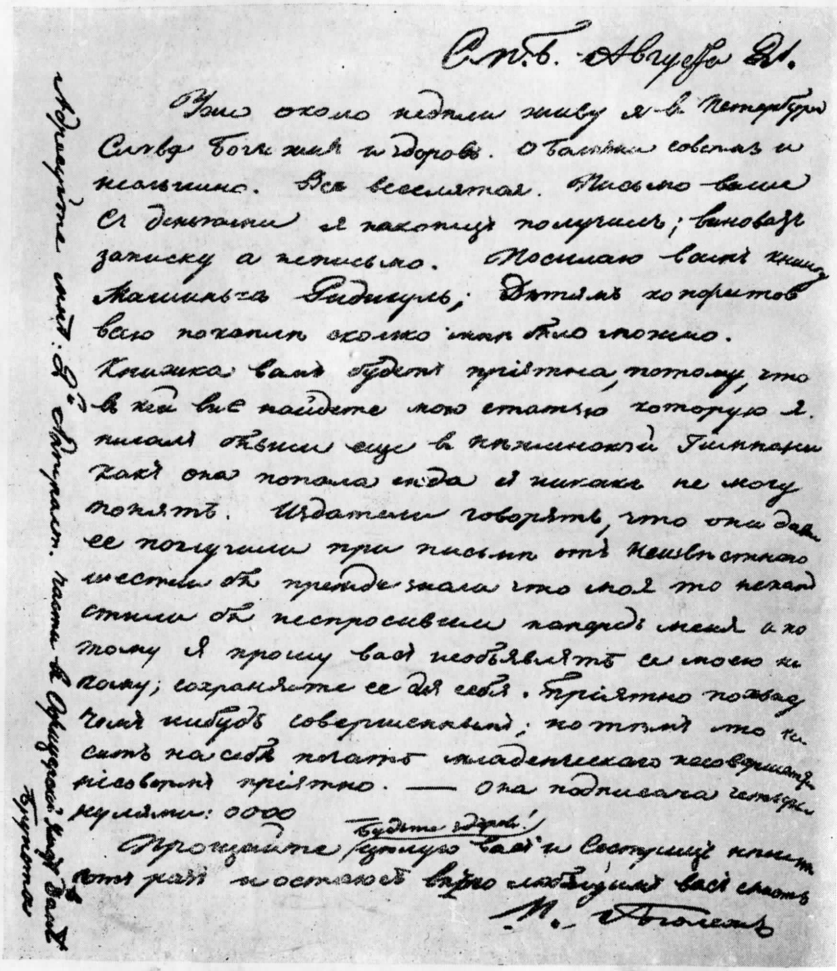
Гоголь хорошо знает, что и его новая книга, его поэма, возбудит те же толки, вызовет поток клеветы и ругательств. Поэтому его перо быстро скользит по бумаге, ядовито обличая лицемерие, ложь, суесловие столь презренного для него «высшего общества»!

По вечерам они с Языковым долго пьют крепкий чай, просматривают русские журналы, читают стихи, спорят. Николай Михайлович лежит на своем диванчике в пестром, полосатом халате, а Гоголь сидит в кресле и поучительно рассказывает о своих делах. Его беспокоит судьба книги, вести, доходящие до него из России.

— Разве ты не видишь, — с горечью говорит он, — что мою книгу принимают за сатиру на личность!



Октябрьский праздник в Риме. Художник А. Иванов.



Автограф Гоголя. Письмо к матери.

Языков внимательно слушает и настаивает на том, что для России нужно теперь не осуждение, не сатира, а изображение положительного идеала русского человека.

— Ведь сатира, осмеяние русской жизни, — горячится Языков, — от незнания ее, от недостатка патриотизма. Опасные мысли занесены с Запада, их сеют Белинский и «Отечественные записки». Подлинные патриоты — московские славянофилы Аксаковы, Киреевские, Самарин — правильно указывают особые судьбы русского народа, сохранившего свои первоначальные основы, свято преданного православной вере.

Языков волнуется, машет руками, пробует привстать на своем костыле и бессильно снова опускается на диван. Он вытаскивает из стола листок с только что набросанными стихами и торжественно читает:

Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский бог еще велик!

— Эти стихи направлены против «критиков», заносчивых и дерзких людей, не понявших того, что величие России в ее прошлом, в исконном единстве всех слоев ее населения.

Для Гоголя взгляды Языкова не были новостью. Его московские друзья — Погодин, Шевырев, Аксаковы во многом держались тех же воззрений.

Не возражая Языкову, Гоголь стал развивать свои мысли:

— Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений и что больше всего нам нужен такой человек, который бы при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще проникнут был желанием истинным мирить. Для первой части поэмы требовались люди

ничтожные, пошлые. Первая часть свое дело сделала: она поселила во всех отвращение от моих героев и их ничтожности. Теперь же я должен показать добродетельных людей, явления утешительные. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, все, что ни напишет перо твое, будет далеко от правды, как земля от неба!

Гоголю было тяжело говорить. Эти мысли давно теснили его, волновали и не приносили утешения. Второй том «Мертвых душ» писался медленно и трудно. Герои его не приобрели еще своего реального облика, не становились столь же зримыми, наглядными, реальными, как герои первого тома.

Они закончили свой спор. Да, собственно, это и не было спором. Гоголь сам себя хотел уверить в правильности того пути, который, как он думал, теперь открылся перед ним. Языков лишь договаривал то, что вытекало из слов самого Гоголя.

Вокруг становилось все темней. С гор опускались мохнатые, тяжелые тучи. Вскоре пошел теплый, плотный дождь. Казалось, все потонуло в этом мраке, дожде, черном, низко опустившемся небе.

Гастейн не оправдал своей славы. Гоголю не становилось легче, подавленное настроение не проходило. Чтобы развлечься, он съездил в Мюнхен, но там было жарко и душно, солнце накаляло комнату пансионата, и нечем было дышать. Он возвратился в Гастейн. Наступила осень. Частые дожди, суровые низкие облака утомляли и беспокоили Гоголя. Он снова стал вспоминать свой любимый Рим, теплое синее небо Италии. Воды Гастейна не пошли впрок и Языкову. Он скучал, раздражался и охотно поддался на уговоры Гоголя, звавшего его с собою в Италию. Гоголь обратился с письмом к Александру Иванову, прося его подыскать квартиру для Языкова.

В середине сентября он вместе с Языковым направился в Венецию, а 27 сентября 1842 года они были в Риме.

В Риме стояли теплые, прозрачные осенние дни. Пестрая уличная толпа, шумные остерии, монахи в черных и коричневых сутанах, нагруженные фруктами или хворостом ослики — все это было таким же, как и раньше. По-старому выглядел и узкий четырехэтажный дом на Виа Феличе, 126, в котором и остановились Гоголь с Языковым. Больной, с трудом передвигающийся Языков — во втором этаже, а Гоголь — на третьем. На четвертом же поместился давний знакомец Гоголя, адъюнкт математики Петербургского университета Федор Васильевич Чижов, недавно примкнувший к компании московских славянофилов.

Все они собирались по вечерам у Языкова, прикованного к своему креслу. На огонек приходили и художники — Иванов и Иордан. Иванов приносил обычно в кармане своей широкой художнической куртки горячие каштаны. На стол выставлялась бутылка алеатино, и вечер начинался с каштанов, запиваемых легким вином.

Разговор плохо вязался. Гоголь задумчиво сидел, опустив голову и заложив руки в карманы. Иордан, ожидавший интересных рассказов или разговоров, не выдерживал:

— Николай Васильевич, что это вы с нами так экономны на свою собственную особу? Расскажите хоть что-нибудь!

Гоголь отмалчивался или неохотно рассказывал старые, давно всем известные анекдоты. Он был сосредоточен в кругу своих сокровенных мыслей и предпочитал молчать.

— Что это, Николай Васильевич, вы ни слова не хотите промолвить? — не успокаивался Иордан. — Мы вот все труженики — работаем каждый день, идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться... Неужели мы все должны только покупать вас в печати?

Гоголь усмехался, но продолжал отмалчиваться. Лишь иногда он приоткрывался и вступал в разго-

вор. Но и разговор этот больше напоминал поучение, чем дружескую беседу. Его речь утратила былой юмор, непринужденность. Гоголь говорил книжно, торжественно, с нескрываемым чувством превосходства. Он сообщил, что ждет известий из России, что разослал всем своим друзьям письма с просьбой сообщить ему мнение о его книге и прислать ему собственные записки с живыми фактами о том, что совершается в разных концах страны.

— Но отчего же вы сами не вернетесь на родину, чтобы лично присмотреться к тому, что там совершается? — с удивлением спросил как-то Чижов.

— Кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, — задумчиво отвечал Гоголь, — мне нужно это удаление от России затем, чтобы пребывать мыслью в ней. Находясь сам в ряду других, видишь перед собой только тех людей, которые стоят близко от тебя: всей толпы и массы не видишь. Да и все люди, с которыми я встречался в России, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. А между тем я никогда еще так не чувствовал потребности знать современное состояние нынешнего русского человека, тем более что теперь так разошлись все в образе мыслей, что нужно ощупать рукою каждую вещь, не доверяя никому.

— А как подвигается вторая часть «Мертвых душ»? — рискнул спросить Чижов, хотя и знал, что Гоголь не любит напоминаний о своей книге.

— Все говорят, что время печатать второе издание поэмы вместе со вторым ее томом, — недовольно произнес Гоголь. — Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. Если над первой частью я просидел шесть лет, то, рассудите сами, сколько должен я просидеть над второй. Ранее чем через два года мне ее не удастся закончить.

Разговор прервался. Гоголь помрачнел и ушел, даже не попрощавшись с собеседниками.

Огорчали Гоголя и дела с изданием его сочине-

ний в Петербурге. Неопытный в издательских делах Прокопович совершенно запутался в отношениях с типографщиками, в корректурах, в закупке бумаги для печатания. А цензура не пропускала третий и четвертый тома. Издание задерживалось, задерживались и деньги, на которые Гоголь рассчитывал. Только в январе 1843 года все затруднения были преодолены, и четыре тома его сочинений вышли из печати.

Однако внешний вид издания огорчил Гоголя — книги получились слишком тонкими, бумага просвечивала, в текстах оказалось очень много поправок Прокоповича, который, воспользовавшись разрешением, слишком рьяно правил его произведения, и в самом деле относясь к ним как к тетрадям своих учеников.

В третьем томе была впервые напечатана повесть «Шинель», одно из величайших созданий писателя. В «Шинели» Гоголь поднял свой голос в защиту простого, маленького человека, угнетенного и духовно изуродованного окружающим его обществом, несправедливостью социальных отношений. В этой повести особенно полно проявился гуманизм писателя, его сочувствие страданиям бедняков, его гневная ненависть по адресу самодовольных, эгоистических хозяев жизни. В «Шинели» Гоголь протестует против унижения человека, против несправедливости, грубости, ущемления человеческого достоинства. Приниженный и забитый Акакий Акакиевич Башмачкин, которого мечта о новой шинели как бы воскрешает к новой жизни, возвращает потерянное чувство человеческого достоинства, становится жертвой наглого грабежа. И его горькая судьба, трагическая катастрофа, с ним происшедшая, никого не волнует и не тревожит.

Выступая против бесчеловечия и эгоизма господствующих классов, против поругания человеческого достоинства, Гоголь высоко поднял светоч гуманизма, положил начало той борьбе за счастье обездоленного человека, которую в дальнейшем так широко и плодотворно повела русская литература.

Кроткий и бессловесный при жизни, Акакий

Акакиевич после смерти выступает мстителем, пугая тех, кто его унижал и угнетал. Эта гневная нота протеста, резкое обличение писателем сферы «значительных лиц», распоряжающихся судьбой простого человека, выражали смелое отрицание существующего порядка вещей, которое, хотя и не было до конца осознано самим писателем, наполняло его творчество протестующим, демократическим пафосом. Но Гоголь под влиянием все усиливающегося страха перед ростом революционного подъема в Европе, измученный своей болезнью, стал все больше отходить от этого протестующего гуманизма «Шинели», склоняться на сторону религиозного примирения.

Его охватило душевное смятение. Все острее надвигался вопрос: что делать дальше? Гоголь оказался на чужбине без всяких средств к существованию. Неопределенность материального положения так же глубоко его беспокоила. Деньги, вырученные от продажи первого тома, и те, которые, возможно, поступят по выходе собрания сочинений, были уже распределены на уплату долгов.

Лучше умереть с голоду, чем спешить с окончанием второй части и выдать слабую и незрелую вещь! И он пишет Шевыреву длинное письмо, в котором просит прийти ему на помощь. «Прежде всего, — говорит он в этом письме, — я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь как найдете лучше со вторым изданием и с другими, если только последуют, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжении трех лет всякий год. Это самая строгая смета; я мог бы издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествия и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб...»

Гоголь с грустью оглядел все свое имущество: крохотный чемодан и четыре пары белья, три галстука. Вот и все его состояние. Свою половину имения он давно отдал в собственность матери и сестер. Все эти годы он жил в долг. Жил, рассчитывая каждую копейку, отказывая себе во всем. Теперь вновь надо обращаться к великодушию Погодина, далеко

не тароватого в денежных делах, и Сергея Тимофеевича Аксакова, который и сам вечно сидит без денег!

Но что остается делать? Его труд, его поэма, ее грандиозное продолжение требуют жертв. «От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня, — обращается он к друзьям. — Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу и не должен и не властен думать о них».

Он стал капризен. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо и едва дотронувшись до него, зовет лакея и требует его переменить. Целыми днями он сидит дома и читает книги религиозного и нравственного содержания: «О подражании Христу» средневекового мистика Фомы Кемпийского, «Размышления» римского императора Марка Аврелия.

Вот он жалуется на неблагодарность людей, не понимающих его, не понимающих великого значения дела, которое он призван совершить! Но даже языческий император призывал спросить: не в самом ли человеке заложена причина этой неблагодарности? «Во всяком случае, — учил Марк Аврелий, — когда придется тебе жаловаться на человека неблагодарного или вероломного, обратись прежде к самому себе, ты, верно, был сам виноват или потому, что, делая добро, имел что-нибудь другое в виду, а не просто делание добра и захотел скоро вкусить плоды своего доброго дела. Но чего ищешь ты, делая добро людям? Разве уже не довольно с тебя, что это свойственно твоей природе? Ты хочешь вознаграждения? Это все равно, если бы глаз требовал награды за то, что он видит, или ноги за то, что они ходят!»

В конце января приехала в Рим со своей семьей Александра Осиповна Смирнова. Гоголь с ее братом Россети приготовили ей квартиру на площади Траяна у Palazetto Valentini. Уже смеркалось, когда коляска Смирновой остановилась у дома, ярко освещенного изнутри. На лестницу выбежал сияющий Гоголь в новом сюртуке, в голубом жилете. Он

радостно протянул Александре Осиповне обе руки:

— Все готово, — весело сказал он, — обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел. Воздух будет хорош. Corso под рукой, а что лучше всего, вы близко от Колизея и Foro Boario.

На следующее утро он явился с длинным расписанием, озаглавленным «Путешествие Александры Осиповны», в котором на каждый день недели были намечены посещения достопамятных мест и музеев Рима. Каждый осмотр города завершался собором Петра, и Гоголь отмечал на своей бумажке: «Петром Александра Осиповна осталась довольна». Правда, он тут же с иронией говорил о том, что хотя на Петра и никогда не наглядишься, но фасад у него комодом.

Смирнова удивлялась великолепному знанию Гоголем Рима. Казалось, не было итальянского историка или хронографа, которого бы он не прочел. Он с увлечением рассказывал о знаменитых фресках Рафаэля на вилле Фарнезина, изображавших историю Амура и Психеи и «Триумф Галатеи». Когда его спутница не столько восхищалась рафаэлевскою Психеей, сколько бы он желал, Гоголь на нее не шутя сердился. С гордостью показал он ей Пантеон — это совершеннейшее создание античной архитектуры. Он не сразу повел свою спутницу внутрь, дав первоначально ей полюбоваться красотою купола.

С Колизеем он познакомил ее также на протяжении нескольких прогулок.

Восторженная Александра Осиповна, осматривая Колизей, неожиданно спросила Гоголя:

— А как вы думаете, где Нерон сидел? Как он сюда являлся — пеший, в колеснице или на носилках?

Гоголь вспылил, но шутливо воскликнул:

— Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! Вы воображаете, кажется, что я в то время жил. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть народ или какую-нибудь лич-

ность! Я всегда думал написать такую историю. События и лица в ней должны быть живы и как бы находиться перед глазами читателей, чтобы народ со своими подвигами проносился ярко и в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Между прочим, скажу вам: Нерон входил вот в эту ложу в золотом венке...

Они часто отправлялись за город на остийскую дорогу, на холм Вестаччио, с которого один из лучших видов на Рим, в Кампанью. Обыкновенно Гоголь шел в стороне от своих спутников; подымая камешки, срывая травки или размахивая руками, он натыкался на кусты и деревья. На полях Кампаньи он ложился навзничь на траву и говорил: «Забудем всё, посмотрите на это небо!»

Вечером он приходил к Смирновой на площадь Траяна, и они по очереди читали литературные новинки. Смирнова увлекалась «Письмами путешественника» Жорж Санд.

Когда Александра Осиповна читала их своим звонким низким голосом, Гоголь смотрел пасмурно и нервно ломал пальцы. После того как она кончила читать, он неожиданно спросил:

— Любите ли вы скрипку?

На ее утвердительный ответ Гоголь, помолчав, добавил:

— А любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?

— Что это значит? — недоуменно спросила Смирнова.

— Так ваша Жорж Санд видит и понимает природу! Я не понимаю, как вы можете это выносить!

Но такие размолвки случались редко. Чаще всего Гоголь покорно и внимательно слушал, а иногда и сам читал свои старые произведения. Но и Смирновой бросалась в глаза усиленная религиозность Гоголя. Он не только часто и охотно говорил на богословские темы, но и вынимал из кармана «Подражание Христу» Фомы Кемпийского и читал целые страницы из него. На страстной неделе Гоголь говел. Приходя в посольскую церковь, он становился поо-

даль от остальных посетителей и погружался в молитвенную сосредоточенность, не обращая внимания на окружающих. После говения он вновь стал заговаривать о поездке в Иерусалим.

Не раз он выговаривал Смирновой за ее суетную и праздную, по его мнению, жизнь, за пристрастие к светским удовольствиям и комфорту.

— Глянули ли вы хоть когда-нибудь, как ведется жизнь на свете? — поучал он Александру Осиповну. — Крестьянин вырабатывает трудом и потом средства своей жизни, а мы кушаем, да поджидаем гостей, да выдумываем, куда бы поехать, где бы лучше поразвлечь себя, да почитаем приятную книгу, да зеваем и жалуемся на скуку. Тогда как нужно дивиться, как не задушит и не заест нас насмерть эта скука. Разве, живя такой жизнью, можно ясными очами видеть то, что происходит вокруг, разве можно видеть действительность в настоящем виде?

Александра Осиповна внимательно слушала.

Новое, религиозное направление интересов Гоголя казалось ей своевременным и близким.

В апреле того же 1843 года Александра Осиповна уехала из Рима в Неаполь, собираясь оттуда во Франкфурт к Жуковскому и на воды в Баден-Баден. С ее отъездом Рим осиротел для Гоголя. Первого мая он направился во Флоренцию, а оттуда через Верону, Трент, Инсбрук и Зальцбург в Гастейн навестить Языкова, уехавшего туда еще раньше.

КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА

Проведя в Гастейне у Языкова недели две, Гоголь отправился в Мюнхен. Там писатель застал огорчившее его письмо Прокоповича. Старый друг спрашивал о сроке окончания второго тома «Мертвых душ». Гоголь был обижен, расстроен: ведь он давно наказал друзьям не торопить его, не спрашивать о том, что стало делом его жизни. Терпеливо разъясняет он приятелю: «Точно «Мертвые души» блин, который можно вдруг испечь? Загляни в жизнеописание сколь-

ко-нибудь знаменитого автора или даже хоть замечательного. Что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Всю жизнь, ни больше ни меньше». Ссылаясь на необходимость долгого обдумыванья и свои болезненные припадки, подтачивающие силы, Гоголь вновь заявляет, что книга не сможет выйти раньше двух лет.

Из Мюнхена Гоголь направился к Жуковскому во Франкфурт. Он познакомился там с его молодой женой. Елизавета Рейтерн привлекала своей классической красотой и какой-то тихой одухотворенностью. Но уже и тогда в ней чувствовался душевный надлом, томящая ее печаль, мистическая экзальтированность, перешедшие вскоре в глубокое душевное расстройство. Василий Андреевич погружен был в тревожную заботу о здоровье жены. Вместе с ними Гоголь поехал снова на воды в Висбаден, а оттуда в Эмс. Шел июнь 1843 года. В Эмсе было томительно жарко.

Узнав из письма Аркадия Осиповича Россети, что его сестра в Баден-Бадене, Гоголь направился туда. Из Бадена он съездил в Карлсруэ к Мицкевичу. В августе приехал в Дюссельдорф и поселился у Жуковского.

Эта перемена мест вызвана была отнюдь не любовью Гоголя к ландшафтам или его этнографическими интересами. Нет, он мало входил в жизнь и быт той страны, в которой находился, за исключением Италии, которую считал как бы своей второй родиной. Его влекли и встречи с друзьями, и внутреннее беспокойство, и любовь к дороге, доставлявшей ему облегчение. «Переезды мои, — сообщал он из Франкфурта в апреле 1844 года Данилевскому, — большею частию зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют; мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей. Ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, что знакомства

и сближенья наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитанье...»

В этих встречах он искал ответа на вставшие перед ним вопросы, проверял себя и свои поиски той новой правды, которую он видел в нравственном самоусовершенствовании, в христианском идеале. «Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях, — уверял он в том же письме к Данилевскому. — Счастие на земле начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других...»

Гоголь теперь считает своим долгом заботиться о душевном благополучии своих друзей. Он советует им читать книги отцов церкви, проповеди, сочинения церковных писателей. В письмах он настойчиво поучает, как им вести себя. В письме к С. Т. Аксакову, Погодину и Шевыреву он советует им уделять по одному часу в день чтению книги «Подражание Христу»: «Читайте всякий день по одной главе, не больше... По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Старайтесь проникнуть, как всё это может быть применено к жизни, среди светского шума и всех тревог».

Друзья по-разному воспринимали эти поучения и советы. Сергей Тимофеевич Аксаков был напуган подобными настроениями Гоголя и раздражен его советами. Он обратился к Гоголю с резким протестом. «Друг мой, — писал Аксаков, — ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим, но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились... Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь бы были они искренни, но уж, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не зная моих убеждений, да еще как? В узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уро-

ки... И смешно, и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнения. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника».

Опасения Аксакова, к сожалению, были справедливы. Гоголь все более и более входил в роль проповедника.

Зиму 1843 года Гоголь решил провести в Ницце. Его, бездомного скитальца, влекла туда мысль о свидании с А. О. Смирновой и графинями Вьельгорскими, собиравшимися обосноваться на это время в Ницце. И он покинул гостеприимный домик Жуковского в Дюссельдорфе, чтобы увидеться со своим старым другом, своей очаровательницей Смирновой. Модный европейский курорт, куда съезжалась знать со всех стран, славился своим климатом, пляжем и азартной карточной игрой. Невзирая на наступление декабря, Ницца встретила Гоголя ясной, теплой погодой. «Ницца — рай, — писал он по приезде туда Жуковскому, — солнце как масло ложится на всем; мотыльки, мухи в огромном количестве и воздух летний».

Александру Осиповну он застал в печали. Она приехала из Петербурга за границу в экзальтированно-религиозном настроении. Ее светские успехи стали тускнеть, заботы о семье, о доме поглощали все ее время. Она уже не была той умницей, той смешливой и острой на язык, даже несколько экстравагантной «донной Соль», «бесенком», как ее прежде называли друзья. Смирнова все еще оставалась хороша, но кожа ее пожелтела, под глазами собрались морщинки, огненный взор утратил свою гипнотическую силу.

Александра Осиповна теперь стала часто ходить по церквам, читать Боссюэта и модных церковных проповедников. То она бездумно отдавалась светским

развлечениям, балам, придворным увеселениям, то хандрила, запиралась в своей спальне и читала евангелие и отцов церкви.

...Они пошли вдвоем по берегу моря. Уходящее солнце отражалось розовыми отблесками на утесах. Белое платье Смирновой казалось необычайно легким, словно растворяющимся в вечернем теплом воздухе.

— Вы мой истинный утешитель, — говорил ей Гоголь. — Наши души сходны между собою, подобно двум братьям-близнецам!

— Да благословит вас бог! — растроганно отвечала Александра Осиповна. — Вы, любезный друг, выискали душу мою, вы ей показали путь. И этот путь так разукрасили, что другим идти невозможно.

Гоголь поселился у Вьельгорских, но почти ежедневно приходил к Смирновой. Ему она представлялась кающейся Магдалиной, а он ее спасителем. Он вытаскивал из кармана Марка Аврелия или толстую тетрадь выписок из сочинений отцов церкви и читал их Смирновой. Иногда он заставал ее в слезах.

— Я сегодня целый день плакала, — сообщала она. — Мною овладела такая усталость, что, кажется, мысль не долетит до бога.

— Ваше волнение есть просто дело черта! — полусерьезно, полушутя заметил Гоголь. — Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль напустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет!

— Нет, свет и люди гадки. Сердце мое исполнилось презрения к самой себе, — жаловалась Смирнова.

— А вы избегайте гадких разговоров или старайтесь гадкий разговор обратить в хорошую сторону. Это не так невозможно, как вам кажется. Люди, с которыми вы обращаетесь, не вовсе же дурные, они закружились только на светской поверхности.

Но Александра Осиповна продолжала каяться:

— Вы меня любить не можете. Я недостойна вашей дружбы. Во мне нет того душевного элемента, который мог бы нас сблизить. Вы меня только изучаете, я для вас предмет для наблюдений, потому что вы артист. А вы мне так нужны, так благодетельно на меня действовали и будете еще действовать! Ум мой всем доступен, а душа едва ли кому открыта, как вам.

— Не отзываются ли гордостью и необдуманностью ваши слова? — почти сердито возразил Гоголь. — Как можно отделить ум от всяких страстных увлечений, опутывающих нашу душу и сердце? Довести до бесстрастного состояния свой ум может только тот, кто сам бесстрастен. Но довольно. Душа ваша сама найдет законы и определит всему надлежащую меру. А до того будьте светлы духом и не смущайтесь ничем!

Гоголь засунул руку в карман сюртука и достал пачку листочков.

— Вот, когда на вас найдет тоска, читайте эти псалмы, я их для вас переписал. Вы должны их выучить наизусть.

Они молча возвращались с моря на виллу. Гоголь смущенно глядел на свою спутницу, уже оправившуюся от волнения и того неожиданного порыва откровенности, который ей самой казался теперь неловким и чрезмерно экзальтированным. Чтобы переменить тему разговора, она спросила:

— Спуститесь-ка вы в глубину вашей души и спросите ее: точно ли вы в душе русский или вы хохлик? Вот о чем у нас шла речь с очень умным человеком.

Немного подумав, Гоголь произнес, как бы говоря сам с собой:

— Я сам не знаю, какая у меня душа: хохлацкая или русская? Знаю только, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе натуры слишком щедро одарены богом, и, как нарочно, каждая из них заключает порознь в себе то, чего нет в другой.

Все утро он обыкновенно работал у себя в ком-

нате. Затем после прогулки по берегу моря шел обедать к Смирновой. Его приход всегда вызывал волнение кухарки-француженки, которая при появлении Гоголя, приносившего обычно к десерту засахаренные фрукты, громко кричала, зная его гастрономические причуды:

— Messieur Gogo, messieur Gogo, des radis et de la salade des pères français! *

Однажды Александра Осиповна попыталась в шуточном тоне выпытать, как обстоят материальные дела Гоголя. Она принялась экзаменовать его, выспрашивая, сколько у него белья и платья.

— Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, — отвечал Гоголь. — Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее.

— А сколько же у вас пар платья? Достаточно ли у вас белья? — засыпала его вопросами Смирнова.

— У меня есть все необходимое, чтобы быть чистым, — улыбаясь, отвечал Гоголь. — Это так и следует. Всем так следует, и вы будете жить, как и я. Может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья: одно для праздников, другое для будней! А лишняя мебель и всякие комфорты вам так надоедят, что вы сами станете понемногу избавляться от них.

После обеда Гоголь заставил Александру Осиповну вслух повторить списанные им длинные псалмы. Он спрашивал с нее урок, как спрашивают с детей, укоризненно отмечая: «Нетвердо!» — и отсрочивая урок до другого дня.

По вечерам он пил чай среди семейства Вьельгорских. За чайным столом восседала величественная Луиза Карловна, внучка Бирона, неукоснительно блюдущая аристократические традиции. Рядом с нею скромная и тихая Софья Михайловна, ее старшая дочь, вышедшая замуж за графа Соллогуба, старин-

---

* Господин Гого, господин Гого, редиски и французского салата! *(франц.)*.



Гоголь. Портрет работы художника Ф Моллера.



Абрамцево.



Дом, в котором умер Гоголь. Никитский бульвар.

ного знакомца Гоголя. Софья Михайловна была глубоко несчастна. Граф Владимир Александрович, известный повеса и кутила, после свадьбы почти не обращал на нее внимания, и она мучительно переживала пренебрежение мужа и свое одиночество.

Особенное внимание Гоголя привлекала младшая дочь — Анна Михайловна, или, как ее называли домашние, Анолина, Нози.

Нози было всего 18 лет, и она обладала всем очарованием молодости. Проведя большую часть жизни за границей, Нози нетвердо знала свой родной язык и во все глаза смотрела на великого писателя, которого так уважали ее родители. А великий писатель в легком сюртучке, с маленькой эспаньолкой, с русыми, почти до плеч волосами и тонким длинным носом, замечая восторженное внимание женщин, увлеченно проповедовал им добродетели христианского самоотвержения.

— Вы дали мне слово, — обращался он к ним с укором, — во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренне приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление самого бога!

Испуганные его торжественным тоном, графини тревожно припоминали правила поведения и выписки из священного писания, которые вручил им недавно Гоголь. В их экзальтированном воображении он представлялся посланником воли божьей, а не смешным и веселым писателем, каким они его представляли себе раньше. Да и сам Гоголь переменился. Глаза неподвижно глядели в одну точку, куда-то поверх собеседников. Его небольшая фигура стала напряженной, неестественно выпрямленной. Кроткая Софья Михайловна испуганно застывала на своем стуле. Луиза Карловна чувствовала себя как в церкви во время исповеди, вспоминала свои проступки и каялась в своей гордыне. Юной Анолине тоже было немного страшно и в то же время смешно. Ведь Ни-

колай Васильевич бывает так мил и забавен в обычное время, а тут он похож на проповедника, которого она видела во время посещения католического собора.

Вьельгорские вскоре уехали в Париж, а затем в Россию. Лишь в переписке продолжалась эта дружба столь различных и, по существу, далеких друг от друга людей.

У ЖУКОВСКОГО

После морских купаний Гоголь поселился у Жуковского во Франкфурте. Жуковский жил в двухэтажном, готического стиля доме, стоявшем на краю города. На берегу реки, окруженный садом, с зелеными жалюзи и красной черепичной крышей, этот дом, казалось, был специально предназначен для спокойной и мирной жизни, для творческого уединения и труда. В доме царила тишина. Кафельные печи, сложенные из боязни зимних холодов, давали достаточно тепла. Обширная библиотека, картины, скульптуры украшали уютные, большие комнаты. Гоголю отвели комнату во втором этаже над кабинетом хозяина. Жуковский поглощен был переводом «Одиссеи», занимавшим все его время. Но за внешней тишиной и благополучием в доме таилась тревога. Болезнь Елизаветы Алексеевны налагала тяжелый отпечаток на все окружающее. Ее мрачная меланхолия, мистические видения, нередко ее посещавшие, постоянная нервная напряженность и беспокойство не проходили. Ни заботливые попечения Жуковского, ни усилия врачей не могли победить упорство болезни.

В теплом китайском халате, в меховых сапожках, Жуковский сидел в своем кабинете за столом, заваленным словарями, книгами и бумагами. На печи величественно стоял гипсовый бюст Гомера. Поэт сильно похудел и постарел со времени их петербургских встреч, но та же доброта, внутренняя мягкость сказывались и в ласковой, приветливой улыбке и в плавности жеста. Жуковский так увлекся своим

любимым делом, что даже не заметил вошедшего к нему Гоголя.

— А, Гоголек! — радостно воскликнул он, увидев стоящего перед ним Гоголя. — Вот послушай, я перевожу уже одиннадцатую песню, о том, как Одиссей посетил царство Аида. Разве не совершенство его разговор с тенью матери:

Милая мать, приведен я к Аиду нуждой всемогущей;
Душу Тиресия фивского мне вопросить надлежало,
В землю ахеян еще я не мог возвратиться; отчизны
Нашей еще не видал, бесприютно скитаюсь повсюду
С самых тех пор, как с великим царем Агамемноном поплыл
В град Иллион, изобильный конями на гибель троянам.
Ты ж мне скажи откровенно, какою из Парк непреклонных
В руки навек усыпляющей смерти была предана ты?
Медленно ль тяжким недугом? Иль вдруг Артемида богиня
Тихой стрелою своею тебя без болезни убила?

Жуковский медленно, нараспев читал широкие и плавные строки гекзаметра. Видно было, что он сам наслаждается музыкой стиха, точностью образа.

— Ну, как получается? — спросил Жуковский, улыбаясь.

— Перевод твой решительно венец всех переводов! — восторженно откликнулся Гоголь. — Это не перевод, но скорей воссоздание, воскрешение Гомера. Твой перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Ты стал незримо истолкователем Гомера, зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

Жуковский благодарно улыбался и даже замахал руками на Гоголя.

— Мне тоже кажется, что «Одиссея» есть лучшее мое создание. Могу похвастать: этот долговременный, тяжелый труд совершен был чисто для одной прелести труда!

— Твоя «Одиссея» выйдет своевременно, — ответил Гоголь, — она поразит величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритуплен-

ной, младенческой ясностью человека. В ней услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век! Мы, с нашими орудиями к совершенствованию, с опытом всех веков, с религией, которая дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего! — взволнованно продолжал Гоголь, высказывая давно волновавшие его мысли.

— Если буду здоров и ничего не случится в моей семье, — отвечал Жуковский, — я скоро кончу «Одиссею». А потом, может быть, примусь за перевод «Илиады», чтобы оставить после себя полного собственного Гомера. Ну а ты? Как у тебя двигается работа над «Мертвыми душами»? Пишутся ли они?

Гоголь недовольно насупился.

— И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел. И препятствия часто происходят то от болезни, то от меня самого. Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение! Поэтому мне необходимы бывают частые перемены всех обстоятельств, переезды, обращения к другим занятиям.

На стене кабинета висели золотые карманные часы с цепочкой.

— Чьи это часы? — спросил Гоголь.

— Мои, — ответил Жуковский. — Они принадлежали Пушкину, и я их храню как память после него. Они показывают час его кончины.

Жуковский снял часы со стены и протянул их Гоголю.

— Возьми их, — сказал он торжественно. — Ты подлинный наследник Пушкина и был его другом. Храни их как самую драгоценную реликвию.

Растроганный Гоголь поцеловал Жуковского и бережно спрятал часы в карман.

Под влиянием значительности этой минуты Гоголь разоткровенничался и рассказал Жуковскому то, что обыкновенно он таил даже от близких друзей, — свои планы продвижения поэмы.

Она должна не только показать недостатки и по-

роки людей, их заблуждения и всю недостойность их поведения, но и стать образцом, показать путь к их исправлению, к их нравственному возрождению. Поэтому в отличие от первой части его цель теперь не сатира, а проповедь очищения, создание героев, которые должны стать положительным примером. Он напомнил Жуковскому трилогию великого флорентинца; его «Божественную комедию», охватившую всю жизнь, все представления и чаяния средневековья и Возрождения. Так должна строиться и его поэма. Герои Данте переходят из «Ада» в «Чистилище», и поэма завершается песнью примирения и божественного просветления — «Раем». «Мертвые души» начались с показа «ада», несовершенства и пошлости русской жизни. Но теперь он должен создать героев «чистилища», переходных, положительных, которые будут способствовать пробуждению русской жизни, дальнейшему просветлению людей. Многое из второй части им уже написано, но пусть до времени все это остается тайной.

Гоголь волновался, руки его дрожали.

Дни в доме Жуковского проходили однообразно и незаметно. Гоголя мучила внутренняя тревога, обострение болезни. Да и вести, доходившие до него извне в тихий и уединенный дом Жуковского, беспокоили и пугали. Вся обстановка в Европе стала напряженной, нарастало всеобщее недовольство масс, всюду чувствовалось революционное брожение, отдельные вспышки докатывались и до Франкфурта. Росли рабочие волнения и стачки. На короля было совершено покушение. В Силезии происходило восстание ткачей.

Гоголь пишет своим друзьям длинные, поучительные письма, исполненные елейной, церковной морали. «Душевный монастырь», как сам писатель назвал свое существование в эти годы, загораживал ему глаза на все, что творилось в мире. В тихом доме Жуковского или в уличном шуме буйного Парижа он чувствовал себя равно одиноким и недоступным веяниям живой жизни.

В письме к Н. Языкову из Франкфурта 26 декабря

1844 года Гоголь высказывает свои сокровенные мысли и поучает своего друга слову божьему. Причины социальных неполадок, внутренняя неудовлетворенность человека, житейские беды, по его мнению, происходят от душевной неустроенности, от недостаточного проникновения в букву и дух христианского вероучения. «Сколько могу судить, — пишет он Языкову, — глядя на современные события издалека, упреки падают на следующих из нас: во-первых, на всех предавшихся страху, которым уж если предаваться страху, то следовало бы предаться ему не по поводу каких-либо внешних событий, но взглянувши на самих себя, вперивши внутреннее око во глубину души своей, где предстанут им все погребенные способности души, которых не только не употребили в дело во славу божью, но оплевали сами...» И Гоголь мечет громы и молнии на «нынешних развратников, осмеливающихся пиршествовать и бесчинствовать в то время, когда раздаются уже действия гнева божия и невидимая рука, как на пиру Валтасаровом, чертит огнем грозящие буквы».

В его болезненном представлении все социальные противоречия кажутся порожденными отходом от божественных предначертаний, забвением религии. Он искренне считает себя предназначенным провидением обличить неправду и сказать слово истины. Но, как он сам говорит в письме к Языкову, «сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемый от слепоты людьми, будет много значить». И он выступает с таким «упреком», оставляя оружие сатиры, чувствуя себя пророком и проповедником.

Так подготовлялась книга, которая, как думал Гоголь, должна была прославить его имя, а на самом деле стала его позором. Для этой книги отложена и отодвинута работа над вторым томом «Мертвых душ». Эта книга — «Выбранные места из переписки с друзьями» — родилась из писем, которые Гоголь, как новоявленный проповедник, на протяжении нескольких лет рассылал своим друзьям, поучая их

христианскому терпению и вере в милосердие божие.

К душевным терзаниям и поискам присоединилось усиление болезни. Он необыкновенно похудел и никак не мог согреться. Лицо его пожелтело, а руки распухли и почернели, и он сам страшился их прикосновения, так как они были холодны как лед. Он крепился духом и старался скрыть свое состояние от Жуковского, чтобы не беспокоить друга. Жизнь, казалось, замирала.

Неожиданно успешно решились денежные дела Гоголя. Правда, жизнь у Жуковского значительно облегчала его материальное положение, но все же оно оставалось очень неопределенным и напряженным. Прокопович, несмотря на то, что собрание сочинений уже вышло из печати, не подавал никаких признаков жизни. Укоризненные письма Гоголя не достигали цели. Стороной, от московских друзей, он узнавал, что Прокопович благодаря своей практической неумелости был обобран плутоватыми типографщиками. Деньги, выручаемые за продажу сочинений, шли в их карманы.

По совету Жуковского Александра Осиповна Смирнова, пользуясь своим положением фрейлины, решила испросить у государя пенсию или пособие для больного писателя. Это было не простым делом: следовало встретиться с Николаем Павловичем в тот момент, когда он был в хорошем настроении. Иначе не избежать отказа. На вечере у государыни Александра Осиповна подошла к императору и, кокетливо улыбаясь, напомнила ему о Гоголе и просьбе Жуковского.

— У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему обороты слишком низкие и грубые! — самоуверенно сказал Николай Павлович.

— А вы читали «Мертвые души»? — спросила Смирнова.

— Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба!

Александра Осиповна посоветовала ему прочесть «Мертвые души» и заметить страницы, в которых вы-

ражается глубокое чувство народности и патриотизма.

Государь принял от нее записку, составленную Жуковским, и обещал утвердить Гоголю пенсию. Смирнова, заручившись обещанием царя, подошла тут же на вечере к шефу жандармов А. Орлову, к которому царь питал особое благоволение за разгром декабристов на Сенатской площади, и объявила ему волю царя. «Что это за Гоголь»? — грубо спросил Орлов. «Стыдитесь, граф! Вы русский и не знаете, кто такой Гоголь», — рассмеялась Смирнова. «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах!» — возразил Орлов, довольный своей пошлой шуткой. Но так или иначе Гоголю было дано пособие, правда очень скромное — по тысяче серебром в год на три года, — что позволяло ему продолжить работу над поэмой и не обращаться вновь к помощи друзей.

ТЕНЬ

Гоголь попал в Париж в начале января 1845 года в период обострения политических страстей, нарастания волны всеобщего недовольства, которая подготовила революционные события 1848 года. Росла дороговизна, на улицах все чаще слышались озлобленные выпады против правительства и богачей, газеты помещали острые карикатуры, полемические статьи и фельетоны. Происходил очередной правительственный кризис.

«О Париже скажу тебе, — писал Гоголь Н. Языкову, — только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь». Говоря о себе, он сообщает Языкову: «Я прожил, однако ж, эти три недели хорошо в отношении моральном. Жил внутренно, как в монастыре, и, в прибавку к тому, не пропустил ни одной обедни в нашей церкви».

В Париже он встретился с графом Толстым, с которым познакомился за границей несколько лет тому назад. Александр Петрович Толстой был личностью

примечательной. Даже самая биография его во многом необычна. Родился он в 1801 году и восемнадцатилетним юношей поступил на военную службу юнкером в гвардейскую артиллерийскую бригаду. Через два года был произведен в офицеры, а затем назначен адъютантом к графу Дибичу. В конце 1826 года он перешел из военной службы в ведомство иностранных дел и был причислен к штату русского посольства в Париже. Однако он стал не столько дипломатом, сколько секретным агентом и был отправлен в Константинополь со специальным поручением ознакомиться с положением дел в Турции и на Ближнем Востоке и произвести там топографическую съемку укрепленных мест. После начала войны с Турцией в 1828 году он вновь вернулся на военную службу и принимал самое активное участие во всех военных операциях. По окончании войны вышел в отставку и поступил на службу в министерство внутренних дел. Затем служил губернатором в Твери, а в 1837 году был переведен военным губернатором в Одессу. В 1840 году он вышел в отставку, устранился от всяких дел и погрузился в изучение богословских вопросов и сферу религиозных интересов.

Александр Петрович стал играть все большую и большую роль в жизни писателя. Гоголь внимательно прислушивался к его суждениям и советам. Византийская изощренность графа, его начитанность в священном писании, знакомство с церковными учениями, большой жизненный опыт — все это производило огромное впечатление на Гоголя, видевшего в Толстом столп православия.

Граф встретил Гоголя со свойственной ему приветливостью и непринужденностью. Александр Петрович любил комфорт, всегда был изящно, хотя и не по моде, одет. Его стройная фигура, сохранившая привычку к военной выправке, подчеркнутая благовоспитанность человека высшего круга сочетались с какой-то строгостью и внутренней озабоченностью. Графиня Анна Егоровна, дочь грузинского царевича, была любительницей музыки. Она помешалась на чистоте: в комнатах все блестело, без конца перети-

ралось, чистилось, мылось. В гостиной стоял рояль, на котором графиня музицировала. Музыка, однако, в доме Толстых была неизменно религиозного содержания. По вечерам к ним являлись русские и греческие монахи и священники. Граф знал греческий язык и любил обсуждать духовные книги или даже просто слушать чтение молитв на греческом языке.

Беседы касались главным образом вопросов религиозно-нравственного характера. Граф сетовал и огорчался безнравственностью современной молодежи, забвением религиозных устоев. Он стал расспрашивать Гоголя о его делах и намерениях.

— О себе ничего не могу сказать вам утешительного, — грустно сообщил Гоголь. — Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив бога за все, уступить, может быть, свое место живущим. Но да будет во всем его святая воля! — покорно, каким-то деревянным голосом произнес Гоголь. — Во всяком случае, не прекращайте ваших молений, сильней и сильней молитесь обо мне богу, чтобы он не оставлял меня ни на минуту!

Граф внимательно выслушал писателя. Его тонкие губы сжались в сочувственном молчании. Он провел Гоголя в гостиную, в которой хозяйничала полная смуглая Анна Егоровна. На столиках, полочках, даже стульях разложены были молитвенники, псалтыри, ноты, сочинения духовных писателей. За столом сидел греческий монах в черном клобуке.

Во время чаепития с душистым приторно сладким вареньем разговор зашел о современном положении вещей в Европе.

— В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, — произнес Гоголь, — что не поможет никакое человеческое средство.

Толстой стал рассказывать о революционных настроениях и даже открытых выступлениях против существующего порядка вещей во Франции и Италии. Он сурово осуждал совершеннейшую, с его точки зрения, анархию, которая наступит повсеместно, если заранее не будут приняты должные меры. Лишь по-

печение божие и бдительность правительства могут приостановить начавшийся процесс, печально резюмировал граф.

Гоголь встревоженно внимал этим рассказам. Будущее рисовалось ему в самом черном свете. Европа больна «язвой пролетариатства». В ней несправедливость и раздор. Зреют семена озлобления и мести.

— Лишь России, с ее особой судьбой, миновавшей развращенность Запада, не знающей революций и рабочего вопроса, предназначено служить опорой миру и порядку! — Граф торжественно поднял руку и провозгласил: — Православный государь и православный народ спасут Россию от бед, грозящих Европе. Все мы должны служить небесному государю и его словом руководствоваться. Иначе наступит тьма египетская, помутится ум, и омрачатся мысли, и плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь.

В комнатах Толстых, выходящих окнами на улицу де Ля Пэ, чувствовался едва уловимый запах ладана.

Гоголь внимательно, с душевным испугом слушал Толстого, сжавшись в своем кресле. Греческий монах перебирал янтарные четки, его черные глаза сверкали из-под клобука, горбатый нос напоминал клюв хищной птицы. Расплывшаяся графиня восторженно и умиленно слушала мужа. После чая монах стал читать по-гречески житие Ефрема Сирина, а Александр Петрович тут же переводил Гоголю смысл читаемого, иногда останавливая монаха и давая свои пояснения.

А за окнами шумел Париж. Щелкали бичи кондукторов омнибусов, запряженных четверкою лошадей, шумели студенты в кафе, проходили по бульварам нарядные кокетливые парижанки. Когда Гоголь вышел от Толстых, было уже совершенно темно. Горели газовые фонари. На круглых тумбах и заборах пестрели броские афиши театров. По Сене сновали маленькие лодочки со светящимися фонариками. По улице шла толпа рабочих в суровом молчании. В ру-

ках одного из рабочих развевался трехцветный флаг. Гоголь нанял фиакр и направился в гостиницу. Там в маленькой скромной комнатке с обоями, на которых изображены были кокетливые амурчики с луками, он долго молился перед образком Николая Мирликийского, присланным ему матерью. Но тоска, какое-то тупое отчаяние не проходили. Лишь поздно ночью он, наконец, заснул на узенькой гостиничной кровати. Но и во сне ему казалось, что над ним наклоняется длинная черная тень графа Толстого.

СОЖЖЕНИЕ

Из Парижа Гоголь вернулся во Франкфурт к Жуковскому. После физического и душевного подъема, вызванного поездкой, Гоголь вновь почувствовал себя плохо. Несмотря на жарко натопленную комнату, его беспрерывно мучил холодный озноб, и он никак не мог согреться. Врачи предписали ему отправиться на воды в Гомбург, неподалеку от Франкфурта.

Жуковский в большой тревоге сообщил в письме к Смирновой: «Здоровье Гоголя требует решительных мер. Ему надобно им заняться исключительно, бросив на время перо, и ни о чем другом не хлопотать, как о восстановлении своей машины. Живучи у меня, во всю почти зиму он ничего не написал, и неудачные попытки писать только раздражали его нервы. Я его послал в Париж, полагая, что рассеяние ему сделает добро, но добро ему сделало только самое путешествие, то есть переезд из Франкфурта в Париж, а жизнь парижская никакой не принесла пользы: он возвратился в том же расстройстве».

В начале мая 1845 года Гоголь приехал на модный и людный курорт, славившийся своей рулеткой. В Гомбурге проигрывались целые состояния, и на звон золота слетались хищники и авантюристы со всей Европы. Но Гоголю было все это безразлично. Он поселился в маленьком домике близ дороги к источнику. Веселье, царившее в курзале и в великолепных дорогих гостиницах, до него не доходило.

Воды Гомбурга, знаменитый источник Элизабетбруннен не помогали. Здоровье его с каждым днем становилось все хуже и хуже. Он чувствовал полный упадок сил. Кругом ни одной знакомой души, ни одного человека, с которым можно было бы хоть поговорить! Глухая старуха немка, хозяйка домика, придурковатая работница — вот и всё. Всякое занятие, всякая попытка умственной работы вызывали усиление болезненного состояния. Ко всему этому прибавились припадки. По ночам ему казалось, что все в нем замирает и сознание отлетает куда-то далеко.

Днем он еще пересиливал себя. Пересматривал листы рукописи ранее написанных глав второй части «Мертвых душ». Их страницы уже слегка пожелтели от долгого лежания в шкатулке. Но возникавшие в них образы прекраснодушного мечтателя Тентетникова и идеального хозяина Костанжогло, сумевшего совместить дух современности с приверженностью к патриархальной старине, богомольного, благодетельного откупщика Муразова, наставлявшего плутоватого Чичикова на праведный путь, — все это теперь казалось далеким от его устремлений, безжизненным, ненужным. «Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, — думалось Гоголю, — пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого». Но как раз это и мало и слабо было развито во втором томе его поэмы! Стоит ли ее в таком виде показывать читателям? Эта мысль мучительно преследовала Гоголя. Ему стало казаться, что он сделает вредное дело, если оставит свою поэму такой, как она написана. Слава богу, что ее никто еще не видел и не читал! Нет, следует все начинать сызнова.

Он дождался воскресного дня, когда хозяйка со служанкой отправились, взявши молитвенники, в местную кирху. Тогда он прокрался, как вор, на кухню. Осторожно разжег в печке приготовленную лучину и стал медленно, дрожащими руками отры-

вать лист за листом рукописи и кидать их в огонь. Не двигаясь, Гоголь следил, как лист, чуть изогнувшись, будто от немыслимой боли, сворачивался и, скорчившись, начинал гореть. Огонь легкой, тонкой змейкой охватывал сначала с краев густо сжавшиеся строки беспомощных, по-детски неуверенных букв, а затем ярким пламенем вспыхивал весь лист и рассыпался серебряным пеплом. Когда все листы сгорели, он помешал чугунной кочергой оставшийся пепел и золу́ и долго еще сидел перед печкой, прищурив глаза, опустив голову на колени.

Затем он добрался до своей комнаты, узенькой, весело залитой летним солнцем, отражавшимся сияющими бликами на зеркале, графине с водой, на стеклянной граненой чернильнице, и записал в тетради, словно отдавая отчет потомству: «Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка доставалась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собой смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, чем пользу».

Гоголь присыпал написанное сухим желтоватым песком из песочницы. Лег на кровать, прикрыл голову подушкой и заплакал. Ночью он проснулся от сильной боли в груди. Зажег свечу. На стене резко обозначилась сгорбленная черная тень. Это он сам.

— Я вовсе не затем рожден, чтобы произвести эпоху в области литературной, — укоризненно обра-

тился он к тени. Ему было трудно сосредоточиться: руки холодели, как лед, голова пылала. Ведь его поэма, плод многолетнего труда, дум и волнений, сегодня сгорела. Он сам сжег свой труд во имя лучшего, неясно рождающегося в его душе!

— Дело мое — дело всей моей жизни! А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, — убеждал он тень, — и, верно, поступаю как нужно... Опасения же насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второй том, напрасны! — и он взмахнул перед тенью рукой. Но тень так же укоризненно замахнулась. Гоголь снова заплакал.

Утром болело все тело. С большим трудом поднялся он с кровати. Долго и тщательно умывался. Рассчитавшись с хозяйкой, пошел к конторе дилижансов, взял билет и направился в Берлин.

Берлин угнетающе подействовал на Гоголя своей прилизанной чистотой, безвкусными домами, пестрой чопорной толпой на Унтер ден Линден. Писатель остановился в той же скромной гостинице, в которой не раз уже бывал. В Берлине он встретился с графом Толстым. Александр Петрович был, как всегда, внимателен, вежлив и в то же время задумчив и молчалив. Он выслушал рассказ Гоголя о сожжении второго тома поэмы так, как если бы заранее знал об этом.

— Вам, Николай Васильевич, нужно отговеть со мной вместе в Веймаре! — произнес Толстой ровным, слегка повелительным тоном.

В Веймаре они посетили православную церковь. Гоголь исповедовался в своих грехах, прежде всего в гордости и душевной слабости, мешавшей ему твердо следовать заветам отцов церкви.

Зеленые парки Веймара, этого города поэтов, в котором жили Гёте, Шиллер, Виланд, его светлая тишина успокоили Гоголя. Они побывали в доме Шиллера и в летнем домике Гёте.

Возвратившись в Берлин, Гоголь по совету врачей

направился в Дрезден к доктору Карусу. Карус долго его расспрашивал, выстукивал и выслушивал, ощупывал и решил, что все дело в печени. А раз печень, естественно надо прежде всего ехать в Карлсбад на тамошние воды. Меланхолия, хандра — о, она тоже от печени!

Гоголь покорно едет в Карлсбад. Там он узнает из писем, пересланных к нему из России, что Александра Осиповна стала губернаторшей, что ее мужа Н. М. Смирнова назначили губернатором в Калугу.

Гоголь сразу же пишет Александре Осиповне поучительное письмо о том, как ей вести себя на новом месте в качестве губернаторши. «Смотрите, чтобы вы всегда были одеты просто, чтобы у вас как можно было поменьше платья!» — поучает он Смирнову. Ему представилась она в скромном черном платьице, хрупкая, встревоженная, с обожанием смотрящая на него своими таинственными черными глазами. «Обратите потом внимание на должность и обязанность вашего мужа,— поучает он Александру Осиповну, — чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят...»

Ему казалось, что своими наставлениями он сможет способствовать деятельности калужского губернатора, внести в нее те нравственные начала, которые позволят преобразовать все управление в Калужской губернии, сделать ее примером благоденствия и неусыпной заботы. А там, может быть, на пример Калуги обратит внимание и вся Россия? «Молитесь же богу, да воздвигнет в вас дух деятельности, — наставлял он в заключение письма Александру Осиповну, — и в минуту лени или тоски обращайтесь вновь к нему...»

Письмо было немедленно отослано. Опять началось хождение к источнику, питье теплой, пахнущей глауберовой солью воды. Однако прославленные источники Карлсбада не дали облегчения. Озноб и мучительная слабость не проходили. И Гоголь снова решает ехать в поисках исцеления, на этот раз в Грефенбург. Там лечился брат Смирновой Аркадий Осипович Россети у доктора Присница. Доктор Прис-

ниц подлинный чудодей! Он изучил свойства воды и повелевает ими! Верность диагноза и находчивость этого доктора, по словам Россети, выше всякой похвалы!

Снова мягко шуршат колеса дилижанса, и исхудалый, грустный пассажир забился в угол сиденья.

Вот он добрался до Праги! Красавица Прага раскинулась на холмах. Вышеград, собор св. Витта, старые крепостные стены и башни, готические костелы, средневековый Карлов мост со статуями над бурной Влтавой, ратуша с чудесными часами, на которых время отмечается поучительной пантомимой жизни и смерти, разыгрываемой фигурками, появляющимися в башенной нише. Узкие улочки с маленькими домиками вокруг собора св. Витта. Казалось, в этих веселых цветных домиках с остроконечными черепичными крышами еще недавно жили средневековые алхимики и астрологи, таинственно кипятившие в пузатых колбах какие-то снадобья в поисках эликсира жизни или превращая ржавые куски железа в золото.

Гоголю полюбилась эта изящная, словно игрушечная столица братского народа, подаренная современности средневековьем. Он с волнением осмотрел величественный собор св. Витта, помещенные в нем резанные из дерева скульптуры распятого Христа, фигуры королей на Карловом мосту, древнейшую в Европе синагогу, похожую на мрачный и сырой склеп...

Оказывается, чехи знали о нем. Его «Тарас Бульба» был переведен еще в 1839 году, а как раз сейчас появились перевод «Носа» и «Старосветских помещиков».

С интересом Гоголь посетил чешский национальный музей, которым заведовал известный поэт и ученый, собиратель памятников чешской культуры и народного творчества Вацлав Ганка. Ганка был поборником сближения с русской культурой и литературой и приветливо встретил русского писателя. Он никак сначала не хотел верить, что перед ним тот самый Гоголь, сочинения которого он с любовью читал. Он даже с сомнением спросил этого исхудавшего, с остро выдающимся носом, грустного господина:

— Так это вы написали «Тараса Бульбу» и «Мертвые души»?

— Ах, оставьте это! Эти произведения доставили мне много печальных минут! — с горечью сказал Гоголь.

— Ваши сочинения, — продолжал торжественно Ганка, — составляют украшение славянских литератур.

— Оставьте, оставьте! — замахал руками Гоголь. — Я еще ничего не сделал! Лишь теперь я подошел к делу своей жизни.

Они долго еще беседовали об общности судеб славянских народов, которым предстоит великое будущее, о необходимости взаимного ознакомления с культурами и литературными сокровищами чешского и русского народов. Ганка прочел Гоголю свои чешские песни и сказания и подробно объяснял достопримечательности собранного им национального музея. Прощаясь, Гоголь записал в его альбоме свое пожелание: «Еще сорок шесть лет ровно для пополнения — 100 лет здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских — к нему заезжающих... 5/17 августа 1845 года».

Гоголь познакомился и со своими переводчиками, видными деятелями чешской литературы — известным сатириком К. Гавличком-Боровским и Поспешилом, которые радушно приветствовали своего любимого писателя. Золотая, средневековая Прага, ее узенькие улицы, дома, над входом в которые изображены были рыбы, гроздья винограда, созвездия, натянутые луки, радушие чехов, горьковатое пиво, пенящееся в больших дубовых кружках, — все это отвлекло Гоголя от грустных мыслей, укрепило его дружбу к маленькому, талантливому славянскому народу.

С сожалением расстался он со своими новыми друзьями и поспешил к Присницу в Грефенберг, в чаянии чудесного выздоровления. Еще одна страница в книге его жизни была перевернута. Сколько же их осталось?

«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

«И возненавидел я жизнь: потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа! И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем; потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?» Гоголь медленно закрыл маленькую библию в черном бархатном переплете, подаренную ему Смирновой. В гостинице царил полумрак, из-за прикрытых штор вырывались приглушенные лучи света. В большом зале столовой было пустынно. В этот ранний час туристы разбрелись по окрестностям Бамберга.

Гоголь подошел к камину. В нем чернела давно потухшая зола. Поплотнее укутавшись в шинель, Гоголь принялся быстро шагать по комнате, потирая леденевшие руки. «Богу угодно было послать мне страдания душевные и телесные, — мучительно думал он, — всякие и горькие и трудные минуты, всякие недоразумения тех людей, которых любила душа моя, и все на то, чтобы разрешилась скорей во мне та трудная задача, которая без того не разрешилась бы вовеки». «Все суета и томление духа!» Вот он издал первый том своей поэмы, но это принесло лишь вред. Многие считают, что он осмеял в своем творении неправду и злоупотребления, царящие в России. Но мало осмеять: надо показать людям путь возрождения. Теперь он сам выстрадал этот путь. Нужно научить других следовать этим путем, путем христианина, оказать им душевную помощь.

Гоголь мучительно задумался. Нет, не поэма нужна теперь. Нужно оставить все, что сложилось в душе и разуме его за эти последние годы. «Кто знает, кто будет после меня? Глупый или умный?»

Он подошел к конторке, достал из шкатулки, которую всегда возил с собой, лист бумаги и написал письмо Языкову. Он просил его сберечь письма, которые посылал ему за последние годы. Надо об этом сообщить Александре Осиповне, Жуковскому, Плет-

неву, Толстому. «Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, — заканчивал он свое письмо, — особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страданья, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим!»

Он запечатал письмо и старательно вытер перо. Да, это будет книга наставлений, христианской мудрости, которая гораздо нужнее, чем его поэма. Она поможет людям найти утешение в их страданиях и горестях, поможет разобраться в той неразберихе, которая сейчас творится в России и в Европе. Его опять охватил озноб.

Закрыв шкатулку, Гоголь вышел на улицу. Летнее солнце пригрело его горячими лучами. Он быстро зашагал по дороге, которая вела наверх в гору, к собору.

Навстречу попадались туристы в тирольских шляпах, в коротких кожаных штанах, истертых до блеска. Прошла чопорная англичанка в серой кофте с большими буфами, соломенно-желтые волосы закрывали ее бесцветное лицо. Вдруг среди встречных показалась знакомая фигура плотного, немолодого мужчины с одутловатым лицом и опущенными книзу короткими усами. Это Жюль — давний друг, помогавший ему в Риме в работе над поэмой!

Павел Васильевич, в свою очередь, был обрадован и удивлен. Ведь по его представлениям Гоголь, которого он недавно видел в Париже, должен был быть уже в Остенде на морских купаньях? А тут Гоголь собственной персоной в маленьком австрийском городишке Бамберге! Однако как он за последние годы постарел и переменился! Приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось, томительная работа мысли наложила на нем печать истощения и усталости, но оно стало как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось длинными, густыми,

почти до плеч, волосами, в раме которых блестели глаза, исполненные огня и выражения!

После первых слов приветствия Гоголь сообщил Анненкову, что он в самом деле едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай, так как длительная дорога ему помогает, восстанавливает его слабые силы. Теперь он остановился ненадолго в Бамберге, чтобы поглядеть на знаменитый собор XII века. А отсюда отправляется в Швальбах, а затем в Остенде.

— А что делаете теперь вы? — отрывисто спросил Гоголь.

— Я путешествую по Европе, так, из простого любопытства, — рассмеялся Анненков.

— Это черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда-нибудь! — Гоголь говорил, как будто ему трудно было собрать мысли, витавшие где-то далеко.

Они пошли вместе осматривать собор, часа два пробродив между тяжелыми, массивными колоннами главного здания. В затейливых барельефах, на которых мистические аллегории христианской символики были забавно перемешаны с бытовыми сценками из народной жизни, в суровых каменных колокольнях виделось своеобразие и сложность замысла старых мастеров.

— Я предпочитаю романские соборы готическим, — заметил Анненков, — они разнообразнее и величественнее по архитектуре.

— Вы, Павел Васильевич, возможно, не знаете, что я сам знаток в архитектуре, — серьезно ответил Гоголь. — Готическая архитектура есть явление такое, какого еще никогда не производили вкус и воображение человека. Она обширна и возвышенна, как христианство! В ней все соединено вместе: величие и красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость. Это такие достоинства, которых не вмещает в себе никакая другая архитектура. Но эта архитектура исчезла, как только мысль человека раздробилась.

Со спора об архитектуре разговор перешел к современному положению в Европе.

— Вот, — продолжал Гоголь, — начали бояться у нас европейской неурядицы, пролетариата... Думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землей?.. Какое же тут пролетариатство?.. Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою... Это что-нибудь да значит? Об этом-то и надо поразмыслить.

Анненков попробовал возразить, указав на то, что нынешние политические волнения в Европе — результат жестокости реакционных режимов, что и в России угнетение крестьян помещиками тоже может привести к смутам и озлоблению.

Гоголь недовольно слушал его и раздраженно ответил:

— В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются. Перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью...

— Но из пепла старой европейской цивилизации возникнет новый, справедливый порядок вещей. Европа укажет путь и России, — возразил Анненков, вытирая платком вспотевшую в споре шею.

— Вы ошибаетесь, — сухо заявил Гоголь. — Пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.

— Но ведь Россия отсталая страна, — пробовал спорить Анненков. — Крепостное право и остатки феодализма заглушают в ней развитие экономики и новых форм государственности.

— Вы не любите Россию, вы умеете печалиться и раздражаться только слухами обо всем дурном, что в ней ни делается... — укоризненно покачал головой Гоголь. — Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Нет у нас непримиримой ненависти сословья против сословья и тех озлобленных

партий, какие водятся в Европе. Теперь не на шутку задумались многие над древним патриархальным бытом. Нам следует лишь склонить правительство и дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам...

Гоголь говорил все это, как давно заученные фразы, не допуская никаких возражений. Это был какой-то начальнический, пастырский выговор. Худые бледные руки писателя судорожно подергивались, глаза блестели каким-то болезненным, фанатическим огнем. Вместо добродушного, насмешливого Гоголя, любящего шутку, острое смешливое словцо, перед Анненковым был совсем другой человек, какой-то проповедник на кафедре или фанатичный монах, с которым невозможно было вступать ни в какой спор.

Приняв таинственный вид, Гоголь сообщил Анненкову, что он задумал одно очень важное дело — издание своих писем к друзьям, которое должно раскрыть всем глаза на истинное положение вещей. Он собирается послать Плетневу из Швальбаха первую тетрадку этих писем, с тем чтобы тот подготовил их опубликование. Закончив это дело, он, наконец, сможет осуществить давно намеченную поездку в Иерусалим, а оттуда вернуться в Россию.

Задумчиво шагал Гоголь по мостовой, когда они возвращались в гостиницу. В черной шинели, с глазами, опущенными к земле, он был полностью поглощен своими мыслями и едва ли понимал то, что ему рассказывал Анненков. Наконец подошли к гостинице. Дилижанс уже был подан, в него запрягали лошадей.

— А вы что, остаетесь без обеда? — спросил Анненков.

— Да, кстати, хорошо, что напомнили! — очнулся Гоголь. — Нет ли здесь где кондитерской или пирожной?

Кондитерская оказалась рядом. Гоголь аккуратно выбрал десяток сладких пирожков с яблоками, велел их завернуть в бумагу и, захватив в гостинице свое имущество, направился к дилижансу.

Друзья еще немного постояли, пока не раздалась труба кондуктора, возвещавшая скорое отправление. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, тучному пожилому немцу, поднял воротник шинели, приняв выражение холодного, каменного бесстрастия. Карета тронулась.

Приехав в Швальбах, Гоголь засел за переписку черновиков и, подготовив объемистую тетрадь, отправил ее Плетневу. В письме к нему он сообщал: «Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, нужна всем — вот что покамест могу тебе сказать; все прочее объяснит тебе сама книга...»

Он кончил писать поздно вечером. Кругом сгущались сумерки. В незнакомом немецком городе было тихо. На ратуше отбивали печальным звоном большие старинные часы. До утра он не мог заснуть.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО

В начале января 1847 года вышла из печати книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Она появилась в самый разгар ожесточенных споров между западниками и славянофилами, накануне революции 1848 года, когда атмосфера всей Европы была насыщена ожиданием взрыва. Появление книги Гоголя вызвало в России целую бурю. Проповедь феодальной реакции, призыв к умиротворению, панегирическое восхваление религиозных начал, защита царизма и крепостнических отношений привели в негодование не только прогрессивно настроенные круги, но и близких друзей Гоголя из славянофильского лагеря.

Даже такой преданный почитатель Гоголя, как С. Т. Аксаков, решительно осудил книгу: «Увы! Она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все горестные опасения его друзей. Самое лучшее,

что можно сказать о ней, — назвать Гоголя сумасшедшим!» — сообщал он сыну. С гневным осуждением прочел книгу Белинский, горестно переживая измену любимого им писателя своим собственным взглядам, своим собственным произведениям. «Это — Талейран, кардинал Феш, — сказал Белинский, — который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану!»

Лишь представители реакции да религиозные фанатики приветствовали «Выбранные места». С восторженным письмом к писателю обратилась А. О. Смирнова: «Книга ваша, — писала она Гоголю, — вышла под новый год, любезный друг Николай Васильевич. И вас поздравляю с таким выступлением и Россию, которую вы подарили таким сокровищем». Экзальтированная Александра Осиповна выписала даже двадцать экземпляров книги Гоголя и раздала их чиновникам своего мужа-губернатора в надежде на чудесное исправление нравов его подчиненных.

Гоголь находился в это время в Неаполе, приютившись у сестры графа А. П. Толстого Софьи Петровны Апраксиной. Здоровье его улучшилось, и он с нетерпением ждал отклика на свою книгу, будучи уверен, что свершил, наконец, важное, давно приуготовленное ему дело. «Здоровье мое поправилось неожиданно, — писал он А. О. Смирновой из Неаполя, — совершенно противу чаяния даже опытных докторов. Я был слишком дурен, и этого от меня не скрыли. Мне было сказано, что можно на время продлить мою жизнь, но значительного улучшения в здоровье нельзя надеяться. И вместо этого я ожил, дух мой и все во мне освежилось. Передо мной прекрасный Неаполь и воздух успокаивающий и тихий. Я здесь остановился как бы на каком-то прекрасном перепутье, ожидая попутного ветра воли божией к отъезду моему во святую землю».

Однако это спокойствие и умиротворенность были скоро нарушены тревожными и грозными вестями из России, негодующими письмами не только противников и врагов, но и самых близких друзей. Таким

первым тяжелым испытанием явилось письмо С. Т. Аксакова, который сурово осудил своего недавнего кумира. В письме уже не было ни благодушного тона, ни любовного внимания, отличавших письма Аксакова к Гоголю. Это был приговор нелицеприятный: «Друг мой! — писал Сергей Тимофеевич. — Если вы желали произвести шум, желали, чтобы высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено... Но увы! Нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучения, которых образчик содержится в вашей книге... Вы глубоко и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и бога и человека».

Следующим ударом оказалась статья Белинского в «Современнике», содержавшая резкую оценку книги Гоголя, хотя в условиях цензурных препон критик мог говорить о ней лишь «эзоповским языком». Все это смутило Гоголя. Неужели он ошибся? Ведь он желал принести пользу, указать выход, предотвратить неминуемую катастрофу... Но получилось, что эта катастрофа прежде всего захватила его самого. Сергей Тимофеевич Аксаков, Белинский и многие другие отреклись от него, не поняли его побуждений, увидели в «Переписке» измену тому направлению, которому он служил прежде... Это поразило писателя, показалось сначала каким-то недоразумением.

В солнечном Неаполе, на берегу изумрудного моря, в сокровенной тиши уютной и безлюдной виллы Апраксиной, он вновь начинает оценивать свою книгу. Ханжеская елейность добрейшей Софьи Петровны, то и дело молящейся перед иконами, привезенными ею из России, лампадки, теплющиеся дрожащими огоньками, успокаивающие письма самого гра-

фа Толстого не утешали писателя. С горечью признается он в письме к Жуковскому, что появление «Выбранных мест» «разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому... Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее».

Но главные испытания были впереди. Через своего друга Прокоповича Гоголь посылает письмо Белинскому с ответом на его статью в «Современнике»: «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором номере «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося». Оправдываясь, Гоголь со смущением говорит: «Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять...»

Белинский находился в это время за границей на курорте в Зальцбрунне. Критик был тяжело болен. Он и сам знал, что обречен на смерть. Туберкулез, нажитый тяжелой, голодной молодостью, непосильным трудом, пренебрежением к своему здоровью, его обессилил. В Зальцбрунне он почувствовал себя немного лучше и уже собирался уезжать на родину, когда получил письмо Гоголя. Белинский жил в Зальцбрунне вместе с П. В. Анненковым, не оставлявшим ни на минуту больного друга. Анненков прочитал ему письмо. Белинский слушал совершенно безучастно и рассеянно. Лишь его впалая грудь дышала тяжелее обычного, иногда он кашлял сухим, раздражающим кашлем, его глаза глубоко запали, а крупный нос выдвинулся вперед. Кутаясь в теплый плед, он лежал на диване и, лишь услышав заключительные слова письма, резко побледнел и сказал задыхающимся голосом:

— Ах, Гоголь не понимает, за что люди на него сердятся?.. Надо растолковать ему это!

В тот же день в маленькой комнатке за круглым

столиком для игры в пикет Белинский принялся сочинять свое знаменитое письмо Гоголю.

В течение трех дней он работал над этим письмом, тратя на него последние силы. Он стал молчалив и сосредоточен. После чашки кофе он надевал летний сюртук и склонялся к столу, продолжая писать до самого обеда. Он набросал письмо сперва карандашом на клочках бумаги, затем переписал аккуратно набело и стал читать его Анненкову.

— «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса», — читал Белинский. Не стесняемый призраком цензуры, он мог, наконец, откровенно и прямо изложить свои мысли. Анненков даже с некоторым испугом слушал гневные, беспощадные слова. — «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге... Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека,* а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть... Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек...» — Белинский закашлялся и тяжело откинулся на спинку дивана. Платок, поднесенный им к губам, окрасился розовыми зловещими пятнами. Но неистовый Виссарион преодолел

эту физическую слабость. Громким, чуть хриплым голосом он продолжал: — «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма...»

Ослабев от усилий, он заключил чтение еле слышным голосом:

— «Если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить: новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние».

Потрясенный страстным, негодующим тоном письма, Анненков пытался указать на чрезмерную суровость этого приговора.

— А что же делать? — грустно сказал Белинский. — Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него!

Письмо Белинского Гоголь получил в конце июля 1847 года в Остенде, где он находился на морских купаньях. Незадолго до этого пришло известие о смерти Языкова, которое потрясло его и повергло в тоску.

Гоголь распечатал объемистый пакет с письмом, адрес которого был надписан рукою Анненкова. Он долго читал его в своей комнате. Вдалеке виднелось серо-голубое море, постепенно исчезавшее у горизонта. Молча, неподвижно сжав голову руками, он смотрел на белеющие листы бумаги. Еще и еще перечитывал эти пламенные строки, такие беспощадные, прямые, жестокие. Ему казалось, что кровь отлила от головы, что сознание его витает где-то в воздухе, что он умирает. И нет никого, кто бы мог ободрить его, сказать, что критик не прав! Неужели он все это время заблуждался, возомнил о себе? Его гордость сыграла с ним эту злую, трагическую шутку?

Лишь через неделю он опомнился. Он хотел оправдаться, примириться с человеком, который показал всем, какой убийственный смысл заключался в его злополучной книге.

Письмо Белинского жгло его душу, как расплавленный свинец. Каждое слово его наносило жестокий удар по самолюбию Гоголя, разрушало созданные им иллюзии. Ему казалось, что рушатся самые стены комнаты. Ведь он хорошо знал Белинского с его пылкой душой, сгорающего как свечка от роковой болезни и тем не менее нашедшего в себе силы выступить против него. Белинский упрекает его в защите кнута и самодержавия! Но разве он это хотел сказать своей книгой? Он хотел лишь предложить путь мира, примирения...

Несколько раз начинал он писать ответ. Но письмо получалось резким, обиженным, он говорил в нем о том, что у его критика «уста дышат желчью и ненавистью». Нет, не так надо ответить! Ведь вот снова гордыня и гнев душат его. А ответить следует спокойно, без гнева, постараться убедить Белинского, что тот не понял его. Наконец Гоголю показалось, что он нашел тот тон, который здесь нужен.

«Я не мог отвечать скоро на ваше письмо, — сообщал Гоголь Белинскому. — Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды». Свое поражение Гоголь объяснял отрывом от России, неосведомленностью о происходящем в ней: «Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь... А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, до

тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками».

Ему казалось, что внутри что-то порвалось: образовалась какая-то пустота, сомнение в правильности содеянного. Гоголь решил уделить больше времени чтению книг духовного содержания, перечесть снова Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина. Но все это не помогало. Нет, надо ехать в Иерусалим — помолиться у гроба господня. А оттуда на родину — посмотреть все своими глазами.

ИЕРУСАЛИМ

И вот мечта его жизни осуществилась. 20 января 1848 года небольшой, перегруженный пассажирами пароход «Капри» отчалил из Неаполя и взял курс на Мальту. Берега Италии оставались позади. Впереди раскрывались голубые просторы Средиземного моря.

Дольше нельзя было откладывать эту поездку. В Италии начались смуты и бестолковщина. Мессина, Катания восстали. Привезенную от короля индульгенцию мессинцы разорвали в клочья на глазах королевской гвардии. В Неаполе стало беспокойно и тревожно. Следовало также разобраться и в своем душевном состоянии. Оправиться после ударов, нанесенных Белинским, письмо которого до сих пор мучительно бередило сознание Гоголя. «Нет, не его дело поучать проповедью, — размышлял о себе Гоголь. — Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни».

Эти мысли не давали ему покоя. Может быть, путешествие, откладывавшееся год от года, внесет ясность в его сознание, утешит смятение его души? Может быть, там, у гроба господня, он найдет успокоение, найдет то, что ищет издавна?

Путешествие до Мальты оказалось очень тяжелым. Его сильно мучила морская болезнь, беспрерыв-

ная рвота, ему казалось, что он умирает. Наконец добрались до Мальты, где Гоголь остановился на несколько дней передохнуть и дождаться парохода, идущего в Константинополь. Из Константинополя в Смирну он отправился на пароходе «Махмудиэ», а из Смирны пересел на пароход «Истамбул», шедший к берегам Сирии, в Бейрут. По дороге он познакомился со случайными попутчиками — высоким и плотным генералом Крутовым в темно-синей шинели и с красной феской на голове. Генерал любил рассказывать все один и тот же анекдот про Наполеона, давно всем известный, но представлявшийся генералу очень смешным и остроумным и неизменно приводивший его в прекрасное настроение. Другим попутчиком был скромный, маленький попик в парусиновой ряске, из-под которой виднелись широкие серые шаровары. Реденькая, остроконечная бородка и бесцветные длинные волосы придавали попику какой-то несчастный и робкий вид. Он постоянно доставал из плетеной корзинки сушеную рыбку и молча, потихоньку ее жевал.

Самого Гоголя окружающие принимали за художника. Он был в белой поярковой шляпе с широкими полями и в итальянском плаще, называвшемся тогда «манто». Гоголь неохотно вступал в разговор, терпеливо и молча выслушивая докучливые рассказы генерала. Маленький попик кротко улыбался и редко вступал в беседу. Лишь подъезжая к Смирне, Гоголь принес на палубу и показал попику миниатюрную иконку Николая Мирликийского, написанную на дереве.

— Это копия с иконы моего патрона, покровителя всех посуху и по морям путешествующих!

Попик внимательно поглядел на иконку и заметил, что святитель изображен на ней в латинском облачении, не соответствующем православию. Гоголь огорченно промолчал, так как он высоко ценил эту иконку за ее художественное мастерство.

Наконец добрались до Бейрута. Там он встретился со своим старым гимназическим однокашником Базили, который служил русским генеральным кон-

сулом в Сирии. В уютном домике Базили, по-восточному построенном с прохладным садиком внутри, Гоголь отдохнул от тяжелого для него морского путешествия. Константин Михайлович Базили стал известным дипломатом, знатоком Ближнего Востока, женился на миленькой, молоденькой институточке и был совершенно счастлив. Вместе с Базили Гоголь и отправился в нелегкий путь через пустыни Сирии в Иерусалим.

В Иерусалим они ехали через Сидон и древние Тир и Акру, а оттуда через Назарет. Несмотря на январь, дорога через гористую пустынную местность была жаркой и утомительной. Бесконечные оранжево-красные пески, голые горы, поросшие редкими деревьями, одинокие деревни-оазисы, в которых их встречали смуглые арабские дети и закутанные в покрывала женщины, — все это проходило перед Гоголем как во сне. Подымаясь с ночлега еще до восхода солнца, они усаживались на мулов и лошадей и в сопровождении пеших и конных провожатых, растянувшись длинным поездом, шли через пустыню по морскому берегу. Море нередко омывало плоскими волнами лошадиные копыта. По другую сторону тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником. В полдень доходили до колодца, выложенного плитами водохранилища, осененного двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали, но бедный вблизи. И так до самого Иерусалима.

Выручал в дороге Базили. Он пользовался большим уважением среди арабов как представитель «великого падишаха». Зная местные нравы и обычаи, он доставлял Гоголю те небольшие удобства, которые были особенно существенны в восточных гостиницах. Их мягкие диваны всегда оказывались густо набитыми пылью и блохами, не дававшими ночью покоя. Однако жалобы Гоголя и его повелительный тон по

отношению к консулу показались Базили покушением на его авторитет и высокое официальное положение. Поэтому он просил приятеля не выражать своего неудовольствия в присутствии местного населения. Наконец приблизились к Иерусалиму. Гоголь с нетерпением ждал этого момента. Горы начали становиться дичее и обнаженнее, лиловый отлив скал нежно оттенялся зелеными полосами мхов. С высоты холма вдруг открылся Иерусалим. Небо было облачно, и он казался закутанным в серую дымку. Путники въехали в Вифлеемские, или Яффские, ворота и остановились около дома патриарха.

Наутро Гоголь увидел залитые солнцем узенькие кривые улочки, серые, сложенные из крупного камня дома, беспорядочную сутолоку восточного города, с его грязью, нищетой, живописной пестротой красок. Турки, арабы, разноязычные паломники — перемешались в толпе, куда-то стремящейся, многоголосой.

Наконец свершалось то, что так давно было задумано, казалось решающим в его жизни. Но как этот будничный, суетливый, бедный городок не походил на те пленительные образы и картины священного города Иерусалима, которые сыздавна рисовались в воображении писателя!

Он направился к гробу господню. При входе за ограду сидел, поджавши ноги, толстый турок. Он курил длинную трубку и играл в шахматы с другим сторожем. Огромные ворота были открыты настежь. Прежде всего Гоголь увидел на помосте камень, отделанный желтым мрамором и окруженный большими свечами, на котором, по преданию, положено было снятое с креста тело Иисуса. Неподалеку находилась погребальная пещера — вертеп, где помещался гроб господень.

Гоголь заказал литургию. Пещера была небольшая: туда нужно было входить нагнувшись, и в ней не могло поместиться более трех человек. Перед пещерой находилось преддверие — круглая комнатка такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем, превращенным в алтарь. Гоголь стоял один посреди пещеры: перед ним был

только священник, совершавший службу. Голоса диакона и хора доносились издалека, как будто с того света. Но Гоголь не смог найти слов для молитвы! Все было таким необычным и таким не похожим на его представление о совершающемся таинстве. И горбоносый священник с усталым, равнодушным лицом, и серые, прохладные стены пещеры, и доносящиеся снаружи голоса. Он не успел опомниться, как священник закончил службу и вынес ему чашу с причастием.

При выходе он увидел, как флегматичный страж порядка, прервав игру в шахматы, разгонял напиравшую за ограду толпу.

Все было не таким, как он представлял себе. Молитва не в силах была вырваться из его груди: он оставался бесчувственным, каким-то одеревеневшим. Его мечта потускнела.

Вспоминая свое путешествие, он писал священнику Матвею Константиновскому, с недавнего времени по рекомендации графа Толстого ставшему поверенным его дум: «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбие — вот весь результат».

Нет, не удалось его духовное паломничество, как не удалась и книга его поучений, вызвавшая лишь ожесточение и нападки. Может быть, это происки искусителя? Наваждение дьявольское? Гоголь отогнал от себя эту мучительную, больную мысль. Через несколько дней он направился в обратный путь — в Бейрут, а оттуда через Константинополь прибыл на родину, в Одессу, на пароходе «Херсонес». 16 апреля 1848 года «Херсонес» вошел в Одесский порт.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ



Конец пути

Мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России.

Н. Гоголь

ОТЧИЙ ДОМ

После томительных дней карантина в Одессе, когда пришлось сидеть в комнате за проволочной решеткой, Гоголь поспешил в Васильевку. Блудный сын, наконец, возвращался в свой отчий дом. Он вспомнил, с каким нетерпеливым ожиданием покинул его в рождественские дни 1829 года, когда торопился в столицу, мечтал о необычайной и прекрасной судьбе!.. С того времени прошло уже почти двадцать лет, но он не достиг того, к чему стремился. Все эти годы были годами испытаний, разочарования, бесконечных странствий и душевных блужданий!

Флегматичный возница подгонял неторопливо бегущую маленькую лохматую лошадку. Зеленела

молодой травой бескрайная степь. Гоголь спешил: ему хотелось приехать домой в день своих именин. Нарочным из Полтавы он предупредил уже о своем прибытии.

К Васильевке подъехали только к вечеру. Стало безотчетно грустно при виде давно покинутых мест. Деревья в прилегающей к Васильевке роще одни разрослись, другие были вырублены. Гоголь остановил возницу и отправился один по стежке позади церкви, ведущей к дому, по которой когда-то любил ходить.

Запыленный, в дорожном плаще, Гоголь вошел в дом. Мать, сестры и несколько соседей встретили его в гостиной. Мария Ивановна обняла сына и расплакалась. Как он переменился! Еще больше похудел со времени их последней встречи в Москве. Грустный, задумчивый взгляд, какая-то напряженная сдержанность, строгость огорчили ее. Сама Мария Ивановна мало изменилась. Без малейшей седины, с румяными щеками и чуть заметными усиками над верхней губой. В ней чувствовались жизненная энергия, бодрость, добродушие. Сестры во многом изменились. Это были уже не те наивные, неуклюжие девочки, которых он оставил, а взрослые барышни, немного кокетливые, самолюбивые, по-провинциальному конфузливые. Они робко подошли к старшему брату и поцеловали ему руку.

Умывшись после дороги, Гоголь сел за именинный стол. Разговор не вязался. Слишком много прошло времени с момента разлуки, слишком много было пережито. На вопросы о его поездке в Иерусалим он неохотно отвечал:

— Можете прочесть «Путешествие в Иерусалим» Норова. Там все описано!

Наступило молчание. Именинный вечер явно не удался. Никоша говорил неохотно, поучительно, словно позабыв те веселые анекдоты и шутки, которыми раньше он так смешил домашних.

Поместился он теперь не в самом доме, а во флигеле направо от него. Это было низенькое продолговатое строение с крытой галереей, выходившей на

двор. Из сеней был вход в просторную комнату, а отсюда в гостиную. Кабинет был расположен в другом конце флигеля и имел особый выход в сад. Здесь больше всего и проводил времени Гоголь, являясь домой только к обеду и вечернему чаю. В кабинете стояла простая деревянная кровать. Рабочий стол помещался между печью и кроватью у забитой лишней двери. Это была конторка на высоких ножках из грушевого дерева, с косой доской, обитой кожей. По стенам висели старинные литографии — портреты Екатерины, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображавшие рыночные и рыбачьи сцены.

Гоголь вставал рано. В воскресные дни он по утрам ходил в церковь, а в будни принимался за работу. Напившись кофе, он до обеда гулял.

На конторке лежали в беспорядке листки бумаги, испещренные неровными каракулями. Когда ему не писалось, он нацарапывал на них какие-то фигуры, чаще всего готические соборы и колокольни. Гоголь вновь обратился к своей поэме. Он понял свою ошибку. Не его делом было выступать со словом проповеди. Он еще не готов сам для этого. В живых образах поэмы он покажет то, о чем не сумел просто и ясно сказать в своих письмах. «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства, — напряженно думал Гоголь. — У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности...» Он напишет теперь книгу, в которой будет пахнуть Русью. «Предмет у меня всегда был один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а ни что другое».

Эти мысли придавали ему уверенность. Из неясного тумана возникал давно привычный ему образ Чичикова, увертливого, льстивого, жуликовато-предприимчивого. Он должен измениться под тяжестью испытаний, приложить свою энергию к доброму и полезному делу. Гоголь вспомнил про своего хорошего знакомца Нащокина, близкого друга Пушкина. Добрейший и безвольнейший Павел Воинович, один из первых московских богачей, теперь вконец разорился.

Ему не на что стало жить после всяких нелепых затей и причуд, на которые он растратил свое состояние. Вот тоже живой образ, который надо включить в свою поэму, показать путь его перерождения.

А другой его знакомец — умный и умелый делец Бенардаки! Вот человек, который сумел совместить в себе понимание новых требований времени с исконными основами русской жизни! Да, всех их надо вывести в поэме, но так, чтобы это были не личности, а образы, которые всякий узнал бы и запомнил.

* * *

Герои поэмы снова приблизились к нему. Он видел их лица, их походку, их одежду, их манеру держать себя. Правда, ему надо снова познакомиться с Россией: многое он забыл, многое изменилось. Следует еще поездить, своротить с дороги внутрь Руси, чтобы освежить свою память и набраться нужных материалов! Надо спешить, здоровье его шатко, может быть, уже немного дней определено ему свыше.

Гоголь тревожно задумался. Достал лист чистой бумаги и сел писать письмо Жуковскому, который, как никто, поймет его состояние. «Что можем выдумать теперь для нашего земного благосостояния или обеспечения себя, или обеспечения близких нам, — писал он Жуковскому, — когда все неверно и непрочно и за завтрашний день нельзя ручаться?.. Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно песнь даже в ту минуту, когда бы валился мир и все земное разрушалось. Умереть с пеньем на устах — едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках».

Работа шла медленно. Образы поэмы еще не прояснились до конца. Да и все вокруг не способ-

ствовало его занятиям. Стояли такие сильные жары, что земля высохла и потрескалась. Гоголю вспомнились дороги Сирии, выжженные палящим солнцем. Кругом свирепствовала холера и погибали сотни людей. Хлеб не удалось собрать, и на полях бродили женщины и дети и обрывали руками редкие низкие колоски. Пять человек умерло в самой Васильевке. В доме царила тоска, все ходили подавленные и испуганные.

После обеда в общей гостиной Гоголь раскрашивал библейские картинки и просил сестер раздавать их крестьянам, рассказывая о том, что на них изображено. Его интересовала жизнь народа, и он нередко ходил на поля и в Яворивщину, приглядываясь к быту крестьян.

Как-то раз он предложил сестре Лизе пойти вместе с ним посмотреть, как живут мужики. Зашли в первую же хату и застали там румяную, красивую молодицу. Она радушно попросила их сесть на лавку и принялась жарить яичницу.

— А мени цю ничь приснилось, что в мою хату влетели дви птычки!

Гоголь, чтобы не обидеть ее, немного поел. Зашли в другую избу, а там в сенях пусто, хата не прибрана. Он не захотел там оставаться и на обратном пути говорил сестре:

— Надо трудиться и стараться, чтобы у всех все было!

Ему хотелось помочь крестьянам в это трудное, неурожайное лето. За прудом раскинулся большой запущенный сад. Там не было даже дорожек. Гоголь принялся прокладывать в нем аллеи, нанимал работников и платил им за это деньги. Как только всходило солнце, он переезжал на плотике на другую сторону пруда и возвращался к утреннему завтраку. Он пытался вмешаться и в ведение хозяйства, выговаривая матери за ненужную расточительность, за постройку каменного пола в церкви, обошедшегося чуть ли не в тысячу рублей. Долго корил он Марию Ивановну за ее хлопоты о проведении через Васильевку проезжей дороги.

— От этого, добрейшая матушка, — недовольно говорил он, — только новые повинности, новые заботы и разврат, присутствующий всегда в деревнях, находящихся на больших дорогах. Всякая проезжая сволочь будет подущать и развращать мужиков, которые, слава богу, до сих пор еще нравственнее других.

Ему было скучно и тягостно в родном гнезде. Мелочные заботы и огорчения матери, как и прежде целыми днями хлопотавшей по хозяйству. Ее озабоченность, ее тревожные взгляды, украдкой бросаемые на сына, скучающие, настороженные лица сестер, боявшихся чем-нибудь прогневить или обеспокоить брата, наезды соседей-помещиков, с нескрываемым любопытством глядевших на него, как на заморское чудо, — все это стесняло и раздражало Гоголя.

Ему захотелось скорее уехать отсюда. В Москве друзья, которые понимают его: Аксаковы, Погодин, Шевырев. Неподалеку Александра Осиповна — калужская губернаторша. Милая богобоязненная старушка, его названая мать Шереметьева. А здесь нестерпимая жара, какой не было и в Палестине, холера, тревожная скука, скрытая напряженность. Сестрам хотелось бы новых платьев, мать мечтает о проезжей дороге, хозяйство приносит одни убытки и неприятности, денег неизменно не хватает... Нет, он не останется здесь, уедет.

Наконец назначен и день отъезда — 24 августа. По дороге он еще заедет только к старому другу — Саше Данилевскому, который живет неподалеку от Сорочинец и наслаждается семейной жизнью.

На прощание Гоголь оживился. Когда все собрались в большой гостиной, он появился нарядно одетым, в цветном, словно змеиная кожа, жилете, тщательно причесанный и надушенный.

— А ну-ка, — обратился он к младшей сестре Ольге, — сыграй мне «Чеботы»!

Ольга села за фортепьяно и стала играть ему украинские песни, а Гоголь слушал, притопывая ногой и подпевая.

На другой день все встали рано утром.

Лиза пришла в кабинет помочь брату укладываться. Он, слегка ссутулясь, сидел на кровати и укладывал свой чемоданчик, неизменно сопровождавший его в пути. В Сорочинцы поехали в двух экипажах: полдороги с братом ехала Анета, а затем Лиза. Там все распрощались. Сквозь слезы смотрели сестры на удалявшийся по пыльной дороге экипаж, в котором виднелась небольшая, сгорбившаяся и тонкая фигура Гоголя.

Впереди лежала гладкая, сожженная солнцем степь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

12 сентября 1848 года Гоголь приехал в Москву. Он остановился на Девичьем поле у Погодина. Оба они постарались забыть те недавние недоразумения, которые ожесточили их друг против друга.

— Вот ты нагрубил, или, лучше, обругал меня, в своей книге перед лицом всей России, — с горечью заметил Погодин при встрече, — да я и то снес! Значит, что я горд или добр? В твоей книге мне указали места, касающиеся меня. Я готов был плакать.

— Мой добрый и милый Михаил Петрович! — оправдывался Гоголь. — Я знал, что ты не будешь сердиться.

— Ты тогда напрасно обиделся за помещение твоего портрета в «Москвитянине», — оправдывался Погодин. — Я никак не мог этого предполагать! Я думал даже сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое.

— Ты огорчился и, может быть, доселе огорчен, — примирительно сказал Гоголь, — а я обрадовался и доселе рад. Обрадовался тому, что с этой минуты поселилась у меня к тебе такая любовь, какой никогда не было! И мне кажется, что дружба наша с этих пор только начинается, а до того был один обманчивый призрак...

Этим объяснением с ссорой было покончено.

Через несколько дней Гоголь выехал в Петербург. «Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколь-

ко-нибудь узнать, что такое делается на нашем свете! В Москве сейчас почти никого нет. Все сидят по дачам и деревням!» — заявил он Погодину, удивленному его неожиданным отъездом.

В Петербурге Гоголь встретился с Прокоповичем, в окружении его большой семьи, с Плетневым и приехавшим из-за границы Анненковым.

Но особенно часто он бывал у Вьельгорских. Его привлекала там младшая из сестер — Анна Михайловна, волновавшая и тревожившая Гоголя своей молодостью, наивным и чистым девическим расцветом своей души, своей жизненной неискушенностью. В чопорном, светском доме Вьельгорских она казалась такой простой, непосредственной. Встречаясь с нею, Гоголь чувствовал незнакомое ему волнение, ему хотелось опекать ее, отдалять от всего дурного. Однако он скрывал свое волнение и говорил с нею сухо, поучительно, менторским тоном. Он сокрушался состоянием ее здоровья, ее хандрой, ее одиночеством и в то же время ревновал ее к свету, к той полной довольства и веселой праздности жизни, которая была уделом ее круга.

— О здоровье вновь вам инструкция, — говорил он поучительно и строго. — Ради бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба... Старайтесь ложиться спать не позже одиннадцати часов, — объяснял он ей, словно врач пациентке. — Не танцуйте вовсе. Да вам же совсем не к лицу танцы! Ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой! Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородство душевное. Нет у вас этого выражения — вы становитесь дурны.

Бедная Анна Михайловна смущалась, краснела, не знала, что ответить этому странному человеку, полному непреложной уверенности в себе и в то же время несчастному и одинокому, гениальному и беспомощному в одно и то же время. Она его глубоко уважала и даже жалела, но он оставался для нее чем-то вроде священника или врача.

Гоголь, узнав, что граф Соллогуб предложил своей молодой снохе читать лекции для ознакомления ее с современной литературой, обещал Анне Михайловне и свои услуги:

— Мне хотелось бы только, чтобы наши лекции начались вторым томом «Мертвых душ»! После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: «Он знает точно русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство!»

Смущенная, растерянная девушка не могла найти ответа на эти рассуждения. Гоголь, казалось, говорил сам с собой.

Частые посещения дома Вьельгорских не прошли незамеченными. Луиза Карловна встречала его все холоднее и официальнее. Анна Михайловна оставалась в своей комнате и выходила, робеющая и неразговорчивая, только к чаепитию. Граф Михаил Юрьевич подавал ему руку с таким величественным видом, словно оказывал величайшее снисхождение.

Через Прокоповича его пригласил к себе преподаватель русской литературы в кадетском корпусе Комаров, приятель недавно скончавшегося Белинского. Гоголь дал согласие, попросив позвать несколько петербургских литераторов, чтобы с ними познакомиться. К девяти часам у радушного и хлебосольного хозяина собрались приглашенные. Пришел Гончаров, с тяжелой, гладко причесанной головой, несколько слишком грузный для своего возраста. Вместе с расфранченным И. И. Панаевым, напоминавшим беззаботного фланера с парижского бульвара, пришел молодой поэт Некрасов, лишь недавно получивший известность в литературных кругах своими суровыми, сильными стихами, а главное — изданием «Петербургского сборника», заинтересовавшего и Гоголя. Появился и изящный, с тщательно расчесанными кудрями автор «Антона Горемыки» — Григорович вместе с Анненковым и критиком Дружининым. На столе был накрыт роскошный ужин.

Но Гоголь не появлялся. Его ждали до десяти часов и, наконец, сели за стол. Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет. Бегло взглянув на всех, он подал руку знакомым, отправился в соседнюю комнату и разлегся там на диване.

Он говорил мало, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость. В комнате царило принужденное молчание. Гости не решались снова сесть за стол. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. С Панаевым Гоголь был знаком раньше. Гоголь несколько оживился, побеседовал с каждым из них об их произведениях, хотя заметно было, что многого он не читал. Потом заговорил о себе, упомянул о своих письмах, выражая сожаление, что они изданы, так как писал он их в болезненном состоянии.

— Когда по возвращении я пробежал сам свою книгу, я был испуган ею. Не мыслями и не идеею, а той чудовищностью и тем излишеством, с которым многое было выражено. Я вообразил себе, что достигнул высших степеней и открыл вещь неизвестную...

В конце разговора Комаров попросил Некрасова что-нибудь прочесть. Некрасов встал и прочел нараспев чуть сиплым, приглушенным голосом:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

Некрасов прервал чтение и закашлялся. Гоголь неподвижно сидел на диване, и по его лицу нельзя было понять, нравятся или нет ему стихи. Когда Некрасов кончил, он спросил только:

— Что же вы дальше будете писать?

— А что бог на душу положит! — хмуро ответил Некрасов.

Присутствующие пожаловались на трудные вре-

мена, на преследования цензуры и правительственные мероприятия, не дающие возможности развиваться литературе. Гоголь заявил, что это не может долго длиться, а за это время надо тихо и не торопясь подготовить ряд серьезных работ. Некрасов беспокойно поежился, сжал свои по-крестьянски большие руки и вполголоса произнес:

— Хорошо, Николай Васильевич, но ведь за это время надо еще и есть.

Гоголь удивленно посмотрел на него и сказал:

— Да, вот это трудное обстоятельство.

От ужина Гоголь, к великому огорчению хозяина, отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя на столе были всевозможные вина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильевич? — с отчаянием спросил Комаров.

— Ничем, — отвечал Гоголь, потирая свой подбородок, — впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги!

Как раз именно малаги и не оказалось в доме. Было уже около часа ночи, и погреба все заперты. Хозяин разослал своих домашних для отыскания малаги. Но Гоголь через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут малагу, — умоляюще воскликнул Комаров, — подождите немного.

— Нет, уж мне не хочется, да и поздно, — отнекивался Гоголь.

Все-таки малагу принесли. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря на все просьбы хозяина.

Тем и кончилась эта встреча с петербургским литературным миром. Через несколько дней Гоголь оставил Петербург и возвратился в Москву, к Погодину.

Гоголь занял опять свои прежние апартаменты вверху на галерее, перенес туда портфель с рукописями, и жизнь, казалось, пошла по-прежнему. По вечерам они сходились в кабинете хозяина, загроможденном чуть ли не до потолка рукописями, и беседовали. Погодин расспрашивал Гоголя о его впечатлениях от России.

— Все так странно, так дико, — задумчиво отвечал Гоголь. — Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и бог попустил это ослепление. Я нахожусь точно в положении иностранца, приехавшего осматривать новую, никогда дотоле не виданную землю. Его все дивит, все изумляет и на каждом шагу попадается какая-нибудь неожиданность!

Разговор перешел к положению на Западе, о революциях в европейских странах, отзвуки которых доходили до Москвы.

— Я слышал в Петербурге от Анненкова, который был очевидец парижских происшествий, — заметил Гоголь. — Все, что рассказывает он, просто страх: совершенное разложение общества. Тем более это безотрадно, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем чтобы быть только убиту.

Они еще долго беседовали о нынешнем времени, о русском человеке, об общих знакомых. Погодина поразила, однако, какая-то отчужденность Гоголя, его равнодушие к окружающему, устремленность в сферу лишь своих мыслей и ощущений. Придя в спальню, он тонким неразборчивым почерком записал в своем заветном, тщательно спрятанном дневнике: «Думал о Гоголе. Он все тот же. Только ряса подчас другая. Люди ему нипочем». Но Погодин был не прав. При всей своей отрешенности Гоголь не стал равнодушен к людям. Он только думал об их благе не в здешней земной юдоли, а в каком-то идеальном мире божественного христианского преображения, их духовного усовершенствования.

В честь пребывания Гоголя в Москве Погодин решил торжественно отпраздновать день своего рождения — 11 ноября. Приглашенные должны были явиться во фраках и белых галетуках. Погодин позвал как своих старых знакомых, так и лиц высокого официального положения: попечителя Московского учебного округа князя Г. Щербатского, П. Новосильцева. Обед прошел чопорно и скучно. Гоголь был молчалив.

Среди присутствующих был генерал М. Н. Муравьев, впоследствии получивший печальную извест-

ность как беспощадный усмиритель польского восстания. Хозяин представил ему Гоголя, шутливо заметив: «Рекомендую вам моего друга хохла Гоголя». Гоголь обиделся этой фамильярной рекомендации и на слова Муравьева: «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами», резко ответил: «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастие, потому что я человек больной и слабый». Муравьев растерялся, а Гоголь ушел в свою комнату. Праздник явно не удался. В своем дневнике Погодин с сожалением отметил: «Гоголь испортил, и досадно».

В Москву возвратились Аксаковы. Гоголь сразу же к ним отправился. После шестилетней разлуки и суровой оценки, которую вызвала у Аксаковых его книга, Гоголь боялся неловкости этой встречи. Однако и Сергей Тимофеевич и все его семейство встретили Гоголя с прежним радушием. Сергей Тимофеевич постарел, стал плохо видеть, но его проницательные глаза, его благодушная улыбка, его окладистая борода не изменились. Они крепко обнялись по русскому обычаю, трижды крест-накрест расцеловались и уселись в уютном кабинете, так же как сидели шесть лет тому назад.

Пришел и Константин Аксаков, повзрослевший, в русском, купеческого покроя кафтане, с волосами, стриженными под горшок. Константин не выдержал и первым начал объяснение:

— Необходима полная откровенность, Николай Васильевич!.. Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Во всем, что вы писали в вашей книге, я вижу прежде всего один главный недостаток — это ложь! Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собой.

Гоголь насупился, помрачнел и стал оправдываться. Он любил Константина и знал его горячую искренность и прямоту.

— Неужели вы думаете, что и в ваших суждениях о моей книге не может также закрасться ложь? — огорченно возразил он. — В то время когда я издавал свою книгу, мне казалось, что я ради одной исти-

ны издаю ее, а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того и с вами?

Аксаковы были поражены примирительным ответом Гоголя. Константин бросился к нему на шею и чуть не задушил в объятиях. Все повеселели.

Гоголь достал из кармана рукопись и заявил:

— Я порадую вас новым подарком Жуковского. Это его перевод «Одиссеи». Она есть решительно совершеннейшее произведение всех веков.

И он стал читать нараспев, выделяя гласные и скандируя ритм гекзаметра. Все с восхищением слушали его мастерское чтение. Гоголь прочел первую главу до конца.

— Здесь-то увидят наши писатели, — заключил Гоголь, — с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте.

Константин Сергеевич не согласился с ним. Сергей Тимофеевич его поддержал:

— Жуковский переводит с подстрочных переводов. Он смешал простоту языка с современной обыденностью! — сказал Сергей Тимофеевич.

Гоголь обиделся и запротестовал. После этого он приходил каждый раз с «Одиссеей» и читал ее Аксаковым, пока не прочел до конца.

Начались заморозки. В доме Погодина стало холодно. Он боялся много топить, так как в его библиотеке хранилось теперь огромное количество ценнейших исторических документов и материалов. Гоголь решил переехать к графу А. П. Толстому. Александр Петрович давно звал к себе и обещал удобно устроить.

На рождество Гоголь перебрался к графу, который арендовал двухэтажный дом на Никитском бульваре, поблизости от Арбатских ворот. Это был большой старый дом, построенный в ампирном стиле еще в начале века. Во втором этаже помещался сам А. П. Толстой, а в первом две комнаты направо от входа занял Гоголь.

В КАЛУГЕ

Гоголь стоял за конторкой и писал. Наконец смутные образы, роившиеся в его сознании, приобретали форму, наполнялись плотью и кровью. Правда, добродетельные герои еще не совсем стали ясны, почти все действующие лица оставались «героями недостатков», и даже Чичиков никак не хотел перерождаться. Гоголь шутливо сообщал Жуковскому, что «скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования». Еще много пути предстоит его героям, прежде чем они дойдут до конца.

Комната, несмотря на летнее время, была тепло натоплена. В ней чувствовался слабый запах ладана, как и во всем доме. Граф Александр Петрович часто служил на дому молебны. Большая комната была устлана зеленым ковром, с двумя диванами по стенам. Кафельная печь с топкой заставлена экраном из цветной тафты. В углу дверь, которая вела в меньшую комнату — спальную. Посреди кабинета стоял большой стол, покрытый темно-зеленым сукном, перед диваном — второй, круглый. Оба стола завалены книгами, лежавшими кучками одна на другой. «Христианское чтение», «Начертание церковной библейской истории», «Быт русского народа» Сахарова, греко-латинский словарь, библия, молитвослов перемешаны были с сочинениями Батюшкова, номерами журналов «Москвитянин» и «Современник». В углу висел образ Христа, перед которым день и ночь теплилась лампадка.

В дверь постучали. Гоголь прикрыл написанное бюваром и сказал:

— Войдите!

Вошел слуга Семен, молодой парень, приехавший с ним из Васильевки.

— До вас, пане, прийшлы, — торжественно доложил он.

Пришедшим оказался Лев Иванович Арнольди, сводный брат Александры Осиповны, который служил чиновником в Калуге под начальством ее мужа.

Он оказался довольно щеголевато одетым молодым человеком, жизнерадостным и благодушным.

Смуглый цвет лица и тонкий профиль напоминали наружность его сестры. Арнольди представился Гоголю, который видел его впервые, и сообщил ему, что Александра Осиповна прибыла из Калуги в Москву. Она остановилась в гостинице «Дрезден» и ждет его к себе. Гоголь взял серую пуховую шляпу и палку и направился вместе с Арнольди к Александре Осиповне.

— Дорогой друг! — радостно приветствовал он ее. — Теперь я, кажется, знаком с обоими вашими братьями!

Разговор перешел на состояние ее здоровья. Александра Осиповна последнее время сильно недомогала. Расходились нервы, ей стало казаться, что она скоро умрет. Боязнь надвигающейся старости и одиночество в провинциальной глуши превратили ее в набожную богомолку. Даже от своих многочисленных, подчас мнимых, болезней она лечилась чтением проповедей и старательным выполнением православных обрядов. Александра Осиповна рассказывала, что она настолько физически ослабла, что ее водят под руки, самой ей даже трудно читать.

— Тяжело мне жить на свете. Голова плоха, нервы ничто не успокаивает, — жаловалась она Гоголю.

— Много бы я заплатил за то, чтобы успокоились ваши нервы и вы бы отдохнули хоть на время! — утешал ее Гоголь, советуя молиться и уповать на милость господню.

— Во время болезни моей сильно молились обо мне некоторые добрые души. Теперь с каждым днем заметно укрепляюсь.

Александра Осиповна просила рассказать об его поездке в Иерусалим.

— Теперь уже поздно, — ответил Гоголь, — вам пора и на отдых. Лучше когда-нибудь в другой раз. Скажу вам только, что природа там нисколько не похожа на все то, что мы с вами видели: она поражает вас своим великолепием.

На другой день Александра Осиповна приехала к Гоголю на Никитский бульвар вместе с братом. На конторке лежала рукопись, которую Гоголь тщательно прикрыл от посторонних глаз.

— А как ваши «Мертвые души», Николай Васильевич? — спросила Смирнова.

— Да так себе, подвигаются понемногу. Вот приеду к вам в Калугу, и мы почитаем. Я вернулся в Москву с тем, чтобы засесть за них. С их окончанием у меня соединено все, даже средства существования. А то я, как видите, живу у друзей и не плачу ни копеечки!

— Скоро ли закончите? — настаивала Александра Осиповна.

— Сначала работа шла хорошо, — хмуро ответил Гоголь. — Часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова, не стало благодатного настроения и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело.

Александра Осиповна стала уговаривать Гоголя не поддаваться дурным настроениям, ехать с нею вместе в Калугу и там отдохнуть.

Они условились, что Гоголь поедет в Калугу с Арнольди вслед за Александрой Осиповной, так как ей необходимо было срочно возвращаться. В назначенный день Гоголь явился к Арнольди с маленьким чемоданом и большим портфелем, в котором он всегда возил свои рукописи. Подали легкий, удобный тарантас. Гоголь был доволен экипажем и уверял Арнольди, что в телегах и тарантасах ездить очень здоро́во, особенно людям, подверженным ипохондрии и геморрою.

Когда отъехали от Москвы и тарантас легко покатил по прямому, вытянутому, как лента, шоссе, Гоголь словно переменился. От его сдержанности и угрюмого молчания не осталось и следа. Он стал весел, непрестанно смеялся, острил, рассказывал анекдоты. Снял свою серую шляпу и камлотовый плащ, наслаждаясь теплым июньским вечером, вдыхая свежий воздух полей. Тарантас подъезжал уже к Малоярославцу, когда ямщик остановился и спрыгнул с козел. «Тарантас сломался, — хладнокровно заявил ямщик. — Одна дрога треснула, да заднее колесо не совсем-то здорово...» Кое-как дотащились до станционного дома. Там тарантас окружи-

ла толпа ямщиков, и каждый почел своим долгом осмотреть дрогу и колесо и подать совет. Гоголь внимательно ко всему прислушивался и разглядывал коварное колесо.

Пока искали кузнеца и чинили тарантас, путешественники пошли пообедать в трактир. Они поднялись по лестнице в особый нумер. Гоголь заказал обед, выдумал какое-то блюдо из ягод, муки и сливок, которое оказалось вовсе не вкусным. За обедом он все время беседовал с половым, расспрашивал, откуда тот родом, сколько получает жалованья, кто его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир, какое кушанье больше любят чиновники в Малоярославце и какую водку употребляют, хорош ли у них городничий? Он расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен бойкими ответами полового, который лукаво улыбался и сплетничал на славу.

Наконец тарантас подкатил к крыльцу, и путники, простившись с шоссе, поехали по большой калужской дороге. Гоголь по-прежнему находился в прекрасном настроении. Он часто останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок. Потом садился и подробно рассказывал своему спутнику, какого класса, рода этот цветок, каково его лечебное свойство, как он называется по-латыни и как его называют крестьяне. Окончив свой трактат, он втыкал цветок перед собой за козлами тарантаса и через пять минут бежал за другим и снова объяснял его свойства и происхождение. Вскоре в тарантасе образовался целый цветник. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности хотел знать свойства растений.

— Терпеть не могу, — прибавил он, — все эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники, которые теперь не в моде, но в сто раз лучше объясняют нам дело.

Заночевали в деревне Бегичево, принадлежавшей Смирновым. Здесь провели четыре дня, ездили на линейке в имение Гончаровых, где бывал Пушкин, ходили за грибами и на сенокос. На пятый день добра-

лись до Калуги. Проехав мимо присутственных мест, гостиного двора, мужской гимназии, они очутились на окраине города, где над крутым обрывом находился губернаторский дом. С обрыва виднелся далеко темнеющий бор и раскинувшаяся изумрудным ковром долина речки Яченки, впадающей в Оку. Вправо от бора видны были главы Лаврентьева монастыря.

Гоголь поместился вместе с Арнольди во флигеле, в двух смежных комнатах. По утрам он запирался у себя и писал, потом гулял по саду и являлся в гостиную перед самым обедом. После обеда до вечера он оставался с Александрой Осиповной и ее домашними, гулял с нею или беседовал. С чиновниками и их женами Гоголь знакомился неохотно, а они смотрели на него с любопытством и удивлением. Особенно поражали его туалеты. Вдруг он приходил к обеду в ярких желтых панталонах и светло-голубом жилете. Иногда же одевался во все черное, а на другой день вновь появляясь в ярком сюртуке и в белой как снег рубашке с золотой цепью на жилете.

— В праздники надо одеваться более торжественно, — шутя говорил он Александре Осиповне. — В праздники все должно отличаться от будней: сливки к кофе должны быть особенно густы, обед очень хорошим, за обедом должны сидеть председатели, прокуроры и всякие этакие важные люди, и самое выражение лиц должно быть торжественно.

В одно из воскресений Гоголь расфрантился с утра и сообщил Александре Осиповне, что прочтет ей свои сочинения. К одиннадцати часам на балконе, выходившем на обрыв, собрались Гоголь, Александра Осиповна и Арнольди. Александра Осиповна уселась за пяльцы, Гоголь открыл свой портфель и достал рукопись. Началось чтение.

Он прочел первую главу второго тома — о приезде Чичикова в имение Тентетникова, этого «небокоптителя», ушедшего в сельское безделье. Здесь же сообщалось и о его любви к дочери генерала Бетрищева Улиньке. Завершалась глава предложением Чичикова поехать к генералу Бетрищеву и уладить

ссору, возникшую между ним и Тентетниковым. На следующий день Гоголь читал вторую главу. Слушателям запомнилась встреча Чичикова с Бетрищевым, игра их в шахматы, во время которой генерал все время ошибался и говорил: «Полюби нас беленькими, а черненькими нас всякий полюбит!» Чичиков каждый раз учтиво поправлял генерала: «Полюби нас черненькими...» Чичикову удалось втереться в милость генерала и примирить его с Тентетниковым. Несколько дней подряд Гоголь читал все новые и новые главы, в которых рассказывались дальнейшие похождения и встречи Чичикова.

Слушатели были зачарованы живой, красочной речью, наглядностью описаний и образов. Опять перед ними возникли угодливо-предупредительный и изворотливый Чичиков и галерея помещиков, по имениям которых тот разъезжает. Здесь и хлебосольный мот, заплывший жиром Петух, беспечно проедающий свое имение. Здесь и «западник», полковник Кошкарев, который считает, что если одеть русских мужиков в немецкие штаны, то в России настанет золотой век. Но главное место занял в поэме Костанжогло, совмещавший в своем лице просвещенного помещика и фабриканта. Костанжогло поучает Чичикова уму-разуму, отстаивая сочетание патриархальных начал с новыми экономическими способами ведения хозяйства. Фигура Костанжогло, однако, получилась слишком безжизненной и бледной. Но остальные помещики по силе изображения не уступали героям первого тома.

Затем следовала поездка Чичикова вместе с Тентетниковым на обед к генералу Бетрищеву, описание этого обеда, ознаменованного полным примирением. Рассказ Тентетникова об истории Отечественной войны, которую он якобы писал по словам Чичикова. В результате Тентетникову удается добиться согласия генерала на женитьбу на Улиньке, и Чичиков посылается к родственникам Бетрищева, чтобы известить их о помолвке.

Большое впечатление произвело на слушателей описание сада, в котором счастливый Тентетников переживает свою радость. Гоголь передавал голос

каждого персонажа, его манеру разговаривать, даже, казалось, походку и движения своих героев.

Окончив чтение, он откинул опустившиеся на лоб волосы, спрятал рукопись в портфель и обратился с вопросом:

— Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?

— Удивительно, бесподобно! — восторженно воскликнул Арнольди. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе!

— Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась? — спросил довольный эффектом чтения Гоголь.

— По правде говоря, — добавил Арнольди, — мне показалось, что Улинька вышла лицом немного слишком идеальным, незаконченным.

— Может быть, и так, — миролюбиво согласился Гоголь. — В последующих главах она выйдет у меня рельефнее! Я вообще не совсем доволен: еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее.

Александра Осиповна ласково улыбнулась и внимательно посмотрела на Гоголя.

— Как жаль, что вы так мало пишете о Тентетникове, — сказала она. — Улиньку немного сведите с идеала и дайте работу жене Костанжогло. А впрочем, все хорошо! Пожалуйста, скорее кончайте, а то ожидание очень томительно!

Вскоре после этого чтения Гоголь заторопился в Москву. Ему, как всегда, не сиделось на одном месте. В это время проездом через Калугу возвращался в Москву князь Оболенский. Гоголь живо уложил чемоданчик, заключавший все его достояние, взял портфель и уселся с Оболенским в дормез, предварительно поместив портфель в самое безопасное место. Скверная дорога мешала сну, и Оболенский пытался выведать у Гоголя содержание его рукописи, хранившейся в портфеле. Гоголь, по своему обыкновению, отклонял разговор, объясняя, что ему предстоит еще много труда, но черновая работа готова и к концу года он надеется кончить, если силы ему не изменят.

К утру путешественники остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь захватил с собой и портфель. Это он делал каждый раз на всех остановках. Веселое расположение духа не оставляло его. На станции Оболенский нашел штрафную книгу и прочел вслух жалобу какого-то проезжего.

— А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера?

— Право, не знаю, — удивился Оболенский.

— А вот я вам расскажу, — заявил Гоголь и самым смешным образом стал описывать наружность этого господина, его служебную карьеру, представляя в лицах комические эпизоды из его жизни. Это был прежний, веселый и остроумный Гоголь, который так любил забавные мистификации и шутки.

В дороге Гоголь часто вынимал записную книжку и заносил туда все, что его поражало: пришедшие в голову мысли, услышанные в дороге замечания, отдельные словечки.

— Писатель должен всегда иметь при себе карандаш и бумагу, — говорил он, — ему обязательно нужно заносить на бумагу поражающие его сцены. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя — сцены в его творениях. Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией.

В Москве зажигались фонари. В доме Толстого уже было тихо, слегка пахло ладаном. В углу комнаты слабо мерцала лампадка.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Наступила осень. Было еще тепло, но на деревьях с каждым днем становилось все больше желтеющих листьев. В доме на Никитском бульваре жизнь шла тем же замедленным темпом. По субботам служились молебны, приходили священники, торжественно пел хор, граф Александр Петрович истово крестился, и его стройная, затянутая в черный сюртук фигура придавала всей церемонии какой-то особенно офици-

альный характер. Гоголь стоял у стены и сосредоточенно глядел на ризу священника. Он мучительно думал: «Никогда не чувствовал так я бессилия своего и немощи. Так много есть о чем сказать, а примешься за перо — не поднимается. Жду, как манны, орошенья свыше, все бы силы мои от него двигнулись. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать людям, играющим жизнию, как игрушкой, что жизнь не игрушка».

Ему стало душно и тоскливо в этом тихом доме, в полумраке залы, обвеваемой волнами ладана. Захотелось на простор, на волю, окунуться в запахи леса, прелой листвы. Он забрал свой портфель и отправился в Абрамцево к Аксаковым. На реке Воре, в шестидесяти верстах от Москвы, Сергей Тимофеевич недавно приобрел небольшое имение и поселился там, лишь изредка наведываясь в город. В Абрамцеве он предавался своему любимому занятию — ловле рыбы и писал «Записки ружейного охотника».

Аксаковы, как всегда, радостно встретили вылезшего из коляски Гоголя. Ему отвели комнату наверху, в мезонине, с видом на сад и вьющуюся змейкой мутную, коричневую Ворю. Гоголь много гулял вместе с Сергеем Тимофеевичем, Константином или Верой Сергеевной по рощам Абрамцева. Он забавлялся тем, что найденные грибы подкладывал на дорожку, по которой обычно ходил Сергей Тимофеевич, и радовался, как ребенок, когда тот находил их. По вечерам все собирались в маленькой гостиной. Гоголь читал древних греческих поэтов в переводах Мерзлякова. Как-то вечером на Сергея Тимофеевича напала дремота, и Гоголь, чтобы его разгулять, предложил:

— А что бы нам «Куличка» прочесть из ваших записок, Сергей Тимофеевич?

Аксаков согласился и попросил, чтобы Константин принес рукопись и прочел за него. Гоголь настоял, чтобы чтение происходило в его комнате наверху. Во время чтения он был рассеян, почти не слушал и, когда Константин Сергеевич кончил читать, веселым тоном воскликнул:

— Да не прочесть ли нам главу из «Мертвых душ»?

Все были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе поэмы. Константин встал, чтобы принести книгу из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал:

— Нет, уж я вам прочту из второго! — И с этими словами вытащил из кармана большую тетрадь.

В ту же минуту все придвинулись к столу, и Гоголь стал читать первую главу второго тома поэмы.

С первых же страниц присутствующие увидели, что талант писателя не погиб, и пришли в восторг. Окончив чтение, Гоголь, усталый и смущенный, слушал радостные одобрения и приветствия.

— Я должен перед вами покаяться, — растроганно говорил Сергей Тимофеевич. — После всего случившегося за последние семь лет я, Фома неверный, как вы сами меня назвали, потерял было веру. Мне показалось несовместимым ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава богу! Я чувствую одну только радость. Талант ваш не только жив, но и созрел. Он стал выше и глубже.

Гоголь был доволен, просветлел лицом и горячо обнял Сергея Тимофеевича.

Он доброжелательно выслушал замечания Сергея Тимофеевича, что рассказ про идеального учителя Тентетникова получился слишком длинным и натянутым. Согласился и с тем, что встреча крестьянами молодого барина в деревне Тентетникова написана слишком односторонне. Гоголь признался, что он уже прочел несколько глав Смирновой и Шевыреву и сам увидел, как много надо еще переделывать.

На следующий день он уехал в Москву, пообещав скоро вернуться и продолжить чтение.

Гоголь исполнил свое обещание. В январе 1850 года он снова приехал в Абрамцево и прочел несколько глав. Когда он вторично читал первую главу, все были восхищены: глава показалась еще лучше, как бы написанной вновь.

— Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине, — заметил Гоголь. — По-

правки, по-видимому, самые ничтожные: там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое! Надо тогда печатать, когда все главы будут так отделаны.

В Москве Гоголь встретился с графом Соллогубом. Ветреный граф, упоенный недавним успехом своей повести «Тарантас», стал еще самоувереннее и заносчивее прежнего. Он ехал из Петербурга на Кавказ, на Кислые воды, и, в предвкушении курортных развлечений, беззаботно кутил в Москве. Гоголь застал его в гостинице сидящим после бурно проведенной ночи в роскошном шелковом шлафроке. Граф пускал из трубки замысловатые кольца табачного дыма. Он встретил Гоголя со всей светской любезностью, угостил какой-то особенной марсалой. Разговор обратился к семейству Вьельгорских — на одной из сестер, Софье Михайловне, граф был женат. Владимир Александрович перевел разговор на Анну Михайловну. На вопрос Гоголя о ее здоровье он ответил как-то небрежно и неопределенно. Затем, помрачнев и насупившись, сухим, любезным тоном он дал понять, что ее родители, граф Михаил Юрьевич и графиня Луиза Карловна, считают излишними дальнейшие отношения Гоголя с Анной Михайловной и хотят просить, чтобы он прекратил с нею переписку.

Гоголь сразу потускнел и замолк. Расставшись с Соллогубом, он долго сидел в своей комнате, не зажигая огня, при трепетном мерцании лампадки. Потом позвал Семена и приказал подать свечи. Подойдя к своей конторке, он взял перо и написал прощальное письмо Вьельгорской: «Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди... Нужна ли вам точно моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего... Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге... Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все случилось оттого, что мы еще не

довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало...» В заключение он добавил: «Бог да хранит вас. Прощайте».

Нет, жизнь не удалась. Все было против него.

Снова потянулись однообразные, тоскливые дни. В доме по-прежнему царила тишина. Бесшумно приходил Семен, ставил на стол обед, завтрак, чай, ужин. По вечерам зажигал свечи. Утром чистил платье и аккуратно раскладывал его на стуле возле постели. Гоголь молча ходил по комнате из угла в угол. Или стоял за конторкой и писал, катая шарики из белого хлеба, что, по его словам, помогало разрешить самые трудные задачи.

Когда писание утомляло его, он подымался наверх к Александру Петровичу и беседовал с ним о догматах христианской веры. Граф занимался изучением священного писания, его истолкователей и отцов церкви. Он исполнял все постановления церкви, был точен в соблюдении постов, во время которых избегал даже вкушения постного масла. Александр Петрович чаще всего вел беседу о важном историческом призвании православной церкви и сокрушался о ее недостаточном влиянии на ход общественной жизни.

Однажды вечером, когда Гоголь зашел к графу, то увидел, что Александр Петрович не один.

В углу комнаты сидел грузный бородатый священник в коричневой рясе с большим нагрудным крестом.

— Знакомьтесь с отцом Матвеем, — обратился к Гоголю Толстой, показывая на священника. — Заочно вы уже знакомы, но отец Матвей был так добр, что приехал из Ржева, чтобы повидать вас!

Гоголь с робостью поцеловал большую крепкую руку священника. Отец Матвей Константиновский был давним знакомцем графа Толстого. Они познакомились еще в ту пору, когда граф служил губернатором в Твери. Александр Петрович способствовал переводу его из глухого села в Ржев. А затем подпал под влияние этого изувера, фанатического ревнителя

православия. Отец Матвей отличался рвением в церковных делах. Он сурово обличал тамошних раскольников и заботился о насаждении истинной веры. В селе, в котором он священствовал, заглохли веселые и соблазнительные песни и игры. В домах раздавалось унылое пение псалмов. Даже малые дети вместо детских игр распевали «Богородице, дево, радуйся». Время от времени он наезжал в Москву и поучал смирению и законопослушанию графа, благоговевшего перед святостью отца Матвея.

Граф постоянно говорил Гоголю о своем духовном наставнике, и по его настоянию писатель вступил в переписку с ржевским священником.

— Благодарю вас много и много за то, что содержите меня в памяти вашей, — почтительно сказал Гоголь. — Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, уже поселяет в душу надежду, что бог удостоит меня поработать ему лучше, чем как работал доселе, немощный и бессильный!

Отец Матвей благословил Гоголя и долго толковал, ссылаясь на священное писание, что надо смирять свою гордыню и неустанно молиться богу. В разговор включился и Александр Петрович, почтительно выслушивая разглагольствования сельского попика, влиявшего на слушателей своим неистовым фанатизмом. Поздно разошлись они, подавленные, с этой беседы. Придя к себе в комнату, Гоголь долго молился перед образом, низко, по-крестьянски кланяясь и шепча про себя молитвы. Лишь к утру он лег в постель и долго не мог заснуть. Суровые предостережения священника, призывавшего к покаянию, к отказу от света, все время звучали в его ушах.

После обеда Гоголь обычно надевал шинель и отправлялся на прогулку по Никитскому бульвару. Иногда он заходил к Аксаковым, Шевыреву, Погодину или Хомякову. Вечерами появлялись гости. Как-то зашел молодой литератор, поэт и переводчик, друг Шевырева — Николай Васильевич Берг. Застав Гоголя за работой, он внимательно следил за тем, как тот писал на больших листах бумаги, не оставляя полей, плотно заполняя весь лист. Видя его настойчивый ин-

терес, Гоголь рассказал ему о том, какой способ писать он считает лучшим:

— Сначала нужно набросать все как придется. Хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более, достать написанное и перечитать. Вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь. Возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда она снова будет измарана, перепишите ее собственноручно! Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слова, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы становятся тверже, решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, быть может, нужно меньше, а для иного и еще больше.

Гоголь пожаловался Бергу, что он недостаточно знает Россию и от этого страдает работа над вторым томом поэмы.

— Чтобы лучше узнать русский народ, мне необходимо было бы путешествовать. Нынешние мои поездки были почти все в окрестностях Москвы и сопредельных с нею губерниях. А для путешествия по России нужно запастись предуготовительными сведениями, затем чтобы знать, на какие предметы следует обратить внимание. Иначе, подобно чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь. Я перечитываю теперь книги, знакомящие с нашей землей.

Действительно, на столе лежали книги путешествий, многотомная «Россия в экономическом и статистическом описании» и другие издания географического характера.

— С грустью удостоверяюсь, — продолжал Гоголь, — что прежде, во времена Екатерины, больше было дельных сочинений о России. Путешествия были предпринимаемы учеными смиренно, с целью узнать точно Россию. Теперь все щелкоперно. Нынешние пу-

тешественники, охотники до комфортов и трактиров, с больших дорог не сворачивают и стараются пролететь как можно скорее.

Гоголь огорченно замолк. Затем попросил собеседника сообщать ему свои наблюдения и примечательные факты, которые тот мог бы встретить в своих поездках. Взяв с Берга это обещание, Гоголь успокоился и распрощался с радушным и довольным видом.

Его часто стал навещать историк О. М. Бодянский, профессор Московского университета, украинец по происхождению, страстно влюбленный в украинские песни. Гоголь советовался с ним о планах издания исторического журнала.

— Хорошо бы взяться за журнал, — говорил он Бодянскому, — вы опытны в этом деле... Издавать вроде ваших «Чтений в Обществе истории и древностей российских», только с прибавкою отдела «Изящная словесность», в котором помещалось бы одно лишь замечательное...

Прощаясь, Бодянский спросил Гоголя, куда он собирается уехать на лето.

— Мне хотелось провести лето и зиму в Малороссии или где-нибудь на юге и вернуться к вам к весне, — ответил Гоголь.

— Что же, вам худо у нас зимой?

— И очень. Я зяб страшно, хотя первый год и чувствовал себя в Москве хорошо.

— По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму, — посоветовал Бодянский.

— Я и собираюсь так сделать. Поеду, возможно, в Одессу. За границу мне не хотелось бы, там уже нет тех людей, к которым я привык. Может быть, из Одессы съезжу в Грецию или Константинополь. Я даже начал немного заниматься новогреческим языком.

Его одолевали беспокойство, неопределенность положения, дурное самочувствие. Софье Михайловне Соллогуб Гоголь писал печально и откровенно: «Что касается до меня, то, прохворавши всю зиму в Москве, должен снова пуститься в отдаленное странст-

вие, чтобы провести предстоящую зиму на каких-нибудь островах Средиземного моря... Не для здоровья, а единственно для доставленья себе возможности работать и кончить свою работу... О, как опасно тому, чей удел быть на земле странником, остановиться где-нибудь долее следуемого, сколько искушений, сколько соблазнов воздвигнется вокруг него!..»

12 июня Гоголь вместе со своим другом Максимовичем отправился из Москвы в Васильевку, а оттуда в Одессу. Они выехали из гостеприимного дома Аксаковых, у которых на прощание пообедали.

Так началось последнее путешествие. По дороге заезжали в монастыри. Сделали остановку в Оптиной пустыни, тишина и покой которой навели Гоголя на мысли о смерти.

В ОДЕССЕ

В конце октября Гоголь добрался до Одессы. Всю дорогу из Васильевки его преследовал проливной дождь и ветер. Дороги размыло, и он перемерз и устал. Прямые улицы и зеленые бульвары, ласковое голубое море, и солнце, внезапно после угрюмых туч засиявшее по его приезде, примирили писателя с Одессой. Он остановился во флигеле дома Трощинского за Сабанеевым мостом, неподалеку от моря. Никого из Трощинских в Одессе не было, и он жил один во флигеле. Обедать обычно ходил к своим старым знакомым Репниным. Князь Репнин отвел ему даже особую комнату с высокой конторкой для занятий.

Одесса казалась передышкой. Нужно было подумать, собраться с мыслями, а главное — закончить поэму. Все утро он работал у себя, а в четвертом часу отправлялся на прогулку. В темно-коричневом сюртуке с большими бархатными лацканами, темном жилете с разводами, с шелковой косынкой, зашпиленной крест-накрест на шее из боязни морского ветра, а в прохладную погоду в шинели на вате и цилиндре с конусообразной тульей, Гоголь быстрым дробным

шагом ходил по улицам Одессы. Прохожие и в особенности студенты Решильевского лицея уже хорошо знали эту слегка сгорбленную, тонкую фигуру, остроносое, сумрачно-печальное лицо, обрамленное русыми, чуть вьющимися волосами. Обычно он не здоровался со встречными и, глубоко задумавшись, уйдя в свои мысли, проходил мимо, почти никого не замечая.

В Одессе Гоголь встретил старых знакомых — братьев Орлаев, сыновей покойного директора Нежинской гимназии. Познакомился с местной профессурой и с братом Пушкина Львом Сергеевичем, легкомысленным, веселым повесой.

Мягкая зима благоприятно влияла на работу, и «Мертвые души» подвигались.

«Милосердный бог меня еще хранит, силы еще не слабеют, — писал Гоголь Жуковскому из Одессы. — Несмотря на слабость здоровья, работа идет с прежним постоянством и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию». Он уговаривает Жуковского приехать в Россию, чтобы встретиться с ним. Сергею Тимофеевичу Аксакову он пишет о том, что возвратится к весне в Москву.

А. О. Смирновой он сообщал: «О себе покуда скажу, что бог хранит, дает силы работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное созданье и в слове то же, что и в живописи, то же что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нарушает ли нестройным криком всеобщее согласие. Зима здесь в этом году особенно благоприятна. Временами солнце глянет так радостно, так по-южному! так вдруг и напомнится кусочек Ниццы!»

В Одессе играла в эту зиму русская труппа. Гоголь познакомился с актерами, горячо интересовался их делами. Он стал понемногу выползать из своей раковины, не чувствуя пристального взгляда Александра Петровича, свободный от назойливых наставлений отца Матвея.

Приходя обедать в лучший одесский ресторан От-

тона, в котором обедали артисты, он присоединялся к ним в особой задней комнате. Особенно ему полюбился молодой актер А. П. Толченов, учившийся в Петербургском театральном училище. Он только года три-четыре как окончил училище и сам немного пописывал водевили и комедии. Толченов благоговел перед Гоголем и восторженно слушал каждое слово писателя.

Встретившись с ним впервые в ресторане, Толченов оробел, но Гоголь радушно и дружественно протянул ему руку:

— Милости просим в нашу беседу! Садитесь здесь, возле меня!

Гоголь стал расспрашивать, давно ли он на сцене, когда приехал из Петербурга в Одессу. Свой опрос закончил словами:

— А любите ли вы искусство?

— Если б я не любил искусства, то пошел бы по другой дороге! — ответил Толченов. — Да если б и не любил, то, наверно, вам-то не признался в этом!

— Чистосердечно сказано! — рассмеялся Гоголь. — Хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любит его! Искусство требует всего человека.

Толченов, много наслышавшийся о нелюдимости и неприступности Гоголя, об его экстравагантных выходках в аристократических салонах, был очарован простотой и сердечностью писателя. Гоголь дал свое согласие помочь артистам в постановке комедии Мольера «Школа жен».

В назначенный вечер все участники постановки собрались на квартире режиссера труппы — А. Ф. Богданова, знакомого Гоголю еще по Москве, так как Богданов был женат на родной сестре Щепкина. Около восьми часов пришел и Гоголь. Увидев много незнакомых людей, он несколько растерялся, комкал перчатки и неловко раскланивался. Но как только кончилась церемония представления, он успокоился.

Разговор стал всеобщим, посыпались русские и украинские анекдоты и поговорки. После чая все усе-

лись вокруг стола, за которым расположился Гоголь. В полной тишине он начал чтение пьесы. Его чтение резко отличалось от обычно принятого в театре отсутствием эффектности, нарочитости. Оно поражало простотой, безыскусственностью и вместе с тем необыкновенной образностью. По мере развития действия лица комедии оживали перед слушателями. Гоголь так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил всю безнадежность его страсти, что все смешное в нем исчезло. Вечер закончился ужином, состоявшим в честь Гоголя из украинских блюд.

Через несколько дней Гоголь был приглашен в театр на репетицию. Хотя он и не выходил из дому ранее четвертого часа, но на этот раз явился в театр к десяти часам утра. Внимательно прослушав всю пьесу, он высказал несколько замечаний, требуя от исполнителей большей естественности, жизненной правды, но вообще одобрил всех игравших. В особенности доволен он остался игрой артистки Шуберт, которая исполняла роль Агнессы.

В Одессе Гоголь прожил до 27 марта 1851 года. Перед отъездом почитателями писателя дан был прощальный обед в ресторане Оттона. Среди его участников находились одесские профессора, артисты, Лев Сергеевич Пушкин. В обеденном зале распоряжался сам ресторатор Оттон — массивный мужчина в белой поварской куртке. С подобающей случаю важностью он вступил в переговоры с Гоголем относительно меню. Он рекомендовал ему одно блюдо, сомневался в другом, на таком-то настаивал. Гоголь, проникнувшись важностью вопроса, давал свои указания. За обедом произносились многочисленные тосты в честь знаменитого писателя, пили шампанское. В заключение Гоголь собственноручно варил жженку по своему способу, как в давно прошедшие, былые времена.

Из Одессы Гоголь, прежде чем направиться в Москву, заехал в Васильевку. Это было его последнее посещение родных мест. После оживления, охватившего его в Одессе, в Васильевке все огорчало

писателя. Безденежье семьи — ведь нередко не хватало сахара при приходе гостей! — здоровье матери, жаловавшейся на больные ноги, ссоры и раздоры между сестрами, возникавшие из-за мелочей, безалаберность в ведении хозяйства, неоплатные долги... Он запирался в своей комнате, забросил свои былые занятия хозяйством и, когда мать жаловалась на плохое положение дел, болезненно морщился и увещевал ее стойко переносить бедность.

— Другую, другую жизнь нужно повести, — говорил ей Гоголь, — простую, такую, какую ведет человек, думающий о боге. Для этой жизни немного нужно.

Но подобные советы и поучения мало обнадеживали домашних. Мать огорченно хлопотала, как бы занять денег для уплаты податей, а сестры мечтали о новых нарядах, шушукались с проезжим торговцем, как бы втайне от братца закупить товаров в долг.

Иногда, впрочем, когда ему удавалось плодотворно поработать утром, он приходил к обеду довольный и веселый. После обеда шутливо упрашивал тетушку Екатерину Ивановну спеть под аккомпанемент сестры Ольги его любимые украинские песни, причем и сам подтягивал, притопывая ногой и прищелкивая пальцами. Особенно любил он старую песню «Гоп, мои гречаники, гоп, мои били». В эти моменты все в доме оживало. Мария Ивановна кротко улыбалась, в дверях появлялись смеющиеся лица слуг... Но эта вспышка веселья скоро проходила, и Гоголь, снова мрачный и подавленный, уходил в свой кабинет и запирался в нем.

Мария Ивановна несколько раз убеждала его остаться еще в Васильевке и не торопиться с отъездом: «Бог знает, когда увидимся!» — со слезами говорила она сыну. Наконец 22 мая он вместе с матерью и сестрой Ольгой, провожавшими его до Полтавы, пустился в обратный путь. Печальным было прощание с матерью, сразу как-то осунувшейся, ослабевшей, торопливо крестившей его при расставании.

ПЕРЕД ЗАКАТОМ

В Москву Гоголь приехал усталый, изнемогший от жары, тряски, пыли. «Поспешил сюда с тем, — сообщал он 15 июля 1851 года П. А. Плетневу, — чтобы заняться делами по части приготовления к печати «Мертвых душ» второго тома, и до того изнемог, что едва в силах водить пе́ром. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться; но желание повидаться с тобой и Жуковским было причиной тоже моего нетерпения». Однако Жуковский так и не приехал в Россию. А из Васильевки пришло письмо о предстоящем замужестве сестры Лизы, обручившейся с саперным капитаном Быковым. Гоголя ждали в Васильевку на свадьбу. Сестра просила заказать к этому дню дорожную «кочь-карету» для поездок с мужем в его походной, кочевой жизни.

Гоголя огорчила просьба сестры. Она показалась ему слишком дорогостоящим удовольствием, прихотью. Денежные дела его самого, как всегда, были не блестящи. Он написал суровое, поучительное письмо, в котором корил сестру за непозволительные претензии и сообщал: «Денежные обстоятельства мои плохи. Видно, богу угодно, чтобы мы остались в бедности. Да и признаюсь, полная бедность гораздо лучше средственного состояния. В средственном состоянии приходят на ум всякие замашки свыше состояния; и кочь-карета, и досада на то, что не в силах ее сделать, и мало ли чего на каждом шагу. А когда беден, тогда говоришь: «я этого не могу» — и спокоен. Милая сестра моя, люби бедность». Он был беден и уже не гнался за чем-либо, помимо самого обязательного. Раньше он любил нарядные жилеты, безделушки, редкие книги. Сейчас ему ничего не надо, кроме носильного платья и белья. Гоголь привык жить в чужих домах, привык тратить на себя деньги лишь в самых необходимых случаях.

Но если он и не мог купить сестре фантастическую «кочь-карету», то на ее свадьбу он должен приехать. А тут, как назло, надо подготовить новое издание поэмы. Надо заняться переизданием собрания

сочинений, а то предприимчивые книгопродавцы распустили слухи, что его сочинения будут запрещены цензурой, и берут с покупателей вшестеро дороже за оставшиеся экземпляры его книг!

Он получил записку от Смирновой из Спасского. Александра Осиповна болела и просила Гоголя навестить ее. «Вас привезут ко мне в 70 верст от Москвы, — писала она, — в такую мирную глушь и такие бесконечные поля, где, кроме миллионов сенных скирд, песни жаворонка и деревенской церкви, вы ничего не увидите и не услышите...» Гоголь отправился навестить свою давнишнюю приятельницу.

Усадьба Смирновой была расположена на высоком берегу Москвы-реки, неподалеку от ее впадения в Оку. На холме стоял помещичий дом с колоннадами, два флигеля соединялись с домом галереями с цветами и деревьями в кадках. Круглый зал посреди дома имел большой балкон, также окруженный колоннами. Направо от дома — подстриженный французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, оранжереями. Налево — английский парк с ручьями, гротами, мостиками, романтическими развалинами.

Александра Осиповна сильно переменилась. Она еще больше пожелтела и ослабела. В лице появилось тревожное беспокойство.

— Я занемогла! — печально встретила она Гоголя. — Нервы, бессонница, волнения!

— Что ж делать, я сам вожусь с нервами! — отвечал Гоголь.

Перемена в Александре Осиповне его сильно расстроила. Она рассказала ему о неприятностях, постигших Николая Михайловича, о клеветнических наветах на него, вызвавших расследование сенатской комиссии и увольнение с должности губернатора.

Гоголю отвели две комнатки во флигеле с окнами в сад. В одной он спал, а в другой работал. Вставал он рано, умывался и одевался сам и шел прямо в сад на прогулку. После утреннего кофе занимался часов до одиннадцати. Когда приходила Смирнова, он прикрывал свои тетрадки платком и очень был недово-

лен, если Александра Осиповна пыталась взглянуть на его работу.

— А, вот как! Вы подглядываете! Мне придется запирать свои тетрадки!

Он читал ей ежедневно житие какого-нибудь святого из Четьи-Миней. После обеда они ездили кататься. Это были грустные поездки: вспоминали о прошлом, о Пушкине, об Италии, Ницце. Казалось, что вся жизнь была уже позади. Вечерами они смотрели, как загоняют скот, — это напоминало Малороссию, молодость. Однажды Александра Осиповна застала его на диване в гостиной. Он читал житие какого-то святого. Когда она вошла, Гоголь пристально смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его восторженно сияли, лицо озарено было улыбкой.

— Николай Васильевич, что вы тут делаете? — спросила Смирнова.

Он как будто проснулся, даже испугался.

— Ничего. Читаю житие Косьмы и Дамиана! Надо позабыть себя со всем черствым окружением собственных забот и, дорожа всякой минутой, спешить благодарить за нее бога, живя, подобно птицам небесным, не сея, не собирая в житницы!

Шутливость и затейливость в словах его исчезли. Он был неизменно озабочен и погружен в себя. Жаловался на болезни. Так прошел месяц. Александра Осиповна чувствовала себя все хуже и хуже и должна была переехать в Москву для лечения. Возвращались они вместе. Прощаясь, Гоголь спросил:

— А думали ли вы о смерти?

— Это моя постоянная мысль, — горько призналась Александра Осиповна. — Я каждый день о ней думаю.

— Пора нам приняться, наконец, за главное дело, — тихо сказал Гоголь, — позаботиться не в шутку об украшении душ... Говорю это потому, что с ужасом вижу, как с каждым днем мы отходим все больше от жизни, предписанной нам Христом! А смерть подходит к нам все ближе и ближе!

Его стала теперь преследовать мысль о смерти. Но он не боялся ее. Ему казалось, что в нем постепенно все угасает. Хотелось лишь привести в порядок дела, закончить то, что стало смыслом его жизни. Издание своих книг он поручил Шевыреву. В июле 1851 года он отправляется на дачу к Шевыреву в Троицкое, в двадцати верстах от Москвы. Шевырев жил в старом, заброшенном имении, окруженном сосновым лесом. Гоголь приехал в наемной карете на паре серых лошадей. Войдя в дом, он дружески обнял Шевырева и сказал:

— Ну, вот теперь наговоримся, я приехал сюда пожить!

Гоголь поселился в уединенном флигеле в саду. Людям было запрещено входить к нему и маячить без дела около флигеля. Гоголь жил затворником, спеша закончить второй том поэмы. По вечерам Шевырев заходил к нему, и они вдвоем с превеликой таинственностью читали написанное. Даже Берг, гостивший в то же время у Шевырева, не имел доступа на эти тайные совещания.

Гоголь прочел Шевыреву семь глав своей поэмы. В этих главах появлялась новая героиня — эмансипированная дама, светская красавица, избалованная успехом, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей. Кое-что в ней напоминало Александру Осиповну. Судьба привела ее в провинцию, ей уже за тридцать пять лет, ей скучно, она тяготится своей жизнью. В это время она встречается с молодым, тоже праздным помещиком Платоновым, и тогда возникает новое чувство, которое оживляет их. Но вскоре они понимают, что то была только вспышка, каприз, что истинной любви не было, и наступает охлаждение и скука, еще более тягостная, чем прежде.

— Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, — просил Гоголь Шевырева, — ни даже называть мелких сцен и лиц героев. — Он боялся преждевременных слухов, разговоров, пересудов.

Растроганный Шевырев обещал свято хранить

молчание и уверял Гоголя, что написанное им несравненно выше первого тома!

Гоголь даже не всегда являлся к завтраку и обеду, так усиленно он работал. С окружающими говорил он немного и как-то вяло и неохотно, обращаясь к одному Шевыреву. Он жаловался ему, что его нервы сильно расслаблены, что он изнемог.

— Чувствую, что нужно развлечение, — жаловался он Шевыреву, — а какое — не найду сил придумать!

Он просил Шевырева ускорить издание собрания своих сочинений, передать отдельные тома в разные типографии, чтобы набор и печатание проходили быстрее. Сам читал корректуру, которую ему привозили из Москвы. Особенно беспокоился он о цензуре.

— Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены, — жаловался он Шевыреву, — но теперь не хочу: пусть все остается в том виде, в каком было в первом издании. Еще пойдет новая возня с цензорами! Бог с ними!

Он поручил Шевыреву оставшиеся от издания деньги употребить на помощь бедным студентам, но сделать это тайно, чтобы его имени не поминалось. Уезжая в Москву, Гоголь просил достать ему книги о Сибири и северо-восточной России в связи с его работой над поэмой. По секрету он поведал Шевыреву, что герой поэмы Тентетников по ходу событий должен быть арестован за участие в студенческие времена в подпольном кружке и выслан в Сибирь, куда за ним последует и Улинька.

Поручив профессору Шевыреву издание своих сочинений, Гоголь решил отправиться на свадьбу сестры и провести зиму на юге. В письме к матери от 22 сентября он сообщал: «Я решился ехать, но вы никак не останавливайтесь с днем свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расходились от нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет не скорая, даже опасаюсь, чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я на вас только взгляну, и поскорее в Крым, а потому вы, по-

жалуйста, меня не удерживайте. В Малороссии остаться зиму — для меня еще тяжелей, чем в Москве. Я захандрю и впаду в ипохондрию».

После долгих колебаний Гоголь, наконец, выехал из Москвы. Но, добравшись до Калуги, он захандрил, плохо себя почувствовал и неожиданно для всех возвратился в Москву. Там он встретился с С. Т. Аксаковым, который увез его в Абрамцево. Он был грустен, задумчив, его тревожили всевозможные опасения. Даже заботы Ольги Семеновны, толстенькой, низенького роста старушки, большой хлебосолки, которую Гоголь особенно любил, его не успокоили и не ободрили. Сергей Тимофеевич, с седой бородой, поредевшими и поседевшими волосами, забирал на рассвете свои удочки и уходил на рыбную ловлю. Гоголь оставался с Ольгой Семеновной и Надеждой Сергеевной, которые хлопотали по хозяйству и развлекали его разговорами. Из окон виднелись обширный сад, переходивший в лес, извилистая Воря, освещенные утренними лучами солнца. В прозрачном воздухе отчетливо слышались мычание коров, крик петуха, звон колокольцев.

Поездки Гоголя по друзьям напоминали странствия его героя. Ведь еще многое надо сделать, многое завершить. Он с какой-то лихорадочной поспешностью вдруг развил оживленную деятельность. Стал интересоваться окружающим, посещать знакомых. По утрам работал в своей комнате над завершением поэмы. Александр Петрович, спускаясь вниз, слышал, проходя мимо закрытых дверей, как Гоголь один как будто разговаривал с кем-то на разные голоса. Это он читал за своих героев!

Арнольди уговорил его даже пойти в театр на спектакль «Ревизора», в котором первый раз роль Хлестакова должен был исполнять Шумский. Театр был полон. Гоголь сидел в ложе бенуара и беспокойно, вытянув голову, смотрел на сцену. Шумский играл Хлестакова, а Щепкин— городничего. Гоголь говорил Арнольди, что Шумский лучше других актеров, московских и петербургских, играет Хлестакова. Но он остался недоволен сценой, в которой

Хлестаков начинает завираться перед городничим и чиновниками. Шумский, по его словам, передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, тогда как Хлестаков должен говорить с жаром, с увлечением.

Гоголь ушел из театра до конца спектакля, опасаясь какой-нибудь приветственной демонстрации со стороны публики. Он остался недоволен тем, как играли «Ревизора». Многие актеры исполняли свои роли недостаточно естественно и продуманно.

Вскоре после спектакля Михаил Семенович Щепкин приехал к Гоголю вместе с Тургеневым. В своих воспоминаниях Тургенев рассказывает: «Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны... Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года... В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми».

Мы сели. Я рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость, но вообще взгляд их казался усталым... В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессор-

ское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, странное и больное существо!» — невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого мнения...

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на «о́»; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства, — и все это языком образным, оригинальным и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее...»

Прощаясь, Гоголь пожал руку Тургеневу и сказал:

— У вас есть талант, не забывайте же! Талант есть дар божий и приносит десять талантов за то, что создатель дал вам даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное, не спешите печатать, обдумайте хорошо. Пусть скорее создастся повесть в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь!

Гоголь объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала

к Гоголю: она привезла ему просфору с вынутой частицей. Они удалились.

Чтение было назначено на 5 ноября в доме у графа Толстого. В назначенное время в большом зале напротив комнаты Гоголя собрались слушатели. Среди них были Сергей Тимофеевич и Иван Сергеевич Аксаковы, Тургенев, Шевырев, Берг, а также актеры Щепкин, Шумский, Пров Садовский. Правда, далеко не все актеры приехали — им казалось обидным, что их хотят учить. Не приехала ни одна актриса. Гоголя огорчил этот неохотный отклик на его предложение. Лицо его приняло угрюмое и холодное выражение, глаза подозрительно насторожились.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. Тургенева поразила чрезвычайная простота и сдержанность манеры чтения, какая-то важная и в то же время наивная искренность, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный, особенно в комических, юмористических местах: не было возможности не смеяться хорошим, здоровым смехом.

С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего: «Пришли, понюхали и пошли прочь!» Он даже медленно оглянул присутствующих, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Однако Гоголь не успел прочесть еще и половины первого акта, как дверь вдруг шумно растворилась и, торопливо улыбаясь, промчался через комнату молодой, но необыкновенно назойливый литератор и поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не пускать!» Он отпил немного воды и снова принялся читать, но теперь это было совсем не то, что прежде.

де. Он стал спешить, бормотать себе под нос, пропускать целые фразы. В конце чтения он устал и побледнел и, не прощаясь с присутствующими, ушел в свой кабинет.

После этого чтения Гоголь опять появился на представлении «Ревизора», чтобы посмотреть, как исполняется его пьеса, и остался постановкой и игрой актеров более доволен.

Это была последняя вспышка энергии, последний выход в жизнь.

СМЕРТЬ

Приближалась масленица. Январь был холодный и снежный. Гоголь зябко кутался в теплый сюртук и редко выходил из дому. Он сидел за своим столом, на котором были разложены бумаги и корректурные листы, и правил корректуру. В кресле напротив расположился его земляк Осип Максимович Бодянский.

— Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич? — спросил Бодянский, заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два очиненных пера.

— Да вот мараю все свое, — отвечал Гоголь, — да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь.

— Все ли будет издано?

— Может быть, кое-что из своих юношеских произведений выпущу.

— Что же именно? — удивился Бодянский.

— Да «Вечера»,— спокойно продолжал Гоголь.— В них много незрелого. Мне хотелось бы дать публике такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен. А после смерти моей как хотите, так и распоряжайтесь!

Бодянский стал горячо убеждать Гоголя, что читатели хотят иметь все им написанное, что «Вечера» — одно из наиболее свежих и благоуханных

его произведений, а о смерти вообще нечего поминать.

Гоголь молча выслушивал его, смотря отсутствующим взглядом.

— Право, скучно, как посмотришь кругом, на этом свете! — вдруг задумчиво сказал он. — Знаете ли вы, что Жуковский пишет мне, что он ослеп.

— Как? — воскликнул Бодянский. — Слепой пишет вам, что он ослеп?

— Да, немцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Сэмэне, — позвал Гоголь, — ходы сюды!

Он велел спросить у графа Толстого письмо Жуковского. Но графа не оказалось дома.

— Ну, да я вам после письмо привезу и покажу, потому что — знаете ли? — я распорядился без вашего ведома, — прибавил Гоголь. — Я в следующее воскресенье собираюсь угостить вас двумя-тремя напевами нашей Малороссии, которые очень мило Наталья Сергеевна Аксакова положила на ноты с моего козлиного пения. Да при этом упьемся и прежними нашими песнями. Будете ли вы свободны вечером?

— Ну, не совсем, — отнекивался гость.

— Как хотите, а я уж распорядился, и мы соберемся у Ольги Семеновны часов в семь. Впрочем, для большей верности вы не уходите из дому, я сам за вами заеду, и мы вместе отправимся на Поварскую.

Однако воскресный вечер у Аксаковых не состоялся. Бодянский прождал Гоголя до семи часов и, подумав, что тот забыл о своем обещании, отправился на Поварскую один. Там он никого не застал. Умерла жена Хомякова, и это печальное событие расстроило намеченный музыкальный вечер.

Смерть Екатерины Михайловны Хомяковой, сестры поэта Языкова, нанесла тяжелый удар Гоголю. Он любил эту веселую молодую женщину, сестру его покойного друга, такую жизнерадостную, хлопотливую, миловидную. Гоголь крестил у нее сына, часто заходил проведать свою любимую куму. Она умерла неожиданно, после нескольких дней болезни,

цветущая и полная сил. Это произошло 26 января 1852 года.

Гоголь был на первой панихиде и насилу смог остаться до конца. Его охватил страх смерти, чувство покорной обреченности. Если молодая, полная жизни женщина была так внезапно и безжалостно подкошена смертью, то что же ожидает его самого, немощного и больного? Он не нашел в себе сил прийти на похороны, а отслужил один панихиду в своей приходской церкви. Встретившись на другой день с Верой Сергеевной Аксаковой, он сказал:

— Я теперь успокоился. Сегодня я служил панихиду по Екатерине Михайловне, помянул и всех прежних друзей. Она как бы в благодарность привела их всех так живо передо мной. Мне стало легче. Но страшна минута смерти.

Гоголь остался у Аксаковых, беседуя о покойной Хомяковой, когда к ним приехал доктор Овер, московская знаменитость. Овер приезжал проведать больную, младшую дочь Аксакова — Оленьку. Вера Сергеевна провожала его, и в прихожей, прощаясь, он сказал:

— Несчастный!

— Кто несчастный? — удивленно спросила Вера Сергеевна. — Ведь это Гоголь!

— Да, вот он несчастный!

— Отчего же?

— Ипохондрик, не приведи бог его лечить, это ужасно!

Овер надел свою тяжелую шубу и калоши и уехал.

Вера Сергеевна возвратилась в гостиную, где в это время Гоголь сидел с Наденькой, и предложила ему позавтракать. Гоголь отказался. Он был спокоен и как-то по-новому светел лицом. День был ясный, солнечный, и вся гостиная казалась заполненной светом.

— Вы сегодня не работали? — спросила Вера Сергеевна. — Ну, вы погуляли, теперь вам необходимо поработать!

Гоголь задумчиво улыбнулся.

— Надобно бы, но не знаю, как удастся. Моя работа такого рода, — продолжал он, надевая шубу, — что не всегда дается, когда хочешь.

Дома Гоголь застал отца Матвея. Ржевский попик сидел в углу комнаты. Его рыжие волосы и борода топорщились, маленькие глазки грозно сверкали из-под нависших бровей. Он недовольно благословил Гоголя и сразу же сердито заговорил:

— Вот, Николай Васильевич, вы мне ваши тетрадочки давали читать. Тут у вас один священник выводится, очень уж на меня походит. Да только в него прибавлены такие черты, каких во мне нет... Да к тому же с католическими оттенками! Вот и, выходит, не вполне православный священник! Я советую вам не публиковать этого сочинения...

Гоголь был потрясен. Гнев отца Матвея, которого он считал образцом христианского праведничества, его ошеломил и уничтожил.

— Благодарю вас много, — растерянно произнес он. — Надеюсь, что бог удостоит меня поработать ему лучше, чем как я работал доселе...

Но отца Матвея трудно было умилостивить. Он продолжал укорять Гоголя в его приверженности ко всему земному.

— Не променяйте бога на диавола, а мир сей на царство небесное, — грозно провозглашал он. — Миг один здесь повеселитесь, а вовеки будете плакать! Помните о смерти — легче жить будет. А смерть забудете и бога забудете! Если здесь украсишь душу свою чистотою, — гремел отец Матвей, незаметно переходя на «ты» и видя в Гоголе жертву греха, погрязшую в заблуждениях, — и говением, то и там она явится чистою. Тебе известно и то, что умерщвляет страсти: поменьше, да пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебцем. Меньше спи, меньше говори и думай о боге!

Гоголь попробовал сослаться на свое слабое здоровье.

— Слабость тела не может нас удерживать от пощения, — увещевал расходившийся попик. — Какая у нас забота? Для чего нам нужны силы?.. Много званых, да мало избранных! Вспомните Пушкина — великий он был грешник и язычник! Так и погиб нераскаянным.

Упоминание о Пушкине потрясло Гоголя. Неужели его память не священна для всякого русского? Он попробовал запротестовать.

— Отрекись от Пушкина, — яростно потребовал отец Матвей. — «Ибо, — как сказал в своем послании апостол Павел, — призвал нас бог не к нечистоте, а к святости. Итак непокорный непокорен не человеку, но богу, который дал нам духа своего святаго!»

Гоголь испуганно замолчал. Мысль о Пушкине мучила и сжигала его. Ведь Пушкину он обязан всем лучшим, что было в нем.

— «Если же у кого из вас недостает мудрости, — говорит апостол Иаков, — гремел голос отца Матвея, — да просит у бога!.. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой!»

— Довольно! Оставьте! — в ужасе закричал Гоголь. — Я не могу долее слушать, слишком страшно!..

Отец Матвей недовольно смолк. На следующий день он собрался к себе в Ржев, и все уговоры графа и Гоголя не смогли поколебать его. Гоголь отправился проводить на станцию. По дороге он просил прощения у священника в том, что оскорбил его. Отец Матвей сухо попрощался и уехал.

Наступила масленица. Гоголь обложился книгами духовного содержания, бросил литературную работу, стал мало есть, хотя и жестоко страдал от отсутствия привычной пищи. Свое пощение он не ограничил одною пищей, но и сон умерил до крайности. После продолжительной ночной молитвы он рано вставал, шел к заутрене и, возвратясь из церкви, принимался за чтение молитвенника. Он изучил церковный устав и старался всемерно соблюдать его,

делая даже больше того, что предписывалось уставом. За обедом он съедал только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола.

Когда ему предлагали покушать что-нибудь другое, он отказывался, ссылаясь на болезнь.

С каждым днем он слабел, ему все труднее было выходить из дому. Обеспокоенный граф Толстой посоветовал ему поскорее исповедоваться и причаститься. В четверг 7 февраля Гоголь еще до заутрени исповедался в церкви Саввы Освященного на Девичьем поле. После причащения он упал на землю и долго плакал. Однако и причащение его не успокоило. Он не хотел в тот день ничего есть, а съев кусочек просфоры, называл себя обжорою, окаянным нетерпеливцем и сильно сокрушался.

Вечером он приехал опять к священнику и просил поутру отслужить молебен. Из церкви зашел по соседству к Погодину, который при первом взгляде на него заметил, как он болезненно исхудал и ослабел.

— Что с тобой? — спросил тревожно Погодин. — Ты болен?

— Ничего, — еле слышно прошептал Гоголь. — Я нехорошо себя чувствую.

Дома он слег и вставал лишь для молитвы. В воскресенье 10 февраля он призвал к себе графа А. П. Толстого и просил взять на сохранение все его бумаги. Испуганный Толстой не принял от него бумаг, чтобы не утвердить Гоголя в его настойчивой мысли о смерти. С понедельника он находился в совершенном изнеможении и забытьи. Призваны были доктора, но он отказывался от всяких лекарств, ничего почти не говорил и не принимал пищи.

К нему съехались встревоженные друзья — Погодин, Шевырев, Щепкин. Но посещения друзей утомляли больного. Не проговорив с ними двух-трех слов, он протягивал руку и прощался. «Извини, дремлется что-то!» — чуть слышно шептал он.

В ночь на вторник с 11 на 12 февраля Гоголь долго молился. В три часа ночи он позвал маль-

чика-камердинера, дежурившего в соседней комнате.

— А що, Сэмэне, у тебя там тепло?

— Ни, пане, холодно! — отвечал мальчик.

— Дай мне плащ, мне нужно там распорядиться! — И он пошел со свечой в соседнюю комнату.

Придя, распорядился открыть трубу как можно тише, чтобы никого не разбудить, и подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда пачку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой.

— Барин, что это вы делаете? — в ужасе закричал мальчик, бросившись перед ним на колени. — Перестаньте!

— Не твое дело, — сурово ответил Гоголь. — Молись!

Мальчик начал плакать и просил его не сжигать тетрадей.

Долго огонь не мог пробраться через толстые пачки бумаги, синими змейками охватывая их по краям. Заметив, что огонь погасал, лишь обугливши углы тетрадей, Гоголь вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Затем зажег их опять и сел на стуле.

Когда все сгорело, он долго сидел задумавшись. Потом заплакал и велел позвать графа. Показав ему пепел, он с горестью сказал:

— Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил... Я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали что хотели. Теперь все пропало... Пора умирать...

Желая отстранить от него мрачные мысли о смерти, граф Толстой успокаивающе сказал:

— Это хороший признак! Прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше. Значит, и теперь это не перед смертью.

Гоголь при этих словах оживился, и граф продолжал:

— Ведь вы можете все припомнить?

— Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу. У меня все в голове.

После сожжения рукописей мысль о смерти глубоко запала в душу Гоголя и не оставляла его ни на минуту. За напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил больше из комнаты, не желал никого видеть. Он полулежал в креслах, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора, а на вопросы отвечал коротко и отрывисто. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Утешить его пришел Хомяков, сам еще не оправившийся после потери жены. Гоголь, выслушав его, тихо промолвил:

— Надобно же умирать, а я уже готов, и умру...

Когда граф Толстой, желая его развлечь, стал рассказывать о вещах, которые не могли не занимать его прежде, он с изумлением возразил:

— Что это вы говорите? Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!

В эти дни он сделал свои последние распоряжения. Распорядился отпустить на волю своего бывшего слугу Якима и мальчика Семена. В завещании он писал:

«Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрам. Советую им жить в любви совокупно в деревне и, помня, что, отдав себя крестьянам и всем людям, помнить изречение Спасителя: «Паси овцы моя!» Служивших мне людей наградить. Якима отпустить на волю. Семена также».

Иногда он задремывал в креслах, а ночи проводил без сна, жалуясь на то, что голова у него горит, а руки зябнут.

Приглашенные знаменитости — Иноземцев и Овер ничего не могли сделать. Больной решительно от-

казывался от еды и лекарств. Да и самую болезнь врачи не могли определить. Иноземцев отзывался о ней неопределенно, высказывая предположение, что это мог быть тиф. Овер считал, что это менингит. Единогласное мнение врачей сводилось к тому, чтобы поддержать больного, заставить его принять пищу. Доктор Альфонский, приглашенный Погодиным, рекомендовал гипнотизирование. Вечером того же дня явился врач Сокологорский. Он положил свою руку больному на голову и стал делать пассы. Гоголь откинулся и еле слышно сказал:

— Оставьте меня!

Продолжать гипнотизирование оказалось невозможно.

Вслед за Сокологорским призван был доктор Клименков. Он стал кричать на Гоголя, осматривать и щупать его, добиваясь признания больного в том, что у него болит. Гоголь отвернулся от него и простонал. Клименков посоветовал кровопускание, лед, завертывание в мокрые простыни. Присутствовавший при этом врач Тарасенков, который раньше знал Гоголя, уговорил отложить эти болезненные мероприятия до завтрашнего дня, на который был назначен консилиум.

В среду утром на консилиум собрались Овер, Евениус, Клименков, Сокологорский и Тарасенков. Состояние больного было таким же, как и накануне, но слабость пульса возросла. Врачи еще раз осмотрели больного. Живот его был так мягок и пуст, что можно было прощупать позвонки. Гоголь закричал. Прикосновение к телу стало для него болезненным. Наконец при продолжении осмотра он прошептал:

— Не тревожьте меня, ради бога!

По окончании осмотра врачи стали совещаться. Овер спросил:

— Оставить ли больного погибать от истощения, или поступать так, как с человеком, лишенным сознания?

Евениус решительно настаивал:

— Да, надобно кормить его насильно. Посадить в ванну и велеть есть!

Решили лечить больного, несмотря на его нежелание принимать врачебные процедуры и отказ от еды.

Клименков взялся исполнить предписанные процедуры. Не обращая внимания на сопротивление и стоны, он принудил Гоголя принять теплую ванну. Затем приставил к ноздрям больного восемь крупных пиявок, а на затылок положил лед. В рот ему влили отвар алтейного корня с лавровишневой водой. С Гоголем он обращался неумолимо, кричал на него, переворачивал, мял ему живот, лил на голову какой-то едкий спирт.

Когда Клименков уехал, с больным остался врач Тарасенков. Он с отчаянием наблюдал, как пульс Гоголя все ослабевал, дыхание становилось тяжелее, лишь изредка он шептал:

— Дайте пить!

К ночи стал забываться, терять сознание. Часу в одиннадцатом Гоголь громко закричал:

— Лестницу! Поскорее давай лестницу!

Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. Он так ослабел, что голова уже не держалась на шее и падала, как у новорожденного ребенка. Он громко стонал. Казалось, что наступает смерть. Но то был только обморок. В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Тарасенков положил ему в ноги кувшин с горячею водою и стал поить из рюмки по капле бульоном. Вскоре дыхание больного сделалось хриплым, кожа покрылась холодной испариной, под глазами посинело.

Тарасенкова сменил доктор Клименков, который пытался продлить жизнь Гоголя: давал ему каломель, обкладывал горячим хлебом. Умирающий был уже без сознания, бредил, тяжело дышал. Лицо его почернело. Последние слова Гоголя, которые разобрали присутствовавшие, были: «Поднимите, заложите на мельницу! Ну же, подайте!» Около восьми часов утра в четверг 21 февраля дыхание прекратилось.

Когда пришли посетители, мертвый Гоголь лежал на столе в своем обычном сюртуке. Лицо его выра-

жало спокойствие, черты заострились, выступила восковая желтизна.

В воскресенье состоялось отпевание тела в университетской церкви. Стечение народа оказалось необычайно велико. Собравшиеся заполнили не только церковь, но и весь двор. Гроб был усыпан цветами. На голове Гоголя лежал лавровый венок. За порядком наблюдал сам московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский, который повсюду расставил своих штатских агентов и полицейских для соблюдения порядка. Из церкви гроб вынесли профессора: Грановский, Соловьев, Кудрявцев, Морошкин и Анке. На улице толпа студентов и простых людей из народа приняла гроб и понесла его по улицам на руках до самого Данилова монастыря. За гробом шла толпа людей, так что нельзя было видеть конца шествия. Похоронили Гоголя в Даниловом монастыре рядом с его другом Языковым и Хомяковой.

В день смерти Гоголя в полицейскую часть было представлено «объявление» о том, что «Живший в доме Талызина... отставной коллежский асессор Николай Васильевич Гоголь сего числа от одержимой его болезни скончался, после его здесь в Москве наличных денег, сохранной казны билетов, долговых документов, золотых, серебряных, бриллиантовых и прочих драгоценных вещей, кроме незначительного носильного платья, ничего не осталось...» В приложенной описи значились: золотые карманные часы, принадлежавшие Пушкину, шинель черного сукна с бархатным воротником, два старых суконных сюртука черного сукна, один из них фасоном пальто, трое старых парусиновых панталон, четыре галстука старых, два тафтяных и два шелковых, двое канифасовых подштанников и три полотняных носовых старых платка.

Через две недели после похорон в газете «Московские ведомости» появилось «Письмо из Петербурга», принадлежавшее Тургеневу. В нем он писал: «Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим. Человек, который своим именем озна-

чал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников...»

За спубликование этой статьи Тургенев был посажен на месяц под арест, а затем отправлен на жительство в свою деревню Спасское-Лутовиново.

* * *

Произведения Гоголя сохранили свою жизненную правду и художественную ценность до нашего времени. Гоголь с такой силой разоблачил и осмеял безобразный, отвратительный мир хищничества и эгоизма, что самые имена героев его произведений стали нарицательными. Типические образы, созданные им, давно сделались достоянием русской и мировой культуры.

Бесстрашная правдивость и социальная насыщенность творчества Гоголя, его благородный гуманизм оказали глубокое воздействие на крупнейших представителей русской реалистической литературы XIX века. «Гоголь положительно должен быть признан родоначальником... нового, реального направления русской литературы», — писал Салтыков-Щедрин.

Под воздействием Гоголя формировалось творчество таких писателей, как Тургенев, Герцен, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Писемский, Некрасов, Островский, Гончаров, и многих других, вплоть до Чехова и Горького.

«Ревизор» и «Женитьба» по своему драматургическому мастерству, сатирической отточенности и предельной выразительности и типичности образов во многом предварили комедии Островского и Сухово-Кобылина. Достоевский в «Бедных людях» и своих ранних повестях выступал как продолжатель «Шинели» и «Записок сумасшедшего».

Гениальным продолжателем сатирической традиции Гоголя выступил Салтыков-Щедрин, который придал гоголевской сатире боевой, революционный

характер, еще более усилил его гротескно-комическую манеру, гиперболизм гоголевского стиля. «Огромный талант» Гоголя с сочувствием отмечал Лев Толстой, считавший «Мертвые души» и «Ревизора» «верхом совершенства». «Величайшим русским писателем» назвал Гоголя Чехов, который в таких рассказах, как «Смерть чиновника» или «Человек в футляре», во многом учитывал сделанное Гоголем.

Любовь Гоголя к человеку, его ненависть к тому, что мешает его счастью и достоинству, смелое и беспощадное осмеяние всего косного, пошлого, рожденного собственническим эксплуататорским строем, делают и поныне его творчество близким всему передовому человечеству.

Скорбный и горестный жизненный путь Гоголя, его самоотверженное служение словом своему народу, его могучие взлеты и трагические падения свидетельствуют о том, как труден был удел писателя, дерзнувшего вызвать наружу «всю страшную потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь».

Чернышевский справедливо сказал о Гоголе: «Гоголь был горд и самолюбив, но он имел право быть горд своим умом, своим страстным желанием блага родной земле, своим гением, своими заслугами перед всем русским обществом. Он сказал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся его жизнь была страстною борьбою с невежеством и грубостью в себе, как и в других, вся была одушевлена одною горячею, неизменною целью — мыслью о служении благу своей родины».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. В. ГОГОЛЯ

1809, 20 марта (1 апреля н. ст.) * — Родился Н. В. Гоголь в Б. Сорочинцах Полтавской губернии.

1818—1820 — Учится в Полтаве.

1821, 1 мая — Принят в Нежинскую гимназию высших наук.

1825, март — Смерть отца, В. А. Гоголя.

1827, май — Начало «дела о вольнодумстве» в Нежинской гимназии.

1828, 27 июля — Окончание Гоголем Нежинской гимназии.

13 декабря — Гоголь вместе с А. Данилевским выехал из Кибинец в Петербург.

1829, январь — Поселяется в Петербурге на Гороховой улице.

Июнь — Выход «Ганца Кюхельгартена».

1830, декабрь — Знакомство с В. А. Жуковским и П. А. Плетневым.

1831, февраль — Назначение младшим учителем истории в Патриотический институт.

Июнь — август — Живет в Павловске у Васильчиковой, занимаясь с ее больным сыном. Часто встречается с Пушкиным.

Сентябрь — Выход в свет первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832, июнь — Приезд в Москву. Знакомство с М. Погодиным, С. Т. Аксаковым, М. Щепкиным.

Июль — Приезд в Васильевку.

Октябрь — Возвращение в Петербург с сестрами Елизаветой и Анной.

1833, январь — февраль — Работа над комедией «Владимир 3-ей степени». Замыслы «петербургских повестей».

1834, 24 июля — Определен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете.

1835, январь — Выход в свет «Арабесок». Работа над комедией «Женитьба».

Март — Выход в свет «Миргорода».

1836, 19 апреля — Первое представление «Ревизора» в Петербурге.

---

* Здесь, как и во всей книге, даты приведены по старому стилю (кроме помещенных в скобках дат рождения и смерти).

6 июня — Вместе с А. Данилевским Гоголь уезжает за границу.

Август — октябрь — Гоголь в Швейцарии, в Женеве и Веве.

1837, январь — февраль — Гоголь в Париже, узнает о смерти Пушкина.

Март — Гоголь приехал в Рим.

1838 — В Риме работает над «Мертвыми душами».

1839, август — Гоголь в Вене.

26 сентября — Приезд Гоголя в Москву.

Октябрь — Присутствует в Москве на «Ревизоре».

30 октября — Гоголь приехал в Петербург. Забирает сестер из Патриотического института.

1840, 18 мая — Вместе с В. А. Пановым Гоголь выехал из Москвы в Италию.

Август — В Вене тяжело заболевает.

Сентябрь — Приезжает в Рим. Работа над завершением «Мертвых душ».

1841, январь — август — Гоголь в Риме. Встречи с художниками.

Апрель — Приезд Анненкова, продолжающего переписку «Мертвых душ».

Сентябрь — Гоголь в Ганнау у Н. М. Языкова.

Октябрь — Приезд в Россию.

1842, май — Выход «Мертвых душ» из печати.

Май — Гоголь в Петербурге. Уславливается с Прокоповичем об издании своих сочинений.

Июль — сентябрь — Гоголь в Гастейне с Н. Языковым.

1843, январь — Выход в свет четырех томов сочинений Гоголя.

Май — Гоголь уехал из Рима в Гастейн.

Июнь — Гоголь во Франкфурте у Жуковского. Проводит *зиму* в Ницце вместе с А. О. Смирновой.

1844, сентябрь — декабрь — Гоголь во Франкфурте с Жуковским.

1845, январь — Гоголь в Париже.

Июнь — июль — Гоголь в Гамбурге. Сожжение первоначальной редакции второго тома «Мертвых душ».

Ноябрь — декабрь — Гоголь в Риме.

1845—1846 — Гоголь в Риме.

Май — июль — Гоголь странствует по Европе (Флоренция, Ницца, Париж, Франкфурт, Греффенберг, Карлсбад, Швальбах, Эмс).

Август — сентябрь — Проходит курс лечения в Остенде. Работа над подготовкой «Выбранных мест из переписки с друзьями».

1847, 12 января — Выход в свет «Выбранных мест».

Май — Гоголь в Париже. Встречи с А. П. Толстым.

Июнь — сентябрь — Гоголь в Остенде. Получает письмо Белинского.

Декабрь — Возвращение в Рим.

1848, февраль — Гоголь в Иерусалиме.
16 апреля — Прибытие в Одессу.
Май — август — Гоголь в Васильевке у родных.
Май — начало июня — Поездка в Киев. Встреча с Максимовичем.
12 сентября — Гоголь в Москве.
Сентябрь — октябрь — Гоголь в Петербурге.
14 октября — Гоголь в Москве у Погодина.
Декабрь — Переезжает к А. П. Толстому на Никитский бульвар.
1849, июль — Поездка с Л. Арнольди в Калугу к А. О. Смирновой. Там Гоголь читает первые главы второго тома «Мертвых душ».
Август — Поездка к Аксаковым в Абрамцево.
1850, январь — февраль — Чтение глав «Мертвых душ» у Аксаковых, Погодина.
13 июня — Отъезд Гоголя с Максимовичем на Украину.
1 июля — Приезд в Васильевку.
24 октября — Приезжает в Одессу.
1851, 27 марта — Отъезд из Одессы.
Апрель — май — Гоголь в Васильевке.
5 июня — Приезд Гоголя в Москву.
Июнь — Гоголь в Абрамцеве у Аксаковых.
Июнь — июль — Около месяца гостит в С. Спасском у А. О. Смирновой.
Июль—август — На даче у Шевырева.
Лето — Подготовка второго издания сочинений Гоголя.
20 октября — Гоголя посещают Щепкин с Тургеневым.
1852, январь — Правка Гоголем корректуры второго издания сочинений.
Февраль — тяжелая болезнь Гоголя.
Ночь с 11 на 12 февраля — Сожжение Гоголем рукописей второго тома «Мертвых душ».
21 февраля (4 марта по н. ст.) — Смерть Гоголя.
25 февраля — Похороны Гоголя в Даниловском монастыре.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений Н. В. Гоголя

Полное собрание сочинений в 14 томах. Изд. Академии наук СССР М. — Л., 1940—1952.

Собрание сочинений в 6 томах. Под ред. С. Машинского, А. Слонимского и Н. Степанова. Гослитиздат. М., 1959.

Основная литература о Гоголе

В. Г. Белинский о Гоголе. М. 1949.

Вересаев В., Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. «Ac. demia» М. — Л., 1933.

Гиппиус В., Гоголь в воспоминаниях и документах, М., 1938.

Гоголь Н. В., Материалы и исследования, под ред В. Гиппиуса, т. I. М. — Л., 1936 (письма к Гоголю и о Гоголе, документы).

«Гоголь в воспоминаниях современников». Состав. С. Машинский. М. 1952.

Журнал «Литературное наследство», том. 58. М., 1952 («Гоголь в письмах современников», «Гоголь в неизданных воспоминаниях» и др.).

Лавровский Н., Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. Киев, 1879.

Сборник «Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко», изд. 2 е Спб, 1881.

Иофанов Д., Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951.

Машинский С., Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.

«Гоголь в русской критике». Состав. С. Машинский. М., 1952.

Машинский С., Гоголь. М., 1951.

Поспелов Г. Н., Творчество Гоголя. М., 1953.

Гус М., Гоголь и николаевская Россия. М., 1957.

Гуковский Г., Реализм Гоголя. Л., 1959.

Ермилов В. В., Гений Гоголя. М., 1959.

Храпченко М. Б., Творчество Гоголя, изд. 3-е. М., 1959.

Степанов Н. Л., Н. В. Гоголь. Творческий путь, изд. 2-е. М., 1959.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Детские годы 5
Глава вторая. Гимназия высших наук . . 33
Глава третья. Начало пути 79
Глава четвертая. Петербург 113
Глава пятая. «Комический писатель» . . . 163
Глава шестая. За границей 197
Глава седьмая. Странствования 240
Глава восьмая. «Мертвые души» 270
Глава девятая. Кризис 315
Глава десятая. Конец пути 372
Основные даты жизни и творчества Н. В. Гоголя 428
Краткая библиография 431

Степанов Николай Леонидович

ГОГОЛЬ

М., «Молодая гвардия», 1961, 432 стр., 11 вкл. «Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 10(324).

Редактор *Г. Померанцева* Худож. редактор *К. Аркуша*
Художник *А. Лындин* Техн. редактор *Л. Кувыркова*

А06145. Подп. к печ. 23/IX 1961 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 13,5(22,14)+11 вкл. Уч.-изд. л. 21,6. Тираж 75 000 экз. Заказ 755. Цена 86 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-55, Сущевская, 21.